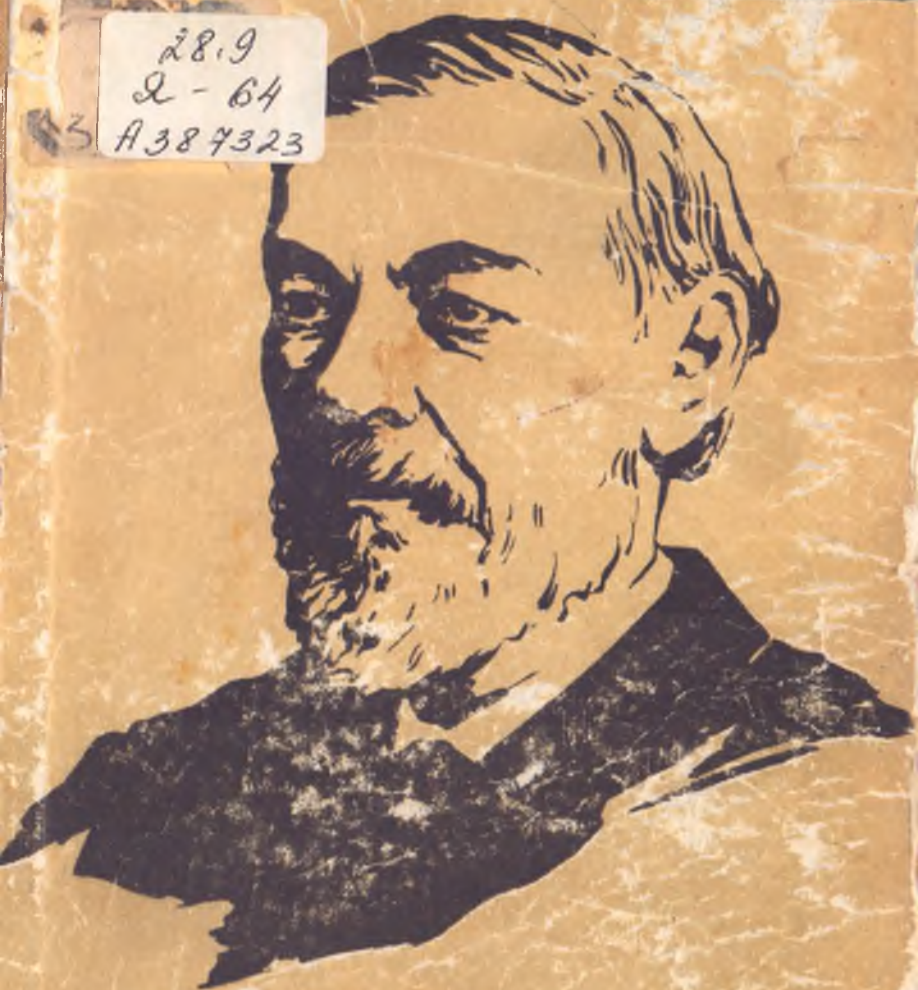


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

28.9

2 - 64

3 А384323



М. Яновская

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

Основана в 1933 году М. Горьким

ВЫПУСК

14

[280]

МОСКВА, 1959

М. ЯНОВСКАЯ

СЕЧЕНОВ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“**



Души,
КОТОРЫЕ МЫ ИЗБИРАЕМ

1

Юноша был некрасив и ряб. Однако умные черные и блестящие глаза скрадывали впечатление некрасивости. Юноша был молчалив и сдержан. Но слишком еще юн, чтобы суметь скрыть от пронизательного взгляда двадцатилетней женщины свои подлинные чувства. Юноша был влюблен, и, быть может, поэтому экзальтированная, безапелляционная в своих суждениях, с ним эта женщина была мягкой и ласковой, держала себя на равной ноге и никогда не занималась поучениями.

Судьба привела его в этот дом словно нарочно,

чтобы жизненную дорогу, определенную для него другими, он избрал заново, сам.

Он был сапером и служил в Киеве. Никто не называл его по имени-отчеству. Для однополчан он был прапорщиком Сеченовым. И только она впервые назвала его Иваном Михайловичем.

Он ездил к ней, на Подол, один раз в неделю, и эти дни стали для него настоящими праздниками. Ввел его в дом молодой офицер инженерной команды, ее старший брат. В семье этой молодежи чувствовала себя свободно и непринужденно. Гостей почти не бывало, только и ездили, что Сеченов да еще один офицер — поручик М. Так в маленькой теплой компании коротали они субботние вечера.

Ее отец был врачом, человеком образованным и ценившим образование. Ольга Александровна училась дома, учителями ее были одни только мужчины. Быть может, поэтому она не стала ни жеманницей, ни кокеткой и все, что изучила, знала по-настоящему крепко и глубоко. Ум у нее был аналитический, отчасти заменявший ей жизненный опыт, которого почти не было (хотя в девятнадцать лет она уже успела овдоветь, через полгода после свадьбы).

Несколько лет назад, когда она с семьей жила в Костроме, случилась беда: в городе начался большой пожар. Город был местом ссылки поляков, отец и мать Ольги Александровны тоже были обрусевшими поляками. Мракобес-губернатор объявил повинными в пожаре поляков и всех без исключения засадил в острог. Попала туда и Ольга. Выпустили ее довольно скоро и даже извинились, но с тех пор будто что-то оборвалось в ее душе. Она сразу почувствовала себя взрослой, по-иному взглянула на мир, задумалась над жизнью. Из тюрьмы она вынесла чувство глубокой обиды за себя, за свою семью, за свой народ. С тех пор ей стали присущи критические суждения и некоторый, пожалуй, чрезмерный скептицизм.

Она серьезно относилась и к книгам и к жизни и не могла смириться со своей обреченностью на вечную бездеятельность в домашнем кругу, из которого некуда вырваться.

Развитая и умная, она неизменно председательствовала в мужской компании брата и никогда не замечала, чтобы кто-нибудь из этой компании скучал в ее присутствии.

О Сеченове и говорить нечего. Влюбился он в нее сразу, с первого взгляда, как влюблялся, впрочем, и прежде: совсем еще ребенком в соседку по имени родителей Катеньку Пазухину и безусым юношей в примадонну итальянской оперы, гастролировавшей в Петербурге, певицу Френццолини. Влюбленность к Катеньке он скрывал так старательно, что о ней не подозревала даже любимая его сестра — великая насмешница Варенька, не говоря уже о самом предмете любви. Примадонна пленила его своим отличным голосом, восторги от ее пения постепенно перешли в обожание. Ей он рискнул даже назначить свидание, написав по-французски письмо и вложив в него французские же стихи.

Влюбленность в Ольгу Александровну, разумеется, не была похожа ни на одну из предыдущих — это была первая юношеская любовь, робкая и молчаливая, трепетная и... безнадежная.

Раз в неделю он заезжал по дороге за поручиком М., и вдвоем они отправлялись на Подол. Ах, если бы он знал, что ездит к ней с женихом! Впрочем, и знал бы — все бы ездил. И не только потому, что любил. В беседах с Ольгой Александровной он находил отклик своим затаенным мыслям; чтобы не быть глупее ее, тянулся за ее начитанностью и образованностью; она вольно или невольно подсказывала ему книги, которые надо бы прочесть, от нее он впервые услышал имя Грановского — кумира московского студенчества. Она первая заговорила с ним о медицине.

В Киев он приехал в конце июля 1848 года, так и не сумев закончить инженерное училище. По сути дела, он был оттуда выгнан. Это изгнание и послужило, вероятно, причиной его популярности среди киевской офицерской молодежи, благодаря чему старшие по возрасту офицеры из инженерной команды — жених и брат Ольги Александровны — проявили к нему такой интерес.

Спустя полвека, на закате своей жизни, вспоминая этот период, Сеченов писал: «Мог ли я тогда думать, что непочетное удаление из училища было для меня счастьем? Инженером я, во всяком случае, был бы никуда не годным...»

А история «непочетного удаления» была такова.

Ни к инженерному искусству, ни к военной службе душа его не стремилась. В отцовском имении Теплый Стан Иван роё в обществе двух сестер, самым младшим в семье. С детства были у него две страсти: к лошадям, которых он объезжал, и к подражательству. Последним искусством он овладел в совершенстве и не раз смешил сестер и их подружек, изображая кого-нибудь из соседей так, что не только походка, но и голос и выражение лица были на удивление схожи с оригиналом. Был он смугл и вихраст, рано переболел оспой, оставившей следы на его лице. Но живой ум и мальчишеское обаяние делали его общим любимцем, и ни в детстве, ни в зрелости он никогда не страдал от своей некрасивости. До чрезвычайности подвижной и озорной, он был большим насмешником, под стать своей сестре Варваре, и беда, если кто-нибудь из сверстников попадался им на язык, — засмеют!

Образованием детей в семье Сеченовых занимались серьезно: два старших брата, Алексей и Александр, учились в лицее, сестра Анна окончила пансион, Рафаил и Андрей — Казанскую гимназию, и только Серафима с Варварой обучались наукам дома, для чего у них постоянно жила гувернантка Вильгельмина Константиновна Штром.

Вместе с сестрами проходил курс науки и Иван, вместе занимался иностранными языками — французским и немецким — и еще в детские годы свободно овладел ими.

Как и двух средних братьев, его намеревались отдать в Казанскую гимназию; но после смерти отца отъезд в чужой город почему-то задержался, и он пробыл в Теплом Стане до четырнадцати лет. И тут внезапно все изменилось.

Из Москвы приехал брат Алексей, с увлечением

рассказал о знакомой семье одного инженера, превознося выгоды инженерной службы, и жизненный путь Ивана на девяносто градусов отклонился от ранее предназначенного: было решено отдать мальчика в Главное инженерное училище в Петербурге.

Ну что ж — в Петербург так в Петербург! Какой мальчик из глухого Курмышского уезда Симбирской губернии не захотел бы побывать в столице? Тем более, что один из внуков соседа по имени Филатова — Николай Крылов вот уж с год как поступил в Петербург в кадетский корпус, а другой внук — Михаил Житков и младший сын Николай Филатов собирались вместе с Сеченовым поступать в инженерное училище.

Так из Теплого Стана попал Иван в холодный, жутковатый Михайловский замок.

С полгода перед экзаменами Иван жил в семье военного инженера Костомарова, который за соответствующую мзду взялся подготовить его к поступлению в училище. Это были самые унылые полгода за всю его недолгую жизнь. «Учителя» никогда не бывало дома, Иван оставался на целые дни в обществе его жены и денщика, сидел в полутемной комнате и учил, учил до отупения. На улицу он выходил один раз в неделю — в соседнюю баню. Дважды в неделю приходил молодой подпоручик обучать его французскому и русскому языкам, — обучение заключалось в том, что подпоручик диктовал из книги стихи и велел заучивать их наизусть. Остальными предметами Иван занимался сам, и никто не интересовался, в чем заключались эти занятия.

После безвыходного полугодического сидения в обществе скучных людей он был счастлив попасть в веселую и шумную компанию будущих товарищей. Экзамен был чистой формальностью и длился всего один день: решение задачи, письменные ответы по французскому и русскому языкам. После этого 15 августа 1843 года Сеченов был принят кондуктором в кондукторскую роту Главного инженерного училища.

Кондукторами назывались воспитанники четырех

младших классов. Сто двадцать пять таких воспитанников и образовывали кондукторскую роту.

Главный корпус бывшего дворца Павла I — Инженерный, или Михайловский, замок. Фасад обращен к Летнему саду, разведенному еще во времена Петра в голландском вкусе. Прямые аллеи тянутся вдоль и поперек, обсаженные вековыми липами, вязами, кленами. На площадке, у входа со стороны Инженерного замка, на богатом гранитном пьедестале — массивная урна эльфдальского порфира, сделанная по образцу древних помпейских урн; подарок из Стокгольмского дворца, присланный в 1839 году. Пруд, клумбы, павильоны, статуи... Красиво, хотя несколько казенно. Впечатление для провинциального мальчика незабываемое.

Сам замок не так уж угрюм и холоден, как это думалось поначалу: великолепная лестница парадного входа с колоннами и статуями, огромные, роскошные помещения. Просторно и довольно вольготно живетесь тут.

Муштра, правда, изрядная: в двадцатипятиградусный мороз, например, воспитанники ходят в ничем не подбитых шинелях из темно-серого сукна, куда более тонкого, чем солдатское; это называется «развивать привычку к холоду». Но зато нет телесных наказаний, как, например, в кадетских корпусах, потому что воспитанники, поступившие в училище, считаются юнкерами, находящимися на государственной службе.

День начинается с семи утра — занятия в классе, приготовление уроков, маршировка, различные построения и многие другие премудрости. Во вторник — танцы, а в субботу, до воскресного вечера — отпуск домой.

Учиться было интересно и для Сеченова нетрудно. Из предметов, правда, он любил только физику, но и остальные давались ему легко. Шел он по учению и по фронту в первом десятке и при переходе во второй класс получил за успехи ефрейторские нашивки.

Нашивки продержались недолго: подвело озорство. Шалуном он оставался и в училище, хотя пона-

чалу шалости были безобидные. А во втором классе попал в карцер. И шалость была не просто шалостью — сказывался в ней уже его характер человека прямого, не терпящего ни угодничества, ни трепета перед начальством. Объект для «представления» был выбран удачно: учитель немецкого языка Миллер, человек без чувства собственного достоинства, до смешного боявшийся начальства. Вот бы проучить такого человека! А чем? Ну, разумеется, смехом — это же самое разящее оружие.

В памяти предстало лицо Миллера в день, когда в училище приезжал великий князь Михаил Павлович, — лицо до того бледное, что краше в гроб кладут. На лице растерянность и страх, ничем не прикрытый, до противности откровенный страх.

В классе шел урок немецкого языка. Миллер читал балладу Шиллера. Вдруг из рекреационного зала вбежал юнкер и внятно прошептал: «Великий князь идет!»

Все поднялись с парт. Миллер соскочил с кафедры, разом побледнел и, прижав дрожащие руки к бокам, вытянулся «во фронт». В класс вошел небольшого роста человек. На голове огромная форменная каска из бумаги, на лице маска. За ним следовала «свита». Так прошествовали они через классную комнату под громкий хохот воспитанников. Но тут случилась беда: на шум из противоположной двери вошел дежурный офицер. Озорник попал прямо в его объятия. Маска была сорвана. Под маской обнаружилось смущенно улыбающееся, раскрасневшееся лицо Сеченова.

История стоила ему ефрейторских нашивок — вышел он из карцера разжалованным. Тужил, правда, не очень.

История эта легко забылась бы, если бы не два других, более серьезных и «крамольных» эпизода. Точнее, если бы не прямолинейный и непримиримый характер юного Сеченова.

В училище назначили нового начальника. Генерал Ламновский начал свою службу с того, что ввел шпионство. Возмущенные воспитанники судили между со-

бой, разбирали генерала по косточкам, изъяснялись в нелюбви к нему; но дальше этого протест их не шел. Не таков был Сеченов. Шпионство было ему глубоко противно, а молчать он не умел и не хотел. И хотя разум шептал, что нужно быть крайне осторожным, он все же решил выразить свой протест, избрав для этого своеобразную форму: он написал генералу письмо, в котором осуждал введенную «реформу», говорил о неблагоприятности и безнравственности шпионства и предупреждал: «Смотрите, ваше превосходительство, не все коту масленица, придет и великий пост».

Из осторожности, однако, он не подписал своего имени. Но это не спасло от того самого шпионства, против которого он протестовал. Шпионов оказалось двое: товарищ по классу, состоящий на «службе» у начальства, и священник Розанов, у которого исповедовался Сеченов. Автор письма стал известен генералу. Прикрывая «грех» священника, генерал поначалу не принял никаких видимых мер, и, казалось бы, вся история канула в воду.

В старшем классе Сеченов был произведен в унтер-офицеры, что давало ему некоторую власть над младшими воспитанниками. В том году между младшими произошла ничем не примечательная драка, закончившаяся обычным наказанием: их лишили права пить собственный чай, которым они услаждали себя по вечерам в столовой. Исключение составил сын генерала. Он по-прежнему ходил домой, к родителям, пил и ел все, что ему было угодно, тогда как товарищи его вынуждены были довольствоваться на ужин ломтями черного хлеба.

Сеченов, не желая терпеть такого неравенства между провинившимися, как унтер-офицер, запретил воспитаннику Ламновскому ходить по вечерам домой.

Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения генерала. Приплюсовав ее к истории с письмом и с Миллером, он решил крепко проучить Сеченова, да так, чтобы тот на всю жизнь запомнил.

И проучил. Не сразу — в год, когда Сеченов был уже офицером и когда должна была решаться его

дальнейшая судьба: будет ли он принят в верхний класс в чине подпоручика и благополучно завершит свое военно-инженерное образование, или выйдет из училища в армейские саперы прапорщиком.

Наступил день экзаменов. Нужно было набрать определенное количество баллов, чтобы получить право перейти в верхний класс. Сеченов не волновался: учился он хорошо, к экзаменам готовился добросовестно. А об историях с генералом Ламновским забыл.

Но генерал помнил. И при первой же возможности обнаружил свою озлобленность: на экзамене из фортификации придрался к неточности в рисунке и так списал экзаменационный балл, что на переход в следующий класс нечего было и надеяться.

«Значит, надо выходить сапером! — с тоской думал Сеченов, оглушенный неудачей тем более сильно, что никак не мог предвидеть ее. — Ой, как будет огорчена мама!»

Но делать нечего: назначение выдано, подорожная на руках, и 21 июля 1848 года он прибыл во 2-й Киевский саперный батальон.

...А теперь он мысленно благодарил генерала Ламновского за его подлую месть. Ведь будь генерал порядочным человеком, никогда в жизни не встретился бы Сеченов с Ольгой Александровной.

Сидя в ее гостиной, он рассказывает все эти события лаконично, не вдаваясь в подробности, с присутствующим ему юмором. Конечно, о том, что он рад-счастлив своему выходу из училища, он умалчивает. Но пронизательный взгляд молодой женщины так лукав, что становится совершенно ясно: она видит его насквозь, со всем тем, что он недоговаривает, что изо всех сил старается скрыть от нее. И без улыбки говорит:

— Я думаю, все это к лучшему, Иван Михайлович. Теперь вы человек свободный, можете по-настоящему взяться за образование.

— Свободный?! — смеется Сеченов. — Я же на военной службе, дорогая Ольга Александровна, о какой свободе речь?

Он жадно всматривается в ее лицо в ожидании ответа. А она только пожимает плечами:

— Разве вы не свободны выйти в отставку? Избрать себе новую профессию? Вы еще очень молоды, голубчик.

Ах, эта молодость — 1 августа 1848 года ему исполнилось всего девятнадцать лет. Если бы не это... Он смотрит на Ольгу Александровну из-под насупленных бровей и с болью душевной понимает: никогда не сможет она его полюбить! Хотя они почти ровесники, насколько она старше, умнее, образованней его. И все же она очень добрая — ни разу не посмеялась над его чувством. Держит себя как заботливый товарищ. С ней просто и легко. И очень интересно.

В другой раз она заговорила о Московском университете, снова бросила эту фразу о его свободе. И о том, что вот в Московский университет ему бы и поступить. На медицинский факультет...

— Почему именно на медицинский?

— Потому, что это самая гуманная профессия, — не задумываясь, ответила Ольга Александровна. — Врач это как раз тот человек, который по-настоящему может служить ближнему. Вот если бы я была женщиной...

Это было ее коньком: разговоры о неравноправии женщины, о ее беспросветном, бесполезном житье. А когда ей возражали, что женщина-мать приносит не меньшую пользу обществу своим высоким и благородным трудом воспитательницы детей, она раздраженно и зло смеялась:

— Воспитательницы! Какие из нас воспитательницы, когда мы сами жизни не знаем?! Как можем мы определить и направить призвание ребенка, когда ничего не понимаем ни в призваниях, ни в том, какая профессия лучше и интересней, какая полезней для общества?! А ведь именно женщине с ее гибким умом следовало бы господствовать в этом самом обществе, а не быть рабыней!

И невозможно было понять, шутит она или серьезно думает, что женщина — это венец творения. Уж она-то себя никак не могла чувствовать рабыней. Хо-

ги если рассудить... Что она будет делать со своими шансами? Выйдет замуж, народит детей...

Об этом думать было больно. Сеченов старался не допускать таких мыслей, хотя понимал, что именно так в конце концов и будет, — что же еще ей оставалось делать?!

Конец этот наступил раньше, чем он предполагал. Ольга Александровна любила своего жениха. Откладывавать свадьбу не было оснований. От Сеченова, однако, все это скрыли. Просто ему сказали, что она уезжает ненадолго из Киева.

Простились они в Броварах, куда Сеченов ездил провожать ее. В последнюю минуту она чуть было не выдала себя — долго держала его руку и как-то по-особенному пожалала ее. А ему и невдомек: рад, что ей, значит, тоже не хочется с ним расставаться. Не догадался он ни о чем и тогда, когда поручик М. уехал вслед за ней в отпуск на четыре месяца «по семейным обстоятельствам».

Мысли, которые она посеяла в его душе, стали давать всходы в ее отсутствие. Все больше и чаще думал он об отставке, об университете, о медицине. И все решительней склонялся к тому, что так и следует поступить. Вот только дожждаться бы, когда она вернется. И, конечно, поступать не в Московский, а в Киевский университет, чтобы можно было хоть раз в неделю видеться с ней.

И вот он узнал, что обманут: Ольга Александровна вышла замуж.

Он узнал об этом на рождество 1849 года, через год после того, как познакомился с ней. Несколько дней ходил как в воду опущенный, злился на ее мужа, на нее, на самого себя. А потом поостыл немного — почему, в самом деле, обманут? «Она же не только ничего не обещала мне, но с самого начала я знал, что не могу рассчитывать на взаимность. А муж ее чем виноват? Ему неизвестны были мои чувства, и то, что он полюбил Ольгу Александровну, — так кто же может, узнав ее, не полюбить?»

Успокоившись, он стал дожидаться их возвращения. И пошел поздравить. Это стоило ему немалых

усилий, но у него всегда была привычка делать как раз то, что кажется самым трудным. Он благополучно справился со своей ролью обрадованного ее счастьем приятеля. Но встреча вышла натянутая, не было прежней простоты и свободы, на поздравление она ответила сконфуженно. А вид действительно счастливого мужа вызвал в Сеченове такой приступ ревности, что он решил больше не бывать в этом столь когда-то милом для него доме.

Позже он вспоминал: «В дом ее я вошел юношей, плывшим до того инертно по руслу, в которое меня бросила судьба, без ясного сознания, куда оно может привести меня, а из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда идти и что делать. Кто, как не она, вывел меня из положения, которое могло сделаться для меня мертвой петлей, указав возможность выхода...»

Они встретились еще раз: Иван Михайлович пришел прощаться. 23 января 1850 года он подал в отставку и теперь уезжал из Киева. Уезжал, унося в душе ее образ, свое неразделенное чувство и огромную благодарность за все то, что он получил от нее в этот счастливый, хоть и короткий период его жизни.

2

Крепостной Феофан Васильевич, приехавший к Сеченову из деревни еще в бытность его в инженерном училище и отбывший с ним в Киев, привязался к молодому барину всем сердцем. Да и барин обращался с ним по-приятельски, а не как хозяин со слугой. Оттого Феофан Васильевич, а попросту — Фифочка, страдал и волновался всю дорогу от Киева до Тепло-го Стана: а не нагорит ли им за увольнение со службы? Как-то там маменька встретит их?

Маменька встретила слезами, но ни слова упрека не сорвалось с ее губ. Иван Михайлович приехал в штатском, имея в кармане увольнительное свидетельство, хотя отставка еще не была утверждена. Штатское платье было куплено на деньги, занятые

у товарища по инженерному училищу, служившего вместе с ним в Киеве, довольно состоятельного человека — Владыкина. К нему заезжал Сеченов с Фифой по дороге в Теплый Стан и погостил у него в деревне недели две. Не очень спокойно ехал Иван Михайлович и родное гнездо. И неудивительно — ведь он покинул службу без всяких переговоров с матерью!

Но мать, поплакав немного, неожиданно успокоилась: оказывается, она давно мечтала, чтобы кто-нибудь из ее сыновей пошел «по ученой части». Зато соседи отнеслись к его намерению неодобрительно.

Самыми близкими соседями было семейство Филатовых. Родоначальник этого семейства Михаил Федорович, довольно богатый помещик, владел большой усадьбой на противоположном от Сеченовых конце Теплого Стана. Младший сын его Николай окончил инженерное училище с отличием, поступил в гвардейские саперы и женился на дочери важного петербургского генерала. На беду он тем же летом приехал с молодой женой в Теплый Стан.

Каково было материнскому сердцу слышать всяческие похвалы, рассыпаемые стариком Филатовым в адрес своего сына! Ко всему Михаил Федорович, вовсе не по злобе, а по старческой болтливости рассказал в поучение свою собственную историю о неудачном поступлении в медицинский факультет и закончил рассказ словами о жгучей ненависти, которую питает его душа к «лекарям и профессорам».

Другой сосед без обиняков заявил матери Сеченова:

— Чего, кума, смотреть на молодчика? Пусти его, коли не любит военную службу, по гражданской; наш симбирский губернатор возьмет его, может быть, чиновником особых поручений, благо он у тебя боек, не глуп и знает языки.

Но мать и сама была не глупа. Бывшая крестьянка, взятая замуж по любви, она с помощью своего мужа получила образование в женском монастыре, и ничем не отличалась от соседних помещиц. А может быть, и отличалась — как раз своим отношением к образованию, нежеланием насиловать волю детей,

особенно там, где речь шла о жизненном пути. Укоры и сетования соседей не заставили ее отговаривать сына от раз принятого решения, и с плеч Сеченова свалилась большая забота — не огорчить мать, не причинить ей ненужной боли.

Безоговорочное и полное сочувствие своему решению встретил Иван Михайлович у любимой няни Настеньки. Та только посетовала, что не видала его в офицерском мундире, в котором он, должно быть, выглядел «как на картинке». А потом со смехом рассказала, как в имении Филатовых встретили только что приехавшего туда из Петербурга Николая Михайловича.

— Все люди-то дворовые на поклон к нему пришли, — повествовала Настенька, — к ручкам ихним прикладывались. А они сидят в креслах да так и сияют, так и блещут: она в парчовом платье, а он в парадном мундире...

Напевный голос Настеньки действовал успокаивающе и напоминал недавнее детство. Иван был ее любимцем, для него она сохраняла самую вкусную еду и потихоньку вечером угощала его; любила и ласкала, как родное дитя, и особенно угождала сказками. А когда он очень уж приставал с просьбами о сказках, она умела необидно отделаться. Уложит, бывало, мальчишку в кровать и начнет:

— Жил в некотором царстве, в некотором государстве злой-презлой царь. И велел он выстроить для себя дворец, да не простой дворец, не каменный, а костяной. А кости для того повелел собрать со всего царства и положить их для размочки в воду.

После этого наступала пауза. Иван терпеливо выжидал и, наконец, спрашивал: что же дальше-то?

— А дальше пока ничего — кости все еще мокнут...

В большом двухэтажном доме Сеченовых окна открывались по-старинному: нижняя половина рамы поднималась и подпиралась деревянными планками. Из окон второго этажа открывался красивый вид: большой плодовый сад, начинавшийся прямо от балкона, а за ним во все стороны зеленая волнистая равнина — почти сплошь хлебные поля. И только дале-

ко-далеко на горизонте темно-синяя дымка глухого леса.

В доме стояла тяжелая старинная мебель красного дерева и карельской березы. В гостиной под стеклянным колпаком гулко тикали высокие резные часы. За пальцами сидела старшая сестра Анна. Варенька, превратившаяся в веселую и насмешливую барышню, суетливо бегала из комнаты в комнату, придумывая всякий раз новое веселье, чтобы брату Ивану не наскучило в их захолустье. Серафима же, прежде рьяная наездница, недавно на полном скаку чуть не свалилась с лошади и после этого ходила какая-то чудная, то и дело вздрагивая. Занималась она тем, что обучала ганцам и светским манерам двух сирот, живших в усадьбе, и частенько среди ночи весь дом бывал разбужен топаньем ног, раздававшимся со второго этажа. Иногда же, тоже в неурочное время, слышался тихий, за душу хватающий вой волчонка, которого приручила и воспитала Серафима, страстно любившая животных.

Иван Михайлович то уходил с Варенькой в дальнюю рощу, то уезжал верхом на лошади километров за двадцать от дома, то ходил в гости к Филатовым, где в тот год собралось много молодежи.

Но скоро все это ему наскучило, не терпелось уехать в Москву, подать заявление в университет. Того и гляди запоздаешь к началу занятий!

Наконец в октябре пришел приказ об отставке. Можно было ехать. В Москву, в университет, где читает лекции Грановский, где ждет его медицинская карьера, открывающая дорогу для служения ближнему. В памяти всплывал светлый образ Ольги Александровны, который он все время гнал от себя, чтобы не растравлять рану. И в первый раз после отъезда из Киева он вспомнил о ней без ревности и боли, с чувством глубокой признательности. Так вспоминают навеки утраченного дорогого человека, стараясь сбечь в памяти только то хорошее, что досталось от него на твою долю.

На дворе стояла ранняя в том году и очень холодная осень. Выпал снег. Семья вышла проводить

Ивана Михайловича и неизменного Фифочку, усадили их в сани и — с богом, в далекий путь!

Уже в Москве, на городекой заставе, чиновник, просматривавший паспорта, укоризненно покачал головой и сказал:

— Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю — да в столицу прожигать родительские денежки!

Сеченов беззлобно улыбнулся старику чиновнику, перемигнулея с Фифочкой и, полный радужных надежд, въехал, наконец, в Белокаменную.

3

Охотный ряд гудел. Каменные и деревянные лавки, полные товаров, теснились друг возле друга, так что трудно было понять, где кончается одна и начинается другая. Торговали всем: рыбой, мясом, битой птицей, зеленью, фруктами, овощами. В воздухе носился гусиный пух, налипал на лицо, залезал в ноздри и противно шекотал в носу. Пухом тоже торговали. Запах от не слишком свежего мяса и рыбы стоял невообразимый. Грязища непролазная. Охотнорядцы, купцы и приказчики, здоровенные, крепко сбитые и горластые, зазывали покупателей, разливаясь на разные лады. Звон стоял в ушах, особенно у человека непривычного.

Иван Михайлович и Фифочка, оглушенные страшным гомоном, быстренько юркнули в чье-то подворье. Оставили вещи и тотчас же отправились искать квартиру.

Пошли по Моховой. Дошли до университета, остановились. Ивану Михайловичу хотелось войти в здание, но Фифочка не пустил: сперва надо угол найти, а потом уж идите куда желаете.

Почти напротив университета, у торговца яблоками, сдавалась комната в маленьком флигельке. Но комнатка была только одна — пришлось бы и Сеченову и Феофану жить в тесноте. Не подошло, а жаль, уж очень хороший был тут запах — яблочный! По-

шли дальше, по Большой Никитской, заглядывали и в переулки. В Хлыновском тупике нашли, наконец, то, что искали: в доме при церкви Николая Хлынова, у пономаря, в первом этаже сняли квартиру. Полутемная прихожая вместе с кухней и большая комната, разделенная сплошной перегородкой надвое. В одной половине жили хозяева, в другой поселился Иван Михайлович. Феофан расположился в прихожей, и вскоре тут завелись все принадлежности сапожного искусства: Феофан Васильевич не терялся — в Киеве зарабатывал тем, что набивал офицерам папиросы, в Москве решил заняться башмачным делом, к которому был приучен еще в деревне. Шил он дешево и крепко, принимал заказы и обшивал хозяев, с которыми быстро сошелся. Хозяева за это взяли бесплатно готовить для квартирантов обед из их провизии.

Для Сеченова это было важно: жить приходилось экономно — из трехсот рублей, получаемых в год от матери, надо было уплачивать часть долга Владыкину, покупать книги и вносить в университет пятьдесят рублей. Феофан Васильевич изощрялся в экономии: в месяц на еду умудрялся тратить редко больше пяти рублей.

Устроившись с квартирой, Сеченов отправился в университет — узнать в канцелярии, что надо делать, чтобы быть принятым на медицинский факультет.

Февральская революция 1848 года во Франции насмерть испугала Николая Первого. Чтобы не быть застигнутым врасплох надвигающимся из Европы движением, чтобы не дать революционному духу развиваться в России, Николай издал 14 марта 1848 года манифест: распространению революционного движения противодействовать любыми путями, вплоть до пресечения силой оружия. Особое внимание обратил царь на рассадники свободомыслия — русские университеты.

«Когда революционное движение 48 и 49 года приблизилось к нашим границам в Пруссии и Австрии, — писал в «Автобиографических записках» Се-

ченое, — император Николай нашел нужным принять экстренные меры против проникновения к нам вредных идей с запада, и одной из таких мер явилось сокращение в Московском университете... числа студентов на всех факультетах, кроме медицинского, до трехсот».

По указу от 11 октября 1849 года советы всех университетов были лишены права избрания ректора, а факультеты ограничены в праве избрания деканов.

Был создан специальный тайный Комитет для рассмотрения постановлений и учреждений по министерству народного просвещения. Всякие, даже самые малые «свободы» в университетах должны были быть ликвидированы. Железная дисциплина в преподавании, поведении студентов и профессоров, строгие ограничения в приеме.

Я. А. Чистович, бывший в те годы профессором Медико-хирургической академии в Петербурге, вспоминает в своих неопубликованных дневниках:

«Университеты были закрыты для всех сословий, кроме потомственных дворян, преподавание философии запрещено во всех учебных заведениях, преподавание логики... предоставлено исключительно попам... история и теория классической литературы изгнана отовсюду и заменена сельским хозяйством и военной шагистикой. Места инспекторов, надзирателей и гувернеров представлены исключительно военным... аудитории профессоров истории и юриспруденции наводнились шпионами и переодетыми чиновниками тайной полиции... О литературе и цензуре говорить нечего: придирчивость ее превзошла всякое вероятие и не только на журналистов, но и на всех, чье имя появлялось в печати, стали смотреть почти как на явных врагов отечества и возмутителей общественного спокойствия»¹.

В Москве в то время не было даже ежедневной газеты, и только три раза в неделю выходили «Московские ведомости».

¹ Публикуется впервые. Рукопись хранится в рукописном отделе библиотеки Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Пришибленное, не сплоченное в общую массу студенчество выражало свое недовольство до поры до времени «под сурдинку», в тесных товарищеских кружках. Студенты переписывали запрещенные стихотворения Пушкина, Рылеева, Полежаева, письмо Чаадаева, тайно читали их, передавая из рук в руки, и эти чтения будили свободолюбивые мысли. Но все это не шло дальше смутных, неопределенных желаний и инстинктивных устремлений.

Большинство проступков студентов заключалось в нарушении формальностей: кто-то забыл снять перед выходом на улицу студенческую фуражку и надеть треуголку, кто-то не прицепил шпагу. Студенты-медики — а их было в университете более двух третей — переходили от крайности в крайность: то прилежно сидели в аудиториях на лекциях и зубрили дома по учебникам, то устраивали кутежи, растрачивая на них свою не находившую выхода юношескую энергию.

Осенью 1850 года в Московский университет поступил Сергей Боткин. Медицинский факультет не привлекал его — он мечтал изучать математику, любимую с детства науку, и был немало огорчен, когда обстоятельства заставили поступить на медицинский. Вместе с ним был принят туда его товарищ по пансиону — Николай Белоголовый.

«Лишь только мы облеклись в студенческую форму — мундир, шпагу и крайне неудобную треуголку, — вспоминает Белоголовый, — инспектор собрал всех поступивших на первый курс в большую актовую залу, прочел наставление об обязательных для студентов правилах благонравия, распушив многих за противозаконную длину волос, подробнее всего остановился на том, как мы должны отдавать честь на улицах своему начальству и военным генералам, а именно, не доходя до них на три шага, становиться во фронт и прикладывать руку к шляпе, и в заключение заставил нас каждого, вызывая по списку, пройти мимо него и отдать ему честь; тот, кто проделывал это неправильно, без достаточной грации и военной ловкости, должен был возвращать-

ся назад и до тех пор повторять свое церемониальное прохождение мимо инспектора, пока не заслуживал его полного одобрения. Это была, можно сказать, первая наша лекция в университете».

Сеченов был избавлен от этой «лекции», равно как и от ношения формы: он приехал слишком поздно, в октябре его уже не могли принять в число студентов, и он был только допущен к слушанию лекций.

Делать нечего — не ехать же обратно в Теплый Стан! Нужно как следует использовать нынешний год, посещать лекции и исподволь готовиться к вступительному экзамену.

На другой же день Сеченов пришел в университет. Шла лекция анатомии, читал ее профессор Северук. Вслушиваясь в слова лекции, Сеченов понял, что читается она по-латыни. Вот так раз! Он же ровно ничего не понимает — с детских лет осталось только умение с грехом пополам читать элементарные тексты. Пришлось срочно заняться изучением латинского языка, тем более что он нужен был и для вступительных экзаменов, да и истории болезней в клиниках, как сказали ему товарищи, тоже велась по-латыни.

Это затруднение привело Сеченова к знакомству с одной московской семьей, где и было завершено его воспитание, начатое в Киеве Ольгой Александровной.

Один из членов этой семьи, Дмитрий Визар, слушатель филологического факультета, взялся помочь ему в овладении латынью. Жили Визары в казенной квартире при воспитательном доме, где отец Дмитрия был преподавателем французского языка. В семье царило поклонение Грановскому, у которого Дмитрий одно время служил домашним секретарем.

После смерти отца старший брат, Владимир Визар, стал главой дома. На руках у него остались две молоденькие сестры, готовившиеся к экзаменам на домашних учительниц. У барышень бывала преподавательница музыки, отличная пианистка Екатерина Сергеевна Протопопова, ставшая впоследствии женой композитора и химика Бородина, и музыкальные вечера перемежались здесь с рассказами Дмитрия

о делах и лекциях филологического факультета — красы и гордости Московского университета, и литературными беседами, особенно оживленными, когда и дом заходил поэт Аполлон Григорьев.

Весь первый год Иван Михайлович жил в приподнятом настроении. Занят был с утра до вечера, и жизнь казалась ему переполненной до краев и такой интересной, какой он не ожидал. Аккуратно ходил на лекции, подолгу сидел дома за книгами. Единственное окно его полутемной комнаты выходило в переулок и было так низко от земли, что любопытные мальчишки то и дело заглядывали в него. Пришлось повесить занавески, и в комнате стало еще темнее. Но и полутемная комната, и добровольная зубрежка, и скудная еда нисколько не тяготили его.

У Визаров он бывал по воскресеньям. В этот день там собиралась молодая компания, приходил Аполлон Григорьев. Своей нервной и бойкой речью он вносил оживление в визаровский кружок, где был самым старшим и где его полюбили за то, что держался он с молодежью на равной ноге.

Григорьев был влюблен в А. Н. Островского, считал его восходящей звездой русского театра и гордился своим знакомством с ним. Знакомство действительно были близким: в доме у Григорьева-отца Островский читал даже рукопись своей пьесы «Бедность не порок». Сеченов и Визары были приглашены на чтение, и Иван Михайлович в этот вечер всей душой посочувствовал влюбленности Аполлона в великого драматурга.

С этой поры у Визаров началось увлечение русской драмой. В доме их, у Донского монастыря, была большая светлая зала, и Аполлон Григорьев предложил устроить в ней домашний спектакль. Предложение, разумеется, было принято с восторгом, особенно Сеченовым, который страстно любил театр и не прочь был попробовать хоть на домашней сцене свои собственные силы. Надо сказать, что силы эти неожиданно оказались изрядными.

Решено было ставить «Горе от ума» Грибоедова. Сеченов взялся играть Скалозуба и с таким блеском

провел свою роль, что в визаровском кружке потом долго вспоминали его дебют.

В этот период в Москву приехал Владыкин. Был он таким же страстным театралом, как и Сеченов, выучился даже специально английскому языку, чтобы в подлиннике читать Шекспира, почти наизусть знал пьесы Гоголя и Островского и кончил тем, что сам сочинил комедию из купеческого быта и вышел в отставку, чтобы целиком посвятить себя искусству.

Сеченов только удивлялся: откуда в человеке берется такая уверенность в себе? Но искренне желал Владыкину удачи. И был не меньше его счастлив, когда комедию Владыкина «Купец-лабазник», прочитанную и одобренную самим Провом Садовским, поставил Малый театр в бенефис Шумского.

Через Владыкина, ставшего профессиональным сочинителем и большую часть времени проводившего в Москве, Иван Михайлович познакомился с Садовским и с другими актерами.

Однажды, еще до приезда в Москву Владыкина, старший из Визаров пригласил Сеченова в дом к своему сослуживцу по опекуновскому совету Даниле Даниловичу Шумахеру. Женой Шумахера была свояченица Грановского, Юлия Богдановна, и это накладывало определенный отпечаток на стиль жизни их маленькой семьи. Здесь много рассказывали о кружке Станкевича, вспоминали о путешествии по Испании Василия Петровича Боткина, написавшего известные в то время «Письма об Испании», говорили о Белинском и Герцене и обо всех интересных событиях, происходивших в русском обществе.

Душой кружка был Александр Николаевич Афанасьев. Он-то и познакомил Сеченова со своим бывшим учеником по пансиону Сергеем Боткиным. А через некоторое время профессор Пикулин, женатый на сестре Боткина и знавший от него о Сеченове, пригласил Ивана Михайловича к себе на вечер. Вечер этот был знаменателен тем, что Сеченов, впервые очутившись в обществе профессоров, почему-то очень осмелел и вступил в жаркий спор с одним из них — профессором Мином. Профессор Мин был последо-

пателем энциклопедистов и в своей ортодоксальности утверждал, что мысль рождается из мозга, подобно желчи из печени. Сеченов же проявил себя в этом споре как крайний идеалист в вопросах психологии, каковым и оставался до окончания университета.

В философии он разбирался мало, но был страшно увлечен сочинениями немецкого психолога Бенеке, выведившего всю психическую деятельность из неких «нервных сил души». С юношеским пылом принял Сеченов всю эту «поэтическую философию» на веру и стал ярким приверженцем идеалистической психологии Бенеке.

Тогда же на короткий период Сеченов подружился с обыкновенной русской водкой. Соблазнителем тут выступил все тот же Аполлон Григорьев, известный в кругах московских литераторов как прожигатель жизни. В доме у Визаров он никогда не выказывал эту свою темную сторону, и поэтому Сеченов доверчиво последовал за ним в один из винных погребов на Тверской улице. Вместе с ними пошел туда и Дмитрий Визар. С этих пор они стали в погребеке частыми гостями. И однажды напились до того, что, не помня как, вышли на улицу только на другой день. При ярком солнечном свете внезапно протрезвевший Сеченов взглянул вдруг ясными глазами на своих собутыльников, подумал о том, каким выглядит со стороны он сам, почувствовал отвращение и к себе и к Аполлону Григорьеву и раз навсегда решил покончить с этой страстью. С этих пор он на всю жизнь стал трезвенником.

4

В одном из писем к своему другу Белоголовому Сергей Петрович Боткин уже в бытность свою известным профессором писал:

«Будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподавая нам знание в форме катехизических истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обуславливает дальнейшее развитие».

Утверждение, пожалуй, слишком категоричное, но ко многим преподавателям Московского университета 1850—1855 годов оно имеет прямое отношение.

Медицинский факультет не отличался ни яркостью преподавания, ни блестящей профессурой. Своего Грановского у медиков не было. Лекции читались чаще всего по записям многолетней давности, не освеженным новыми открытиями и достижениями науки. Большинство профессоров относилось к чтению лекций как к отбыванию чиновничьей повинности и все свое время отдавало частной практике. Некоторые из них, как, например, известный московский терапевт Овер, появлялись в клинике не чаще двух раз в год. Студенты наблюдали больных, писали по-латыни истории болезней; никто этими записями не интересовался, никому до них не было дела. Преподавание велось сухо, по раз навсегда установленным канонам. Перечислялись симптомы болезней и способы их лечения без углубления в существо вопроса, в причины заболевания. О лекарствах рассказывалось без указания их действия на организм. Студенты наблюдали, как в клинике внутренних болезней преподаватели смотрели у больного язык, щупали ему живот и «по наитию» ставили диагноз. Термометр и микроскоп не находили себе применения, выстукивание и выслушивание считались чуть ли не шарлатанством.

Между тем мировая медицинская наука сделала немало успехов. Уже тридцать лет как был изобретен стетоскоп; в Германии начала развиваться экспериментальная токсикология; диагностические приемы основывались на объективном исследовании, медицина как наука принимала экспериментальный характер.

Все это находилось в Московском университете в загоне. Зато огромное значение придавалось другому. Ходили слухи, что в университет будет назначен какой-то полковник обучать студентов артиллерии и фронту, что и было исполнено через некоторое время. Говорили даже, что в здании будут поставлены две пушки. Кто-то из студентов иронически предло-

жил Сеченову как бывшему офицеру заняться обучением студентов маршировке.

И все-таки Московскому университету обязаны и Сеченов и Боткин главным: заинтересованностью в науке, стремлением глубже и полнее познать ее и внести нечто свое, новое.

Несколько преданных делу даровитых профессоров, хоть не задавали тона на факультете, имели большое влияние на слушателей. Именно они внушали студентам любовь к избранной профессии, верность и преданность медицинской науке.

Прослушав на двух первых курсах лекции по анатомии, Сеченов настолько ознакомился с этим предметом, что в каникулы, уехав в Теплый Стан, перевел там с немецкого языка учебник Гиртля. За перевод, если бы его удалось издать, можно было получить немалые деньги, а в деньгах студент Сеченов очень нуждался, как, впрочем, нуждался в них в будущем и доктор и профессор Сеченов. Но издать учебник не удалось: профессор анатомии Севрук, у которого Сеченов попросил рекомендацию для издания книги, сказал, что читает по другому учебнику, и в поддержке своей отказал. Так что лето было потеряно даром; но Сеченов рассудил, что, кроме пользы, перевод этот ничего ему не принесет, и не пожалел о затраченном времени.

Зоологию читал на первых курсах Варнек, один из первых русских биологов, работавших тогда с микроскопом. Но микроскоп настолько был чужд и непривычен для слушателей медицинского факультета, что лекции Варнека не пользовались у них успехом.

По вечерам Сеченов с двумя однокурсниками, Юнге и Эйнбродтом, занимался в анатомическом театре препарировкой. Прозектор Иван Матвеевич Соколов так был влюблен в свою работу и приготовляемые к лекциям препараты, что не перенять от него эту любовь было просто невозможно. Только еще однажды в жизни видел Сеченов подобную влюбленность в анатомию — у профессора Грубера в Петербургской медико-хирургической академии.

Самым, пожалуй, интересным профессором на

первых курсах был Иван Тимофеевич Глебов, о котором позже говорили: «На его лекциях родился Сеченов».

Глебов читал сравнительную анатомию и физиологию. Лекции его слушались с неослабным вниманием, и не только потому, что был он человеком умным и обладал даром речи, но и, главное, потому, что строил он свое изложение по особому методу. Словно следователь, допрашивающий обвиняемых, Глебов в разгар лекции бросал в аудиторию какой-нибудь очень интересный вопрос, заинтриговывал им слушателей, не отвечая на него сразу, а подводя к ответу исподволь. Был он великим скептиком до знаний студентов, экзамены принимал с добродушным ехидством, и студенты боялись его как огня.

Сеченов слушал Глебова с наслаждением. И действительно, на лекциях Ивана Тимофеевича родилось у него желание заняться сравнительной анатомией. Но физиология, которую читал Глебов, не произвела никакого впечатления. Так что к тому пути, который избрал для себя Сеченов и на котором впоследствии прославился, Иван Тимофеевич Глебов вряд ли имел какое-нибудь отношение.

Физиологию он читал по старым учебникам, не заглядывая даже в сочинения знаменитого немецкого физиолога Иоганна Мюллера. О том, что физиология — «прикладная физико-химия», как называл ее Сеченов, он не упоминал; об электрических разрядах в нервах и мышцах, о знаменитых опытах Гельмгольца, измерившего быстроту распространения возбуждения по нерву лягушки, ничего не говорил. Опытов и демонстраций на лягушках Глебов не производил и даже не помянул интересные открытия Вебера о тормозящем влиянии возбужденного блуждающего нерва на деятельность сердца. Словом, все новое, важное и интересное, что могло бы вызвать у слушателей желание заняться физиологией, Глебов либо не знал, либо по консерватизму своему не считал нужным излагать.

Первые два года Сеченов учился прилежно и вдумчиво, а с переходом на третий курс разочаро-

вался в медицине, не найдя в ней ничего научного — один голый эмпиризм.

«Первым толчком к этому, — вспоминает Сеченов, — послужили лекции частной патологии и терапии профессора Николая Силыча Топорова, — лекции по предмету, казавшемуся мне самым главным. Он рекомендовал нам французский учебник Гризолля и на своих лекциях очень часто цитировал его словами «наш автор». Купив эту книгу, начинающуюся, сколько помню, описанием горячечных болезней, читаю... и изумляюсь — в книге нет ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов болезни, ее исходов и способов лечения; а о том, как из причины развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, ни слова. Думаю: видно, Николай Силыч и Гризолль устарели, пойду-ка я к медицинской звезде Алексею Ивановичу Полунину и спрошу его, по какой книге мне учиться. Алексей Иванович действительно не одобряет Гризолля и говорит мне: «возьмите-с сочинение Канштатта». Бегу к единственному тогда немецкому книгопродавцу Дейбнеру (кажется, на Б. Лубянке) и узнаю там, что сочинение Канштатта стоит ни много ни мало 30 рублей — это для студента, живущего на гроши! Нечего делать, остался при Гризолле, и благо мне, потому что узнал вскоре, что и у Канштатта немного по части интересовавших меня вопросов».

Об этом самом Николае Силыче Топорове, между прочим, рассказывали, будто изрек он однажды такой афоризм: «Зачем нам термометры да микроскопы, была бы сметка, мы и без них нажили Топоровку». А Топоровкой называли студенты Малую Молчановку, на которой были два собственных дома профессора Топорова.

Тот же «голый эмпиризм» царил и на лекциях по фармакологии декана Николая Богдановича Анке: не было и речи о действии лекарств на организм, только перечень и указание, от каких болезней они действуют.

«Третий предмет на 3-м курсе (общую хирургию. — М. Я.) читал проф. Басов... Читал он по соб-

ственным литографированным запискам, где все относившееся к болезни было разбито на пунктики под номерами. Случалось, что звонок, кончавший лекцию, останавливал ее, например, на 11-м пункте перечисления болезненных симптомов. Тогда в следующую лекцию Басов, сев на кресло, почешет нижнюю губу, улыбнется и начинает: 12-е, т. е. начинает с пунктика, до которого была доведена предшествующая лекция. Нужно ли говорить, что чтения происходили без всяких демонстраций... С таким же характером читалась им и офтальмология. Чтобы показать, как действует рука оператора при операции снятия катаракта, он завертывал губку в носовой платок, придавал этому объекту, зажатому в левой руке, шарообразную форму, а правой рукой производил все оперативные эволюции».

Знакомство с этими главными предметами, читавшимися на третьем курсе, разом отвратило горячего Сеченова от медицины, от мечтаний о будущем поприще практического врача. Бросать университет он, однако, не собирался и, запасшись учебниками, по всем предметам, решил проштудировать их перед экзаменами, а пока пожить в свое удовольствие.

Жизнь в свое удовольствие началась с того, что Сеченов стал посещать лекции профессора Кудрявцева по истории реформации. После сухих медицинских лекций он слушал тихую, вдохновенную речь Кудрявцева с истинным восторгом. Слушал он и Грановского и вообще предпочитал соседние аудитории гуманитарников своим, медицинским. В этот же год он увлекся психологией.

С четвертого курса начались занятия в университетских клиниках, и он надеялся почерпнуть для себя хоть что-нибудь интересное.

Надежды не обманули его.

Факультетские клиники разместились на Рождественке, в бывшем помещении Московской медико-хирургической академии (в 1840 году ее перевели в Петербург), переданном университету в 1845 году.

Студентов прикрепляли для наблюдения к больным, и они должны были вести истории болезни. Но

что могли писать в них новоиспеченные кураторы? Что они знали о болезнях, о наблюдении за больными? В лекциях им преподавались так называемые классические случаи, которые почти никогда не встречались в клинике; поэтому все истории болезни, написанные студентами, пестрели пометками: «Положение без изменений». Больные от этого не страдали — истории болезни не читали ни профессора, ни их ассистенты.

В терапевтической и акушерской клиниках было введено необязательное дежурство, настолько необязательное, что мало кому доводилось воспользоваться этой возможностью. Сеченов, во всяком случае, как вольнослушатель, так ни разу и не подежурил в клинике.

Рабочий день начинался в 8 часов утра. Студенты собирались в небольшой комнате, служившей аудиторией, и ждали профессора. Профессор Овер, однако, не приходил. Вместо него появлялся адъюнкт Млодзеевский и садился перед скамьями. Он вызывал какого-нибудь студента и спрашивал, кто поступил в клинику. Студент скучно рассказывал о возрасте и телосложении больного, найденных признаках болезни и назначенных лекарствах. Затем начинался обход и проверка правильности доклада студента. Иногда Млодзеевский во время обхода исследовал наиболее интересных из вновь прибывших больных и ставил диагноз.

Вот, собственно, и все обучение. Исследованию больного по «новому способу» — выстукиванию и выслушиванию — учили на словах, предоставляя как угодно и на ком угодно практиковаться самостоятельно.

На утренних докладах случались иногда и забавные истории.

Вот перед Млодзеевским стоит студент. Вчера ему впервые довелось дежурить в клинике. Поступила в тот день больная женщина, и студент недостаточно подробно расспросил ее. Млодзеевский заметил пропуски в докладе и задал несколько вопросов:

— Больная замужем?

— Замужем.

— Есть у нее дети?

— Есть.

— Когда был последний ребенок?

— Перед свадьбой, — не задумываясь, ответил студент.

При проверке на обходе оказалось, что больная — пожилая вдова и детей у нее вообще никогда не было.

Еще хуже обстояло с исследованиями. Наиболее прилежные кураторы оставались в клинике в неурочное время, пытаясь научиться перкуссии и аускультации (выстукиванию и выслушиванию). Адъюнкт терапевтической клиники (впоследствии профессор университета) П. Л. Пикулин, прошедший за границей отличную клиническую подготовку, преподавал на пятом курсе. С изумлением увидел он полную беспомощность выпускников перед постелью больного. Он собрал группу энтузиастов и занимался с ними по вечерам, впервые знакомя завтрашних врачей с методами научной диагностики.

Вооружившись стетоскопами, студенты вдохновенно выслушивали и выстукивали, и больные снисходительно и понимающе терпели эти «занятия на себе».

Была при клиниках на Рождественке и амбулатория. Здесь, в хирургическом отделении, господствовал адъюнкт Иван Петрович Матюшенков. В маленькой комнате без скамеек в два ряда по стенке стояли студенты, образуя «коридор». Во главе этого коридора становился Матюшенков с перекинутым через плечо полотенцем. Всем своим видом он подчеркивал важность момента — хмурил брови, озабоченно наклонял голову.

Вот входит больной с ногтеедой на руке. Матюшенков осматривает руку, берет инструменты, подзывает нескольких студентов, которые окружают больного. Больной бледен и начинает вздрагивать. Матюшенков изрекает по-латыни диагноз и говорит больному:

— Покажи-ка, матушка, руку.

«Матушка» — здоровенный мужик протягивает

дрожащую руку. Матюшенков подмигивает студентам, те железной хваткой обнимают больного так, что тот не может пошевелиться, и... раздаётся душе-раздирающий крик. Операция закончена. Больного осторожно выводят. А Матюшенков назидательно и безапелляционно заявляет:

— В таких случаях, матушка, всегда нужно про-резывать палец до кости...

Совсем по-другому была поставлена хирургическая клиника четвертого курса. Руководил ею самый талантливый из профессоров, Федор Иванович Иноземцев. Это был не просто хороший оператор, но и думающий, одаренный ученый. Думать у постели больного он приучал и студентов, которые все без исключения восторгались им и преклонялись перед его дарованием.

Эта привычка оттачивать свой глаз, изучать больного, развивать склонность к обобщениям быстро привилась Сеченову, от природы наблюдательному и вдумчивому. Однажды в клинику привезли человека, упавшего со второго этажа. Больной был без сознания и так и не приходил в себя до самой смерти. Пролежал он в клинике недолго, и происходили с ним непонятные вещи.

Каждый день, когда Сеченов во время обхода подходил к его постели, он наблюдал одну и ту же картину: обеими руками больной двигал в воздухе, словно с силой рубя что-то невидимое. Никто не обратил на это обстоятельство особого внимания. Но Сеченова оно заинтересовало. Он стал заходить в палату в разное время. Больной лежал неподвижно, как труп. И только в полдень — между двенадцатью и часом — снова начинал «рубить». Сеченов поинтересовался, кем был до болезни его больной. Оказалось, поваром. Понаблюдав еще за всегда одинаковыми движениями, сопоставив их с одним и тем же временем, когда они производились, Сеченов смекнул: в эти часы повар готовил кушанья, сейчас, в бессознательном состоянии, он продолжает делать то же, что производил в течение всей своей рабочей жизни — он рубит двумя ножами котлеты.

Отчего бы это могло произойти? Привычка. Но привычка не объяснение, надо понять, что же она такое? Какие явления в мозгу вызывают ее? Каким образом может больной, находящийся без памяти, делать то, что он делал прежде, в здравом уме?

Разумеется, ответить на эти вопросы он тогда не смог. Но случай запомнился. И через несколько лет, когда Сеченов, уже профессор Петербургской медико-хирургической академии, работал над своим знаменитым трудом «Рефлексы головного мозга», он использовал этот случай для убедительного примера перехода заученных движений в невольные.

Федор Иванович Иноземцев был человеком горячим и увлекающимся. Клинике и студентам он посвящал массу времени. Говорил всегда интересно, был ласков и участлив с больными, называл их не иначе как «дружок» и «милый мой».

Отличительной чертой этого профессора был его физиологический подход к болезням.

«...Мы прежде всего исследовали и определяли самую болезнь, — писал сам Иноземцев, — и потом уже, разобрав и оценив все анатомические изменения, произведенные ею в организме, подчиняли их жизненному больному процессу».

Иноземцев создал свою оригинальную теорию о причинах заболеваний. Заключалась она в следующем: в разные эпохи причины болезней бывают разными — до недавнего времени это были воспаления, требующие кровопускания и охлаждения; с сороковых годов основной причиной заболеваний являются катары слизистых путей, возникающие на почве плохого питания. Питанием же ведает «узловатая» (симпатическая) нервная система. Значит, все дело в страданиях этой системы. И Иноземцев лечил симпатическую нервную систему, для чего кормил всех больных «антикатаральной панацеей» — нашатырными каплями. Нашатырь в смеси с рвотным корнем — это лекарство имело универсальное хождение в клинике Иноземцева и изготовлялось сиделками в огромном количестве.

Если оставить в стороне «эпохиальность» причин

заболевания и приверженность профессора к одному-единственному средству лечения, нужно согласиться, что взгляды его выгодно отличались от взглядов или, вернее, отсутствия таковых у большинства его коллег.

Этот чудаковатый человек впервые начал высказывать перед своими учениками идею о связи заболеваний с состоянием нервной системы, и это были прогрессивные высказывания. Он относился критически к установившимся догмам и утверждал, что хирург обязан быть также и терапевтом, потому что общее состояние больного имеет огромное значение и в момент операции и в послеоперационный период.

В свою теорию «узловой нервной системы» он верил свято. И можно смело утверждать, что будущая теория нервизма, выдвинутая Боткиным, впервые была подсказана ему, пусть в самом зачаточном состоянии, профессором Иноземцевым.

Работой в хирургической клинике Сеченов увлекся. Иноземцев, видя это, уделял способному студенту много внимания. И первая научная работа Сеченова была работой с хирургическим уклоном. Опубликовали ее, когда Сеченов был еще студентом, в «Московском врачебном журнале». Называлась она «Значительная саркоматозная опухоль лба над правым глазом; вылушение оной с благоприятным исходом болезни».

Но тесная связь Сеченова с Иноземцевым возникла не на почве «чистой» хирургии — она определилась физиологическим уклоном в деятельности профессора.

Влияние симпатической нервной системы на питание тканей и органов Иноземцев изучал вдумчиво и тщательно как у нормального, так и у больного организма. Работал над этой проблемой и преподаватель университета А. Н. Орловский, поставивший вместе с Иноземцевым ряд физиологических опытов.

Орловский изучал и другой вопрос, которым были заняты в то время многие физиологи Европы, — влияние блуждающего нерва на деятельность сердца.

Большая экспериментальная работа, которую Орловский провел по этой совершенно новой тогда физиологической проблеме, позволила ему прийти к выводу, опровергающему некоторые выводы Эдуарда Вебера, первооткрывателя этого явления.

Именно в хирургической клинике профессора Иноземцева «народился» Сеченов-физиолог. Тема его второй статьи, опубликованной в «Московской медицинской газете» в 1858 году, «Влияют ли нервы на питание?» подсказана работами Иноземцева и посвящена той же проблеме.

На четвертом курсе Сеченов увлекся физиологией, раз навсегда решив, что практическая медицина не его призвание. Увлекся настолько, что однажды даже у Визаров прочел нечто вроде лекции на тему о постепенном осложнении жизненных процессов.

Придя к выводу, что не будет врачом, Сеченов на пятом курсе перестал интересоваться лекциями и посвятил все свое время знакомству с физиологической литературой.

5

Три дня — с 12 по 14 января 1855 года — продолжалось празднование столетнего юбилея университета. Увы, Сеченов на него не попал. Как вольнослушатель, не носивший студенческой формы, он мог появиться на празднике только в дворянском мундире. А где было его взять?

Иван Михайлович не прочь был хорошо одеться, но скудные средства держали в плену, и единственное, что он мог себе позволить, — модное пальто. Да и то вышел один смех! В моду входили пальто цвета «лондонского дыма». Иван Михайлович, собрав денег, как-то вечером отправился с Феофаном Васильевичем в лавку и при свечном освещении купил пальто абсолютно дымчатого цвета. Какова же была его досада, когда на другой день при свете солнца выяснилось, что пальто это имеет совершенно не-

выразимый, до неприличия желто-коричневатый оттенок!

В таком виде в университет бы не пустили, а гражданское платье Сеченова было настолько затрапезным, что он и сам не решился пойти в нем на праздник. Так и не довелось ему побывать ни на торжественной части, ни на великолепном обеде, устроенном для студентов. Но он даже не успел погоревать по этому поводу — настоящее большое горе внезапно обрушилось на него: умерла мать.

Получив известие, Сеченов долго не мог прийти в себя. Воспоминания о милой, кроткой матери теснились в голове, обидно было, что так мало пришлось бывать с ней, что только завязавшаяся между ними дружба так горько и быстро оборвалась. Не пришлось ей, бедной, дожить до того дня, когда сын ее пошел «по ученой части»!

Сеченов плакал откровенно и горько, не скрывая слез от доброго товарища Фифочки, который, утешая его, сам то и дело всхлипывал.

Это удивительное свойство — плакать по-детски и не стыдась — сохранилось у Сеченова навсегда. Плакал он, правда, чаще от умиления, как сам говорил, «по своей коровьей природе». Жизненные же невзгоды и серьезные неприятности он старался выносить стоически.

Со смертью матери сыновья разделили наследство — кто хотел, получал имущество, а желающий мог выделиться деньгами. Сеченов, решивший после университета ехать за границу совершенствоваться в науках, сразу же попросил денег. На его долю пришлось шесть тысяч рублей, и от дальнейших прав на наследство он навсегда отказался. Единственное «имущество», которое он получил в собственность, — крепостной слуга Феофан Васильевич, которому незамедлительно выхлопотал вольную.

В полном разгаре была Крымская война. Положение на фронте скрывалось от народа, сведения с театра войны поступали скудные, газеты в России насчитывались единицами, да и правды в них не писали. Слухи, однако, просачивались; было известно,

что под Севастополем идут кровавые бои и что положение русских войск оставляет желать много лучшего.

Не хватало медикаментов и перевязочных материалов, солдаты воевали оборванные и голодные — обмундирование и продукты безбожно разворовывались интендантскими начальниками, не хватало медицинского персонала, в особенности врачей.

Московский университет получил высочайшее предписание незамедлительно, среди зимы, выпустить врачами студентов четвертого и пятого курсов. Студентов собрали в больших аудиториях, ректор и декан объявили им о решении правительства, предложив немедленно сдавать экзамены. Студентами, учившимися на казенный счет, приказ должен был выполняться безоговорочно, своекоштные же должны были для формальности выразить свое согласие.

Медики-недоучки прежде всего испугались перспективы наделать вреда в армии, где никто не стал бы спрашивать, чему и как учили их на факультете. Желающих ехать потому было немного. В числе их оказался Боткин.

В то время в доме у Боткиных, в тихом переулке возле Маросейки, в нижнем этаже снимал квартиру Тимофей Николаевич Грановский. Как раз незадолго до этого он завел с Сергеем Боткиным разговор о Крымской войне.

— Время ли теперь учиться? — горячо доказывал он. — Вы только представьте себе, что тысячи раненых солдат лежат сейчас на полях сражения, стонут, и мучаются, и гибнут от недостатка ухода! А скольким бы из них вы могли помочь! Ведь там не то что врачей — фельдшеров не хватает...

Слова эти глубоко запали в душу студента Боткина, и, когда подошел момент, он тотчас же согласился ехать в Крым.

Сеченов же даже не успел поразмыслить, когда дошла очередь до его курса, — неожиданно все переменилось, и своекоштные студенты получили возможность закончить университет. Судьба сжалилась над Сеченовым. Похоже было, что она сжалилась над

всей Россией: 18 февраля 1855 года внезапно умер Николай Первый.

Это было в разгар героической Севастопольской обороны. Исход войны был уже ясен: Крымская кампания неизбежно должна была окончиться крахом. Для Николая эта кровавая авантюра, стоившая народу стольких жизней, закончилась раньше.

Со смертью Николая у всех как камень с души свалился. «Россия словно проснулась от летаргического сна», — вспоминает друг Чернышевского Шелгунов. Последние годы николаевского царствования стали невыносимыми и для широких кругов буржуазии. Пораженческие настроения распространились по всей стране. Крестьянские бунты охватывали все большее количество губерний.

Со смертью Николая кончилась эпоха черной реакции. Новый царь, взвесив обстановку, начал заигрывать с народом. Было ясно, что проигранная война одновременно должна обернуться и другой своей стороной: это был крах крепостнического строя.

Ожила печать, все больше стало появляться газет и журналов: они вырастали, как грибы, в разных городах государства. Все больше развязывались языки, все популярней становилось слово «свобода». На литературных вечерах каждому стихотворению, в котором встречалось это слово, неистово рукоплескали. Появилась пересланная из далекого Лондона первая книжка «Полярной звезды»; на обложке ее был начертан девиз: «Да здравствует разум!», а под ним силуэты пяти повешенных декабристов. Начиналась пора наибольшей популярности Герцена. Разночинная молодежь хлынула в университеты, явочным порядком завела в них самоуправление. Даже студенческая форма была отменена, что, впрочем, не всем понравилось: форма стоила дешевле обычного платья, и неимущие пострадали от этой «свободы».

Демократы еще не размежевались с либералами, и кое-кто из них думал, что царь действительно может пойти на серьезные уступки.

Свою деятельность Александр Второй начал безобидно: увековечением памяти своего отца — Николая. Направо и налево переименовывал он города и улицы, питейные заведения и дома терпимости, парки и сады в «Николаевские». Почтение перед умершим родителем доходило иногда до анекдотов. Очень смеялись в Петербурге по следующему поводу.

Была в столице улица Грязная. Жил на ней профессор медицины И. В. Буяльский. Предложил он губернатору дать улице более пристойное название. Губернатор доложил Александру. Тот подмахнул: «Переименовать в Николаевскую».

Кто-то по этому поводу заметил:

— Единственное правильное переименование: все, что грязное, то и «николаевское»...

В Москве, в Большом дворянском собрании, Александр держал речь. Сказал, что слухи об освобождении крестьян только слухи и правительство ничего еще не предпринимало. Но следует дворянам пораскинуть мозгами: лучше начать сверху, чем ждать, когда начнут снизу.

Дальше этого многообещающего выступления пока не шло. Кое-где даже стали происходить события, от которых столичная публика поотвыкла: в каком-то трактире, например, арестовали студента за то, что он вслух читал Искандера. Какую-то газету запретили к изданию за то, что в ней поместили статью об экономической невыгодности крепостного труда.

Но общественный подъем нельзя уже было остановить. И историю нельзя было повернуть вспять — экономическое развитие страны настоятельно и безоговорочно требовало раскрепощения крестьян.

Почти весь этот период Сеченова не было на родине.

Весной 1856 года он окончил университет. Неожиданно ему предложили сдать «экзамен прямо на доктора», вместо того чтобы ограничиться лекарским званием. Декан Николай Богданович Анке заявил Сеченову, что этого требует факультет.

Сеченов удивился: не так уж силен он был в медицине, особенно в практической, чтобы сдавать пря-

мо на доктора. Но раз факультет требует, да еще настоятельно, — делать нечего.

Произошло все так. Николай Богданович Анке, выдвигавший где только можно своих любимцев, и на этот раз потребовал, чтобы два его студента — Юнге и Эйнбродт — подали прошение о сдаче экзаменов на доктора. Это давало возможность после защиты диссертации получить профессорское звание. Из опасений, что русские профессора Глебов и Бассв, не терпевшие ущемления прав русских студентов, провалят его кандидатов, и из желания задобрить их Анке решил причислить к сдающим и третьего — Сеченова.

Анке немного просчитался: Сеченова-то он уговорил сдавать на доктора, но Эйнбродт все-таки провалился на экзамене у неподкупного Глебова.

21 июня 1856 года Сеченов получил аттестат: «По указу е. и. в., от Совета имп. Московского университета, из дворян, отставному подпоручику Ивану Сеченову в том, что он в августе месяце 1851 года принят был по экзамену в число вольнослушателей сего университета, где при очень хорошем поведении окончил курс медицинских наук и согласно его прошению допущен был прямо к испытанию на степень доктора медицины, по окончании которого, за оказанные им отличные успехи, определением университетского Совета, 1-го сего июня состоявшимся, утверждён в степени лекаря с отличием, с представлением ему права по защите диссертации получить диплом на степень доктора медицины».

Ехать за границу на летний семестр было уже поздно. Иван Михайлович отправился погостить к родным, в Теплый Стан.

Здесь ему пришлось во второй и последний раз в жизни оказать медицинскую помощь человеку.

В первый раз это было, когда Сеченов после окончания четвертого курса приехал на каникулы домой. Пянюшка Настенька оказалась первым объектом его самостоятельной медицинской практики. Огромный фурункул на пояснице нестерпимо мучил ее целых две

недели, и она насилу дождалась приезда своего любимца, которому, разумеется, доверяла, как богу. Варварскую операцию, которую произвел ей Иван Михайлович, сделав два огромных крестообразных разреза, она вынесла геройски и долго потом хвалилась дворне и соседям, утверждая, что «выйдет из барина великий лекарь».

И теперь, когда будущий «великий лекарь» перед долгой разлукой снова приехал в родные пенаты, должно быть, Настенька позаботилась, чтобы слава об его искусстве быстро разлетелась среди тепло-станских крестьян.

На следующий день после приезда к Сеченову пришел молодой испуганный крестьянин и со слезами на глазах, показывая пальцем на горло, взмолился:

— Выньте его, барин, Христа ради, помру я с ним, и только! Уж так меня душит, так душит, что сказать нельзя.

Сеченов попросил объяснить, что именно «душит». Оказалось, что в пищеводе у парня застрял большой кусок хлеба.

— Уж я и палец в рот закладывал, и пихал его, и назад хотел... Ни туда ни сюда, окаянный!

Зонда у Ивана Михайловича, разумеется, не было, да и операции такой ему никогда не приходилось производить. Но не отпускать же человека без всякой помощи! Живо смекнув, чем можно заменить зонд, Сеченов выпросил у сестры... пластинку китового уса от корсета. Достал кусок губки, навязал ее на конец пластинки, смочил деревянным маслом и полез в широко раскрытый рот пострадавшего. Операция вполне удалась: комок хлеба был продвинут и пошел по положенному ему пути. А крестьянин на радостях бросился на колени и стал класть земные поклоны, чем несказанно огорчил Ивана Михайловича.

Наступил конец лета. В последний раз побывал Сеченов в милой семье Визаров. Отдал, между прочим, Владимиру Яковлевичу деньги, полученные в счет наследства, и договорился, что высылать их будут по мере надобности, частями.

В последний раз побродил по Москве, ярко иллюминированной по случаю коронации Александра Второго; купил по настоянию Феофана Васильевича золотые часы, считавшиеся им неизменным атрибутом настоящего доктора; поклонился университету — и прощай, Москва!

До Петербурга Сеченов доехал по не так давно выстроенной железной дороге, там пересел на пассажирский пароход, отправляющийся в Штеттин. В Кронштадте пароход задержали — надо было догрузиться углем, и Сеченов пошел бродить по городу.

Последнее, что он видел перед отъездом из России — пьяную драку двух матросов. Картинка эта лишняя раз укрепила в нем уверенность, что тема диссертации, уже смутно назревавшая в мыслях, выбрана им правильно.

6

В небольшой уютной квартирке на Луизенштрассе, в комнате, служившей салоном, собралась компания из четырех русских медиков. Окна выходили в тихий больничный сад, сейчас по-зимнему голый и пустой. Фрау Крюгер, хозяйка квартиры, тихонько постучала в дверь, спросила, не желают ли господа медики пива, и неслышно удалилась.

Боткин приехал в Берлин поздней осенью из Вюрцбурга. Случайная встреча с одним немецким врачом определила на первое время пребывания за границей интересы Сергея Петровича: этот врач так вдохновенно описывал достижения Рудольфа Вирхова в науке, с таким увлечением рассказывал о работах этого «великого творца новой медицинской школы», что Боткин решил немедленно ехать в Вюрцбург, к знаменитому профессору.

Революция 1848 года принесла с собой не только ревизию политических, общественных и промышленных основ жизни Германии, но и тех мировоззрений, которые преобладали тогда в естествознании.

Господствовавшая в медицине «гуморальная теория»¹ уже показала свою несостоятельность. Новые открытия в области физиологии и химии, успехи учения о крови, нервах, пищеварении никак не укладывались в рамки этой теории. На смену описаниям болезненных процессов по внешнему виду, цвету, консистенции тканей, описаниям, сдобренным туманными рассуждениями о «жизненной» и «образовательной силе», пришли наблюдение и опыт с помощью секционного ножа и микроскопа.

Это направление в западноевропейской медицине возглавил Рудольф Вирхов. Он выдвинул свою «целлюлярную», или «клеточную», патологию, основанную на уже известной к тому времени «клеточной теории» строения организма.

Вирхов провозгласил клетку важнейшим элементом в общем строении тела; отражая известный тезис Вильяма Гарвея — «все живое из яйца», он утверждал, что клетка рождается только из клетки, и тем самым доказывал непрерывность жизни и невозможность пресловутого «самозарождения». «Только в клетке молекулы получают свое соединение в собственно живую единицу», — утверждал он.

Много времени спустя великий Павлов писал, что клетка с функциональной стороны — «дно жизни», «суть дела».

Да, клетка — важнейший элемент в общем строении тела, но не единственный. И тут Вирхов впадал в ошибку, которая привела его и к другим важным принципиальным ошибкам.

Поставив клетку во главу угла, Вирхов считал весь организм только механической суммой клеток, отрицая его целостность, его единство. «Нет никаких других болезней, кроме местных», — писал он и к организму относился как к «клеточному государству», в котором каждая колония клеток совершенно само-

¹ Странники гуморальной теории считали, что весь механизм координации физиологических процессов, все взаимодействие между различными частями организма осуществляются через жидкие среды (тканевую жидкость, лимфу, кровь), а роль нервной системы во внимание почти не принимали.

стоятельна, а каждая клетка развивается независимо и в отрыве от всего организма.

Целлюлярная патология Рудольфа Вирхова в то время сыграла большую прогрессивную роль и была еще одной ступенью в развитии науки, заложенной великим врачом древности Гиппократом.

Учение о клеточном строении проникло во все области биологических исследований и совершенно по-новому поставило вопросы физиологии и патологии организмов.

Боткин влюбился и в учение и в «учителя» (что не помешало ему некоторое время спустя стать основоположником «теории нервизма» в русской медицине — теории, основанной на целостности организма и на влиянии нервной системы на все его проявления) и последовал за Вирховым в Берлин, где тот в 1856 году получил университетскую кафедру в только что отстроенном для него патологоанатомическом институте.

Компания из четырех московских медиков радостно встретилась в квартире Боткина. Веселый хозяин приветствовал каждого, как близкого друга, — на чужбине все они стали особенно близки и дороги ему.

Беккерс, бывший хирургом при Пирогове в Севастопольскую кампанию, с возмущением и грустью рассказывал о тех незабываемых днях.

— Мы знали, что надо смотреть в оба, чтобы наши больные не остались без пищи, об этом предупреждал Пирогов. Но то, что мы там застали, было ужасным — все эти чиновники и администраторы действительно относились к казенному имуществу, как к своему именинному пирогу! Пришлось даже сконструировать некое приспособление, чтобы из котлов с жидкой пищей нельзя было выуживать куски мяса. Но и это мало помогало — мясо все равно не доходило до раненых солдат. Непостижимым образом оно «рассасывалось» по дороге от кухни до палаты...

Боткин по окончании университета тоже провел почти четыре месяца на Крымском театре войны, и

все это было ему хорошо известно. Он только молча кивал головой.

Друзья вспоминали Московский университет.

— Кому из вас приходилось работать с микроскопом, признайтесь честно? — спросил Боткин.

Оказалось, что никому.

— Теперь вы понимаете, почему у Вирхова я схватился за микроскоп, как изголодавшийся младенец за материнскую грудь?! Это таинственное кабалистическое орудие, каким мы считали его в Москве, здесь основа основ! Патологическая анатомия просто немыслима без него. Я не могу понять, как это патологи до сих пор обходились без микроскопа. У нас в лаборатории Гоппе-Зейлера... Да, впрочем, приходите, сами посмотрите.

— Обходились обыкновенно, — с серьезной улыбкой и искрами смеха в глазах вмешался Беккерс. — Для того чтобы определять цвет крози и мочи или консистенцию ткани, не требуется микроскопа.

— Ну, а вы к кому пристроились, Сеченов? — спросил Юнге, собиравшийся заниматься офтальмологией. — Расскажите, что вы-то делаете.

— Могу рассказать, — охотно откликнулся Сеченов, — начал я тут с частной химической лаборатории Зоннештейна. И начал очень оригинально — собирался изучать качественный анализ. Но вы же знаете, в университете нас в химическую не допускали, так что начать мне пришлось... с мытья лабораторной посуды. И обучал меня этому служитель. У него я прошел курс обращения с паяльной трубкой, с огнем, и так как у служителя рука была легкая, а у меня не менее легкая голова, обучение прошло успешно и закончилось быстро. Кое-чему из количественного и качественного анализа я тоже, правда, научился. И через два месяца мог уже без стыда начать работу у Дюбуа-Раймона.

— А что вы скажете о нем? Кстати, лекции его вы слушаете?

Что он скажет о знаменитом впоследствии ученике еще более знаменитого уже тогда Иоганна Мюлл-

лера — Дюбуа-Раймоне? Но прежде надо рассказать о «трижды знаменитом» Мюллере.

Он-то и привлек Сеченова в Берлин — Иоганн Мюллер был самым выдающимся физиологом и биологом Германии. Имя его гремело по всему миру, как одного из реформаторов сравнительной анатомии и одного из первых ученых, связавших ее с эмбриологией. Карл Людвиг, Рудольф Вирхов, Герман Гельгольц — все это ученики мюллеровской школы.

Иоганн Мюллер... Сеченов был разочарован, надо честно признаться. Не того он ожидал от «короля физиологии» — король-то к тому времени почти ею и не занимался. Все еще считаясь официальным представителем кафедры, он уже не принимает учеников, а лекции по физиологии читает только в один легкий семестр, за три месяца весь курс. Сеченов, разумеется, будет посещать эти лекции, но уже многого от них не ждет. Сейчас он слушает у Мюллера курс сравнительной анатомии. Усталый и больной, профессор читает этот курс таким тихим голосом и с таким безразличием... Какая досада, что угасает эта славная жизнь!

Иное дело Дюбуа-Раймон. Вот чьи лекции стоит послушать. Хотя они и не обязательны, но до чрезвычайности интересны. Немцы на них почти не ходят, и вся аудитория слушателей — семь человек; среди них Сеченов и Боткин. Электрофизиология мышц и нервов. Что мы знаем о ней? Ровно ничего. Да и мало кто вообще знаком с этой любопытнейшей областью. Он, Сеченов, во всяком случае, увлечен этими лекциями. Для той программы-максимум, которую он себе наметил в жизни, эти сведения, несомненно, пригодятся. Учеников у Дюбуа нет, лаборатория маленькая — всего одна комнатка. Достапа туда никому нет — это его святилище. Но зато возле лаборатории есть коридор, а в коридоре стоит стол. Единственный и неудобный. Тем не менее при большом желании и тут работать можно. Дюбуа милостиво разрешил. Не сам Сеченов просил об этом — просил дерптский доктор Купфер, приехавший специально слушать лекции Дюбуа-Раймона и поже-

лавший изучить гальванические явления на мышцах и нервах. К нему-то и пристроился Сеченов, и вдвоем они установили в этом коридоре на этом столе гальванометр и проделали несколько опытов на мышцах и нервах лягушки и спинном мозге угря. В коридоре было холодно и сыро, перед окном возвышалась, заслоняя свет, высокая стена соседнего дома, но Сеченов пренебрег этими неудобствами, хотя теперь с удовольствием думал о переходе в лабораторию вирховского института. Атмосфера в коридоре была вообще не слишком приятная — профессор Дюбуа, этот немец с французской фамилией, не обращал на него никакого внимания: будто и не сидел Сеченов за столом, не работал с гальванометром, не дул на застывшие руки. Профессор либо просто проходил мимо, либо перебрасывался несколькими словами — не с Сеченовым, а с Купфером. Через него однажды и попросил произвести опыты на угре.

— Так что, друзья, как видите, не очень сладко живется в прославленном Берлине, — смеясь, закончил Сеченов свой рассказ.

Юнге поинтересовался, каким образом можно попасть на университетские лекции.

— Совсем не обязательно поступать в студенты, как это по наивности сделал я, — ответил Сеченов. — Можете просто записаться на тот курс, который вас интересует, заплатить деньги и ходить. А со мной получилось смешно. Пошел я прежде всего к ректору, выслушал от него длинную наставительную речь и удостоился рукопожатия. Прямо от ректора — в канцелярию: внес деньги за все пять курсов, которые наметил себе: Магнуса — по физике, Розе — по анатомической химии, Мюллера — по сравнительной анатомии, Дюбуа — по физиологии и Гоппезейлера — по гистологии. Почему-то с меня потребовали плату и за занятия в сравнительно-анатомическом музее Мюллера. Со всеми квитанциями об уплате я явился к профессорам, и они дали мне карточки для слушания лекций. Пришел я и к Мюллеру. Дал он мне разрешение на посещение музея и велел заняться остеологией рыб. Прихожу в музей. Огром-

ная пустая комната, потолок черт знает где, из всех углов — эхо. Кроме меня, ни души. Мюллер сюда давно не заходит, как объяснил мне служитель. Сижу я среди безмолвных рыб, поглядывая на их скелеты, а что делать — не знаю. Походил день-два — и бросил. Вообще сравнительной анатомией я заниматься не собираюсь, так что нечего и время тратить. А Мюллера все-таки дослушаю — уже записался на летний семестр на курс физиологии. Процедура та же: пошел в канцелярию, внес деньги, потом пойду получать разрешительную карточку к славному ветерану немецкой физиологии. Жаль мне его — и не старый вовсе, а такой больной и слабый, что, кроме глаз, кажется, ничего не осталось. Зато глаза, когда он читает, блестят неопишущим блеском. Блеск этот вместе с именем Мюллера тоже уже стал историческим...

— Ну, а в России что? — помолчав, спросил Сеченов Беккерса. — Как Москва?

— В России только и разговоров, что об освобождении крестьян. Александр, правда, заявил, что слух, будто правительство приняло проект реформы, ложен, но что заняться этим вопросом пора.

— Ну и что же? — спросил Боткин.

— Уж больно вы быстры, Боткин, — засмеялся Беккерс, — вот и будут заниматься несколько лет. Терпение, дорогой, нужно, терпение...

— Терпением русский народ издавна славился, — заметил Сеченов, — думаю только, на сей-то раз терпеть уж недолго осталось.

Просидели у Боткина до вечера. На другой день назначили встречу в ресторане Тепфера, известном в Берлине как «медицинский ресторан», потому что кормились там исключительно медики.

Сеченов с Боткиным шли, не торопясь, и громко разговаривали.

— Нет, какова бестактность, — возмутился Сеченов, — смотрит нам прямо в глаза, а ведь мы с вами как-никак составляем одну треть его аудитории, и говорит: длинноголовая раса (то есть немцы), видите ли, обладает всеми возможными талантами,

а короткоголовая (это мы с вами) — в лучшем случае лишь подражательностью! И до каких пор они будут смотреть на нас, как на варваров?!

— Неужели вы думаете, голубчик Сеченов, что Дюбуа-Раймону известно хоть что-нибудь о России? О нашем Белинском он, наверно, никогда и не слышал, короткоголовых русских писателей — Гоголя, Тургенева и Достоевского — не читал, о том, что существовал Грановский — понятия не имеет...

— Ведь он, когда подходит к нашему столу в коридоре, на меня даже не смотрит, два-три слова скажет Купферу и уходит. Мне, конечно, все равно, замечает он меня или нет, но вот сегодня не выдержало сердце, так захотелось ему в лицо сказать...

— А вы, голубчик, докажите ему, что не одной подражательностью славен русский человек, — подзадоривал Боткин, — возьмите и сделайте какое-нибудь великое открытие на ваших возлюбленных лягушках и поднесите Дюбуа-Раймону: нате, мол, вам плоды трудов представителя короткоголовой расы.

— А что вы думаете, и докажу, — рассмеялся Сеченов, — и открытие сделаю, и ткну его носом в это открытие.

Всего через пять лет суждено ему было вспомнить этот наполовину шуточный разговор, когда он действительно сделал замечательное открытие, сразу поднявшее его на голову выше Дюбуа-Раймона в области медицинской науки. В ту встречу о расах не упоминалось, и Дюбуа был исключительно мил и любезен с Сеченовым, понимая уже, что за ученый сидит перед ним.

Но на лекции по электрофизиологии Сеченов продолжал ходить. Он заинтересовался работами Гельмгольца, о которых с таким жаром рассказывал Дюбуа. Недавно экспериментальная работа Гельмгольца, впервые измерившего скорость распространения возбуждения по нервам, была напечатана в известиях Французской Академии.

Дюбуа рассказывал с увлечением, горячо и страстно всю историю открытия: сомнения Иоганна Мюль-

лера в возможности измерить столь быстрый процесс, свои собственные мысли — как можно было бы экспериментально приступить к этому делу, и, наконец, решение задачи его другом, учеником того же Мюллера — Германом Гельмгольцем.

Все это было так интересно и необычно, что Сеченов решил непременно поехать в Гейдельберг поработать у знаменитого физика и физиолога Гельмгольца. А пока он перешел от Дюбуа-Раймона в институт Вирхова, к Гоппе-Зейлеру, в его лабораторию медицинской химии.

Молодой ученый, милый, добрый и снисходительный, сразу пришелся по душе Сеченову и не только потому, что Гоппе-Зейлер не делал никакого национального различия между своими учениками: сама система работы у него была такова, что обучение шло легко и быстро.

В теплой и светлой комнате (какое счастье, что удалось вырваться из полутемного, неуютного коридора!) занимались изучением животных жидкостей. Гоппе-Зейлер интересовался работой каждого, был мягок и доброжелателен, и как-то само собой вышло, что ученики поверяли ему свои сокровенные мысли. С ним хотелось поделиться планами, посоветоваться, выслушать его мнение, которое он, кстати сказать, никому не навязывал. Даже научные темы он предоставлял выбирать по собственному усмотрению, вполне доверяя молодым медикам, и только чутко и тактично направлял их работу.

Гоппе-Зейлер — физиолог-химик. Кому, как не ему, понять всю сложность избранной Сеченовым темы? И Сеченов, расположенный снисходительностью и простотой ученого, решается на откровенный разговор с ним.

Не раз у себя на родине приходилось Сеченову наблюдать, как топит в вине горести и печали своей беспросветной жизни русский мужик и ремесленник. Печальная и губительная роль водки в безрадостной жизни русского народа была ему хорошо известна. И Сеченов выбирает темой своей научной работы влияние на организм острого отравления алкоголем.

Гоппе-Зейлер выслушал внимательно, признал тему важной и разумной и вполне одобрил ее.

Сеченов начал исследования.

Не так-то просто измерять влияние алкогольного отравления на температуру тела, а измерять приходилось и в венах и в артериях; улавливать пары алкоголя, выделяемые легкими; производить анализ желчи, изучая влияния алкоголя на печень; измерять количество выдыхаемого пьяным животным углекислого газа.

Работы с углекислым газом он потом продолжал всю свою жизнь, и немало горечи и разочарований постигло его за эти долгие годы. Были разочарования и здесь, у Гоппе-Зейлера, и позже, в Лейпциге, где все его исследования прошли почти впустую. Только в Вене, у замечательного физиолога Карла Людвига, Сеченов благополучно закончил свою докторскую диссертацию.

7

Однажды, когда Сеченов пришел к Боткину, тот встретил его с таинственным видом и шепотом сказал:

— А у меня гость, да какой! Приехал с письмом от брата. Пойдемте познакомлю.

В комнате, в которой обычно собиралось «московское землячество», неловко сидел за столом полный человек с таким необыкновенным лицом, каких Сеченову еще не приходилось видеть. Высокий лоб, покрытый легкими морщинами, темные волосы, окладистая, чуть тронутая проседью борода. И такая нежная, кроткая улыбка пряталась в эту бороду, так спокойно глядели большие темно-серые глаза, что Сеченов даже как-то сразу оробел.

В голове мелькнуло: «Сумасшедший или гений — у обыкновенного человека таких глаз не бывает».

При виде вошедшего гость поспешно привстал, обнаружив неожиданную для его полноты подвижность, и протянул Сеченову нервную руку.

— Александр Иванов, — тихо сказал он, улыбаясь своей удивительной улыбкой.

«Иванов?!» — чуть было не вскрикнул Сеченов. Знаменитый Иванов, который двадцать семь лет назад покинул Россию и с тех пор в Италии все пишет свою картину «Явление Христа народу».

— Вот заехал показаться главному врачу, — словно оправдывался Александр Андреевич, — Сергей вот Петрович советует к Греффе заявиться.

Голос у Иванова мягкий, слегка пришепывающий. Говорит он медленно, чуть спотыкаясь перед словами, будто стесняется и своей речи и самого своего присутствия среди незнакомых людей. Но вскоре, чутко уловив отношение этих двух земляков к своей особе, Александр Андреевич стал проще и веселей. Он беспокоился о глазах, беспокоился, собственно, не потому, что физически страдал от боли, — болезнь глаз мешала писать.

Отшельник по характеру, ставший за последнее время чрезвычайно мнительным, разочаровавшийся в своем гениальном творении, детище всей жизни, он с великим трудом решился на эту поездку.

На Сеченова он произвел неизгладимое впечатление и в скором времени, когда они снова встретились, стал чуть ли не задушевым другом.

Мечтая об Италии, Иван Михайлович разыскал в Берлине учителя-итальянца и в свободное время изучал итальянский язык. В августе же, когда в Берлинском университете кончился летний семестр, смог, наконец, осуществить свою мечту: вдвоем с товарищем, за которым он заехал в Вюрцбург, отправился путешествовать.

Решено было ехать до Мюнхена, оттуда пешком по Тиролю — через Инсбрук, Бреннер в Верону, с небольшими отступлениями в сторону.

Выйдя из Мюнхена, путешественники сразу преуспели в горных «бродяг»: за плечами котомки, костюмы изрядно помятые, никаких проводников и мягких постелей. Словом, настоящее путешествие со всеми его прелестями, которыми и можно только насладиться таким образом.

Дней десять бродили они по Тиролю; однажды заплутались в горах, да и то не без пользы: это помогло им попасть в настоящую тирольскую деревушку и познакомиться с бытом и жизнью в тирольском захолустье. Побывали они в горной солеварне, где за вполне доступную плату можно было прогуляться по подземным галереям. В шахту спустились необычным способом — не по ступенькам и не в «люльке». Двух русских медиков нарядили в кожаные штаны, на правую руку натянули кожаные же рукавицы и посадили верхом на бревно. Велено было упереться ногами в землю, а правой рукой схватиться за канат. Затем по команде ноги отрывались от земли, и... с неудержимой силой «всадники» по бревнам покатались вниз. Дух захватывало от такого катания! Но Сеченову оно понравилось, и он даже собрался повторить спуск, но необыкновенная красота того, что они увидели внизу, заставила позабыть об этом намерении.

Посредине огромной пещеры сверкало подземное озеро, освещенное десятками фонарей. Сеченова и его товарища усадили в лодку и повезли кататься по озеру. Разноцветные легкие волны выкатывались из-под весел. Потом все разом поглотил мрак. В полной темноте их подвели к вагончику подземной дороги и помчали сквозь черноту к свету, на вольный воздух.

Дальше пошли по заранее составленному маршруту, к перевалу через Альпы, в долину Комского озера. Ночевали у подножий гор, вставали вместе с солнцем, поднимались выше вечных снегов и очутились, наконец, на границе Италии.

Тут Сеченов не удержался: как мальчишка бросился бегом к видневшейся вдали почтовой станции. Италия! Его осуществленная мечта! Другие лица, другая живописная одежда, другая речь. По Италии долго бродили пешком, плыли по озеру в лодке и, наконец, расстались: спутника потянуло в Швейцарию, а Сеченов направился в Милан.

В Милане было народное празднество, и вечером в толпе веселой гуляющей публики Сеченов слу-

чайно столкнулся с Боткиным. Сергей Петрович прибыл сюда несколько дней назад, ехал чинно, пользуясь всеми транспортными возможностями, и потому очутился в Италии раньше Сеченова. Перед смуглым, загорелым, с обветренным лицом Сеченовым он казался утомленным и бледным. Поострив по поводу полезности вольного воздуха и вреда изнеженности, приятели отправились гулять по освещенным разноцветными огнями шумным улицам Милана.

И тут от Боткина Иван Михайлович узнал, что из Московского университета уходит Глебов. Кафедра физиологии, таким образом, остается пока свободной.

— Нужно тотчас же послать прошение, — советовал Боткин.

— Не очень это ловко, дорогой Боткин, претендовать на кафедру, пока не сделал ничего чувствительного для науки.

— Пустяки, все это можно оговорить! Ведь бог знает когда представится еще такой случай. Матюшенков пишет, что Анке землю носом роет, чтобы пристроить туда своего протеже Эйнброта. Так разве у вас меньше оснований? Ведь вы же однокурсники, что касается его «талантов» и «вклада в науку», то я лично не сравню его с вами...

Сеченов задумался. Перспектива была более чем соблазнительной. В самом деле, куда он вернется после заграничного обучения? Получить кафедру в своей альма матер — это ли не заманчиво?

Уже в Венеции он, наконец, решился. В прошении он писал: «12 сентября 1857 г. Знакомясь за границей на собственный счет специально физиологией и получив известие, что кафедра этого предмета при нашем университете остается незанятой, я осмеливаюсь обратиться к Совету медицинского факультета с покорнейшей просьбой принять меня в число претендентов на эту кафедру. Со стороны человека, едва кончившего курс, не сделавшего никакого самостоятельного труда по части предмета и не имеющего, следовательно, никаких ясных доказательств,

что он занимается им, такая просьба может показаться очень странной...»

Дальше шло разъяснение, почему он все-таки рискнул на эту просьбу: занятие у крупнейших заграничных светил, знакомство с передовыми достижениями науки, надежда на то, что в заграничных университетах он получит серьезное физиологическое образование, тем более что его прежние занятия в инженерном училище дали ему знания высшей математики, без которой современная физиология совершенно невозможна. Затем Сеченов перечисляет, какие курсы и у каких профессоров он успел прослушать и какие еще намерен изучать.

«...Эти занятия дали мне возможность предпринять в конце летнего семестра самостоятельный физиологический труд. Он начат и к концу следующего академического года надеюсь будет кончен... Вот основания, давшие мне смелость покорнейше просить Совет медицинского факультета обратить на меня внимание при замещении кафедры физиологии в нашем университете».

Отправив это письмо и стараясь не думать об ответе, Сеченов наслаждался Венецией. Была поздняя ночь, тускло освещенные каналы казались смутными и таинственными. Легкие всплески воды под веслом гондольеров — вот и все звуки, нарушавшие тишину южной венецианской ночи. На площади святого Марка — тысячи огней, а на заднем плане, в темном небе, четко вырисовывается силуэт знаменитого собора.

Ознакомившись за две недели со всеми прелестями Венеции, Сеченов поехал во Флоренцию.

Куда прежде всего идут во Флоренции? В картинные галереи. Зайдя в одну из них, Сеченов был остановлен чьим-то окликом. Обернувшись, увидел, что к нему приближается человек средних лет, рыжий блондин, с нездоровым цветом лица и мягкими, вкрадчивыми манерами. Всем своим обликом он напоминал сытого католического священника. Сеченов узнал его не сразу, узнав же, не очень обрадовался. Это был Павел Боткин, один из братьев Сергея Пет-

ровича, которого Сеченов мельком видел в Москве. Слава о нем шла неважная. Окончив университет, он нигде не работал и жил в свое удовольствие то в Петербурге, у Михаила Петровича — художника, то в Москве, у других братьев, то разъезжал по заграницам. Был он большим любителем женщин и театра, да и сам слыл комедиантом. Знали его как большого эгоиста, поглощенного своей внешностью и амурами.

Скучающий холостяк, он обрадовался встрече с товарищем брата и уже не отставал от него в беготне по улицам Флоренции и ее картинным галереям. Вместе с Сеченовым отправился Павел Боткин и в Рим, где жили знакомые ему русские художники.

Чистая случайность (Сеченов назвал бы ее роковой, если бы в то время мог что-нибудь предвидеть) привела Ивана Михайловича в меблированные комнаты, снятые для них двоих Павлом Боткиным:

Некоторое время назад Александр Иванов, живший в Риме, решил писать серию картин из жизни Христа по книге Штраусса, с которой он недавно ознакомился. Иванов съездил из Берлина к Штрауссу. Кое-как они сговорились: Иванов не знал ни одного иностранного языка, кроме итальянского, Штраусс же умел немного говорить по-латыни. Штраусс посоветовал Иванову прочесть еще несколько книг, в том числе одну английскую, в которой описывался храм Соломона по Иосифу Флавию. Зная, что Сеченов умеет читать по-английски, Иванов написал ему в Берлин с просьбой помочь в переводе и пригласил поселиться у себя, когда Сеченов приедет в Рим.

Не зная берлинского адреса Сеченова (последнего, кстати, уже не было в Германии — он уехал путешествовать), Иванов послал письмо до востребования. И Сеченов этого письма не получил.

Павел Боткин снял комнаты по рекомендации знакомых художников у хозяйки, которая иногда служила им натурщицей. Сеченов, очень чуткий ко всем видам красоты, был сразу поражен внешностью хозяйки: знаменитая римская красавица Джулия

Биби, тоненькая, стройная, с лицом Мадонны дель Сарто, с первой же минуты завладела его помыслами. Любовался он ею робко и молча, из врожденной деликатности боясь показаться нескромным. Павел же Боткин, которого «мадонна» интересовала гораздо больше всех достопримечательностей Рима, исподволь повел на нее атаку.

Боткин в тот же вечер успел побывать у Иванова, позвал его на чай, пообещал, что вечерние чаи будут устраиваться каждый день, и пригласил к столу красивую синьору.

Сеченов при Джулии чувствовал себя крайне неловко. Иванову тоже не слишком улыбалось ее присутствие. Он шепнул Ивану Михайловичу:

— Пойдем-ка лучше ко мне...

И с этих пор они больше времени проводили вдвоем у Иванова. Сеченов читал вслух английскую книгу, переводя ее с листа, а художник, сидя за планом храма Соломона, циркулем сверял размеры и вносил в записную книжку кое-какие замечания.

Так они трудились до обеда. Обедать ходили в трактир Фальконе, где рыжий прислужник хорошо знал художника и привык угождать ему. Ходили они и по знаменитым местам Рима, и здесь к ним часто присоединялся Павел Боткин. Не зная итальянского языка, он вынужден был общаться с людьми при помощи мимики, перемежая жесты с французскими словами. Непостижимым образом он изъяснился так и с красавицей римлянкой и умудрился пленить ее. Сеченов же в ее присутствии только молча вздыхал.

Джулия была ежедневной хозяйкой в комнате, служившей салоном, разливала чаи и чувствовала себя вполне на месте. И чем больше приобщалась она к русской компании, тем большую неловкость испытывал Сеченов. Когда неумоготу стало скрывать свое увлечение, он заговорил с Ивановым о Джулии.

Иванов, наивный, как младенец, слушал внимательно и все приговаривал:

— Так-с, так-с, это очень интересно-с. Этого мне в голову не приходило-с...

Потом покачал головой, неловко сказал что-то о Павле Боткине и о легкомыслии Джулии и замолк, печально поглядывая на Ивана Михайловича.

Все, быть может, обошлось бы без резких поворотов — Сеченов по-прежнему молчаливо любовался Джулией, Иванов вздыхал, глядя на это любованье, — если бы Павел Боткин неожиданно не ускори́л событий.

Как-то поехали они втроем — Боткин, Сеченов и Джулия Бини — в наемной коляске за город. Весело провели день и возвращались, когда уже спала жара. Джулия, усталая и разморенная ездой, заснула в коляске. Под лучами заходящего солнца лицо ее было так ослепительно хорошо, что оба спутника онемели от восторга. С этого дня Павел Боткин стал смотреть на римлянку масляными глазами, откровенно и довольно цинично заигрывать с ней.

Иван Михайлович не терпел такого отношения к женщине. Он возмущался сначала молча, потом вслух, корил Боткина за его бесцеремонность, а тот только посмеивался.

Как вела себя героиня этой истории? Отнюдь не недотрога, она давно привыкла к такому обращению, зная и силу своей красоты и всю ее соблазнительность для людей, подобных Боткину. Обычно она реагировала на всякого рода заигрывания, смеясь и отшучиваясь, если только ее собственные чувства не бывали задеты. Сейчас, при Сеченове, поняв, что его отношение совсем не похоже на то, к чему она приучена, Джулия терялась или притворялась, что теряется перед любезностями Павла Петровича, смущалась и по временам краснела.

В Сеченове проснулся рыцарь, каким он был по отношению к женщинам еще со времен киевской встречи. Джулия стала казаться ему обиженной и беззащитной жертвой в руках богатого сатира.

Возмущение его накапливалось все больше и больше, нежность к Джулии возрастала прямо пропорционально количеству «обид», якобы наносимых ее гордости Боткиным, стремление защитить девуш-

ку стало так велико, что все это неизбежно должно было разразиться взрывом. И разразилось.

Обычно на вечерние чаепития приходили Александр Иванов и какой-то глухой чиновник, приятель Боткина по Петербургу. В этот же вечер долго никого не было, и Сеченов впервые за все время остался с Джулией наедине.

Они сидели на нешироком диване; Иван Михайлович рассказывал о России, а мадонна нежно улыбалась ему, так нежно и робко, что он почувствовал в груди щемящую боль. Он тихо склонился к ее пышным красивым волосам... И в эту минуту в комнату ворвалась шумная компания, человек пять-шесть, с хохочущим Павлом Боткиным во главе.

Синьора испуганно вскрикнула и вскочила с дивана. Сеченов от растерянности, не зная, что делать, тоже вскочил и спрятал ее за своей спиной. Остолбеневшая компания молча глядела на все это представление.

Джулия выбежала в другую дверь, а Иван Михайлович, сгорая от стыда, чувствуя себя повинным в том, что скомпрометировал «бедную беззащитную синьору», пробормотал что-то невнятное, поклонился и ушел в свою комнату.

Здесь он предался размышлениям. Причина, по которой Джулия так смутилась, не могла тогда прийти ему в голову: много позднее он узнал, что один из гостей играл некоторую роль в жизни красавицы. Ясно было только одно: он обязан спасти ее честь. Он обязан жениться на Джулии Бини.

Этот неожиданный вывод стоил в дальнейшем «жениху поневоле» многих бессонных ночей и волнений. Как ни был покорен он красотой синьоры, он и не помышлял о женитьбе. Причин тому было много: и неодобрительное отношение Иванова, и сознание того, что при его увлекающейся натуре не следует придавать столь большого значения влиянию женской красоты, и мысли, что он, в сущности, еще не оперившийся человек, что впереди у него начатая научная работа, от которой зависит все его будущее, и полное отсутствие материальной обеспеченности. Но, попав

в столь нелепое положение, уверенный, что оказался виновником скандала, жалея Джулию, он убедил себя: другого выхода нет.

Плодом этих размышлений явилось письмо, написанное в ту же ночь. Он предлагал Джулии руку и сердце и писал, что решение его твердо и все теперь зависит только от нее. На другое утро он незаметно сунул ей это письмо.

А вечером он со странным спокойствием выслушал ответ. «Да», — пролепетала она, и ответ этот был скорее удивленным, чем обрадованным.

Иван Михайлович взял со своей невесты слово молчать до поры до времени — имелось в виду до отъезда Павла Боткина. Но невеста не удержалась, и Боткин уехал вполне осведомленный.

Только после его отъезда Сеченов рассказал, наконец, Иванову о своей помолвке, чем привел художника в неопикуемый ужас. Александр Андреевич долго уговаривал хотя бы отложить свадьбу до окончания учебы за границей, на что Сеченов неопределенно ответил: там видно будет.

Так стал он женихом. Безрадостная это была пора! Не таким представлял он себе самочувствие влюбленного перед осуществлением его мечтаний. Нет, он не мечтал ни о чем. Он просто отмахивался от назойливых мыслей, чувствуя, что и невеста его не любит, и он вряд ли может считать свое отношение к ней любовью.

Надо отдать справедливость мадонне: она не разыгрывала роли счастливой суженой. Отношения их несколько не изменились, они не стали ближе друг другу; напротив, между ними возникло какое-то странное отчуждение, недоуменная неловкость.

Стоял уже конец октября, надо было ехать из Италии. Сеченов торопился попасть к началу зимнего семестра в Лейпциг, к профессору Функе. На вокзале он поцеловал невесту, и она бесстрастно вернула ему поцелуй. Горестный взгляд Иванова — последнее, что он увез в памяти из Рима.

В Берлине Сергей Петрович Боткин встретил его поздравлениями.

— Брат мой Павел объявил всем в Париже, что вы жених, — сообщил Боткин, — от души поздравляю, голубчик, думал даже, что увижу вас здесь вдвоем.

«Объявил, значит... Стало быть, Джулия все ему рассказала. Ах, мадонна, мадонна! Юлия, Джулия, Джульетта. Ну, какой, скажите на милость, из меня Ромео? Любовь до гроба... Я ли способен к ней?..»

Он клял свою увлекающуюся натуру и зарекался на будущее от любви. Он терзал себя упреками, уверенный, что жестоко наказан за свое легкомыслие и что никогда в жизни ни одна женщина больше не обратит на себя его внимание.

Как он не знал себя! Именно любовь до гроба была суждена ему. Он пронес эту любовь, горячую и ничем не запятнанную, до последних дней своей долгой жизни. Пронес через многие испытания, сквозь муки униженного самолюбия и годы одиночества, на которые обрекла его эта любовь. Он любил так, как даже в те времена романтического отношения к женщине немногие умели любить.

Та, которую он полюбил... Это была не Джулия.

Но пока отношения, так внезапно и нелепо возникшие, как рана жгли его.

«Вот уже три дня как я в Лейпциге, многоуважаемый Александр Андреевич, — писал он Иванову. — Подумал было заняться практической медициной, чтобы было впоследствии чем кормить себя и Джулию, да так тошно стало, что махнул рукой и остался верен физиологии. Видите ли вы часто Джулию? Что она подделывает? Ради бога отвечайте на все эти вопросы... Все это время столько было дела, что некогда было скучать. Надеюсь, что и впредь этого не случится, потому что из боязни остаться наедине с самим собой я завалил себя работой. Ради самого бога пишите мне об Джулии, хоть какие-нибудь пустяки, но только сущую правду...»¹

¹ Письма Сеченова к Иванову публикуются впервые. Подлинники хранятся в Пушкинском доме Академии наук СССР, в Ленинграде.



С. Боткин, И. Сеченов, В. Грубер (слева направо).

Петербургский университет (бывшее здание Двенадцати коллегий).





Герман Гельмгольц.

Эту правду он уже подозревал, хотя и старался о ней не думать. Была и другая огорчительная правда: в Лейпциге, на почте, его ждало письмо из Московского университета. Профессор Матюшенков писал, что хотя о нем хлопотал Иноземцев, представив его кандидатуру на кафедру физиологии, но хлопоты эти не увенчались успехом. К письму была приложена копия выписки из журнала медицинского факультета, обсуждавшего его прошение.

«12 октября 1857 г.

Письмо лекаря Ивана Сеченова, присланное из Венеции 12 сентября с. г., при котором прилагает программу своих занятий и просит обратить на него внимание при замещении вакантной кафедры физиологии.

Медицинский факультет, рассмотрев внимательно программу, нашел ее вполне удовлетворительной и совершенно в том уверен, что по истечении двухлетия, т. е. назначенного г. Сеченовым срока, будут труды его увенчаны полным успехом. Факультет безусловно представил бы г. Сеченова своему начальству, как достойного кандидата на вакантную кафедру, если (бы) прежде не был им представлен доктор Эйнбродт.

Приказали: покорнейше просить университетский совет довести до сведения высшего начальства, что г. Сеченов усердно готовится в чужих краях, на свой счет, к занятию кафедры, что он по истечении двух лет кончит изучение всех предметов, которые только могут быть означены в полной программе или факультетской инструкции, и что факультет вменяет себе в обязанность указать на г. Сеченова, как на ученого, достойного со временем занять кафедру физиологии и сравнительной анатомии в одном из отечественных университетов».

Через некоторое время Сеченов узнал о неблагоприятной роли профессора Анке в его деле: когда Глебов уехал из Москвы, Иноземцев предложил на его место Сеченова, но Анке заявил, что ему доподлинно известно — Сеченов не занимается физиологией, он перешел на изучение психологии.

Сеченов решил не унывать: будут хлопотать о занятии кафедры в другом университете — отлично!

В Лейпциг он приехал, чтобы работать у Функе — товарища Гоппе-Зейлера, учебник которого по физиологии был недавно выпущен в свет. Профессор Функе, занимающийся физиологической химией, принял русского медика весьма любезно и обещал всевозможные пособия для его работы.

В первый же день по приезде в этот, по словам Сеченова, «унылый город», он нашел себе квартиру, маленькую и очень холодную. После Италии он сильно зяб в Лейпциге, спал, прикрывшись пальто, чувствовал себя неуютно и одиноко. Немецкая кухня не нравилась ему, и ел он без всякого аппетита, просто потому, что есть было необходимо. Поездка в Италию сильно истощила его карман, и жить теперь приходилось по-спартански. По утрам квартирная хозяйка, добрая и жалостливая немка, подавала ему кофе, изрядно разбавленный цикорием, и Сеченов вскоре попросил ее заменить кофе чаем. С удивлением он обнаружил в чае странный запах. Поинтересовался у хозяйки, отчего бы это. Та с доброй улыбкой ответила, что для аромата подмешивает к чаю гвоздику.

Больше Сеченов не пытался влиять на хозяйские вкусы — смирился. Тем более, что наступило время, когда он должен был составить для себя строгий режим питания, однообразного и быстро опротивевшего.

Сеченов изучал влияние алкоголя на азотный обмен в теле.

«Лейпциг, 1 декабря (1857 г.).

...Жизнь моя в настоящее время не представляет ничего интересного, — писал он Иванову, — и притом монотонна до крайности — каждый день повторение предыдущего. Даже есть и пить должен каждый день одно и то же. К этому принуждает меня моя работа, при которой я должен производить опыты на самом себе. Я столько же необщителен, как и немцы. Потому легко угадаете, что я постоянно одиночеству. Несмотря на все это, не скучаю, потому

что работы тьма. Благодарю вас за сведения об Джулии — они мне чрезвычайно полезны. Вообще вы сделаете мне великое благо, если будете писать про нее правду (в этом я не сомневаюсь). Чувствую в настоящее время, что мои сведения о ней очень неполны. Она меня спрашивает в письме, не писали ли вы мне чего-нибудь про нее... Во всяком случае, будьте глубоко уверены, что ваши слова не только не передаются ей, но даже не повлияют нисколько на тон моих писем к ней. Письмо, которое я написал по получении вашего, гораздо любезней, например, первых двух...»

Иванов, как и просил Сеченов, писал чистую правду. Джулия выглядела в его сообщениях не очень привлекательно. Она вела по-прежнему легкомысленную жизнь, по-прежнему было у нее множество поклонников; некоторых из них она дарила своей благосклонностью. Будто ничего и не случилось, будто и не выпало ей счастье стать невестой Сеченова. Да оно и не было для нее счастьем: Джулия не любила этого до смешного робкого и стеснительного русского; куда больше нравился ей прямолинейный и циничный Павел Боткин, которому она передавала горячие приветствия через русских, уезжающих из Италии на родину.

Изнывая от холода, Сеченов сменил квартиру на более теплую, но такую же неудобную. Только работая у Функе, он забывал все свои невзгоды. Лаборатория, состоявшая из двух комнат, была довольно бедно обставлена, но увлечение работой и внимание профессора скрашивали все неудобства.

Две недели Сеченов сидел на строгой «алкогольной диете». Утром и вечером ел одинаковые порции чая с сухарями, в обед одну и ту же порцию бифштекса с картошкой и белым хлебом. И — алкоголь. Он пил его с отвращением, и отвращение это осталось навсегда. Во имя науки он все терпел и несказанно радовался, когда измерение суточного выделения мочевины давало те результаты, которых он ждал.

Затем он принялся за вторую часть работы: изу-

чение, влияния алкоголя на мышцы и нервы. Впервые он проделал множество опытов на лягушках, наблюдая за упругостью мышц, раздражительностью их, за возбуждением двигательных нервов; он изучал электрические свойства мышц и нервов, перевязывал лягушкам сосуды и т. п.

На рождество, истосковавшись по товарищам, Сеченов прервал работу и уехал в Берлин встречать Новый год. Пробыл он там девять дней вместо назначенных трех. В Берлине в эти дни было много русских; приехал туда бывший учитель Сергея Боткина по пансиону, тогда уже довольно известный экономист И. К. Бабст; М. М. Стасюлевич — будущий приятель Сеченова, редактор «Вестника Европы». С ними был петербургский филолог, недавно окончивший университет, А. Н. Пыпин. Встретились они в квартире Боткина, отлично провели один-два вечера и снова расстались. Молодой Пыпин ничем не привлек тогда внимания Ивана Михайловича: мало ли было за границей русских — недавних студентов, так и остававшихся потом на всю жизнь ничем не приметными чиновниками.

В Лейпциге Сеченова ждали известия от Джулии и от Иванова. Невеста злилась, что долго не получала писем, корила его за забывчивость и невнимание к ней. Иванов спрашивал, как движается его работа, просил найти кое-какие книги и ответить на некоторые вопросы касательно древней истории. И скупое сообщал о Джулии.

«Лейпциг, 18 января (1858).

...В настоящее время я очень сильно занят, — писал Сеченов в своем ответе Иванову. — Известный вам профессор Матюшенков написал мне недавно, что обо мне хлопочут в Москве, чтобы я получил кафедру, но что для этого мне необходимо защитить диссертацию. За ней-то, т. е. за диссертацией, и сижу я в настоящее время. В случае какого-нибудь казуса с Юлией, напишите мне. Мне чрезвычайно приятно знакомиться с ней теперь, когда я совершенно холоден и не нахожусь под влиянием ее красоты...»

Вот как, значит совершенно холоден? Слова на-

писались сами собой, и Сеченов удивился, до чего они правдивы. Во всей этой истории только красота Джулии, только одна она сыграла роковую роль. Нет ее, и он спокоен. Какая же это любовь? И можно ли, впервые задал он себе трезвый вопрос, коли так, связывать навсегда ее жизнь со своей? Принесет ли это ей счастье, о себе он уже не думает.

Еще два-три письма Иванова, и решение созревает. На помощь приходит старший брат.

Павел Боткин раззвонил по всей России о жениховстве Ивана Михайловича, и сведения эти дошли до Алексея Сеченова, служившего тогда офицером в Павловске. Когда Иван Михайлович, честно желая выполнить свое обещание жениться на Джулии, написал братьям в Россию просьбу выслать необходимые для оформления брака бумаги, Алексей Михайлович ответил ему отказом. «Приезжай сам, — писал он, — раз уж ты решился на подобное сумасбродство. Я ему потакать не буду и никаких бумаг тебе не вышлю».

И вот из Лейпцига в Рим, к Иванову, 15 февраля 1858 года летит письмо, в котором с плохо скрываемым облегчением Иван Михайлович пишет: денег на поездку в Симбирск за бумагами, на возвращение и Германию, поездку в Рим и снова в Россию да еще на самую женитьбу нет никаких, «остается, следовательно, объявить Джулии, что по причине этих обстоятельств я не могу больше связывать ее данным словом и что она свободна. Вы не поверите, как мне жаль ее, бедную, но делать нечего. Меня утешает только одно: этим она теряет только обеспеченное положение замужней женщины, причем горя тут нет, потому что любви в ней ко мне никогда не было. На днях я напишу ей об этом событии и это будет моим последним письмом, потому что дальнейшая переписка теряет всякий смысл...»

И еще он пишет, что если она будет плакать, то «даю слово, что это была первая и последняя женщина, пострадавшая из-за моей увлекаемости!»

Уф, какая гора свалилась с плеч! Честно говоря, он даже не испытывал угрызений совести: такая кра-

савица, как его бывшая мадонна, быстро утешится, если даже и будет немного огорчена.

Что касается его самого, то сейчас ему вообще не до амуров.

Вернувшись в лабораторию Функе, Сеченов возобновил свою работу над мышцами и нервами лягушки. Страшно хотелось поскорей закончить ее и снова, хоть ненадолго, поехать в Берлин, к милому Гоппе-Зейлеру, у которого была свободная вакансия. Сеченов не ограничивался изучением влияния на мышцы и нервы алкогольного яда — он решил испытать и другие.

В то время много шуму наделали опыты находившегося на вершине славы Клода Бернара над влиянием различных ядов на мышечную и нервную систему. Знакомясь с этими работами, Сеченов обратил внимание на опыты с серноцианистым калием. Они показались интересными, и он решил повторить их сам.

Клод Бернар работал в Париже, куда еще не проникли из Германии различные способы электрического раздражения нервов и мышц. Поэтому французскому ученому приходилось довольствоваться старым способом возбуждать нервы циркулем с медным и цинковым концами. Сеченов же имел возможность пользоваться более совершенными методами исследований. Молодому ученому интересно было сравнить действие алкоголя на сердечную мышцу с действием какого-либо другого вещества, оказывающего влияние на движение сердца. Роданистый (или серноцианистый) калий Клод Бернар называл как раз как одно из таких веществ. По его данным, этот яд уничтожает мышечную возбудимость и влечет за собой остановку сердца. Знаменитый парижский физиолог, размышляя о способе действия роданистого калия, высказал очень важную физиологическую мысль: о взаимной независимости способности движения, чувствительности и мышечной возбудимости.

Каково же было удивление Сеченова, когда сделанные им опыты дали совершенно противоположные результаты! Он повторял их неоднократно — не

так-то просто опровергать великого Клода Бернара, — и всякий раз получалось одно и то же, и то, что получалось, никак не совпадало с выводами Бернара.

В соответствии с опытами французского физиолога Сеченов ввел под кожу лягушке небольшое количество роданистого калия и стал наблюдать. Через полчаса лягушка действительно перестала реагировать на щипки. Но когда экспериментатор вздумал разогнуть одну из ее задних лапок, она снова подтянула ее поближе к животу и опять замерла так. Сеченов с усилием опять разогнул лапку и отпустил. Лягушка повторила прежнее движение. Удивительное дело — кожа нечувствительна, а движения остаются! У Клода Бернара получалось как раз наоборот: он утверждал, что кожная чувствительность должна сохраняться, когда мышцы уже парализованы. Лягушка Сеченова не собиралась следовать научным выводам крупного ученого, она поступала так, как приказывала ей природа и обстоятельства: она утрачивала кожную чувствительность, сохраняя за собой право производить мышечные движения.

Еще полчаса лягушка продолжала, все слабее и слабее, двигать лапками, тогда как кожа ее была уже нечувствительна ни к одному раздражителю.

Потом лягушка замерла, наступила смерть. Но и после этого, когда Сеченов раздражал икроножную мышцу прерывистым током аппарата Дюбуа-Раймона, мышца отвечала на это раздражение вздрагиванием.

Тогда Сеченов решил проверить все выводы, сделанные Бернаром. Оказалось, что они ошибочны почти во всех своих пунктах.

Несколько растерянный Сеченов рассказал об этом профессору Функе, который внимательно и с интересом следил за его работой. Вдвоем они снова проверили результаты и снова убедились в правоте Сеченова. После этого Иван Михайлович решил опубликовать итоги исследований. Описывая свои опыты, он неизбежно должен был указать и на ошибки Клода Бернара, что он и сделал, уговорив себя, что тут нет нескромности с его стороны, так как Клод

Бернар не имел возможности экспериментировать с помощью более совершенных методов исследования, какие были в распоряжении Сеченова.

Статья эта под названием «Некоторые данные об отравлении роданистым калием» была первой, почти нечаянной, самостоятельной научной статьей Сеченова, опубликованной в том же 1858 году в «Пфлюгеровском архиве».

Сеченов был от природы не самонадеян. Он очень скромно оценивал свою работу, чувствуя даже некоторую неловкость оттого, что вынужден был опровергать крупного ученого-физиолога. Но далеко не всякий молодой медик мог выполнить подобную работу со скрупулезной точностью и интересными обобщениями, как это сделал Сеченов. Этот труд послужил первым толчком к завоеванию им авторитета у европейских светил.

8

Карл Людвиг славился как лучший вивисектор и один из крупнейших специалистов по кровообращению. Необычайно талантливый и эрудированный, он обладал еще одним важнейшим свойством: он был педагогом по убеждению. Целое поколение физиологов из всех стран Европы училось у Людвига. К ученикам он относился, как к своей семье, и каждую работу любого из многочисленных учеников считал своим личным делом. Он умудрялся не просто помогать им в научных исследованиях, но половину фактически делал своими руками и был неизменно счастлив, когда работа появлялась в печати. При этом лишь в редчайших случаях, да и то по настоянию самих учеников, ставил свое имя в качестве соавтора.

Всегда приветливый, бодрый, веселый и в отдыхе и в труде, он заражал своим настроением сотрудников, и работа с ним становилась для них праздником.

Сеченов явился в Вену «от себя», без всяких рекомендаций, которых Карл Людвиг и не требовал. Человек сам должен был зарекомендовать себя, и

если эта рекомендация удовлетворяла учителя, доступ в его лабораторию был открыт. А ведь никакого гонорара с учеников Людвиг не получал. Он был профессором маленькой военно-медицинской школы — закрытого заведения. Лаборатория по уставу не предназначалась для практических занятий, и Людвиг брал учеников на свой страх и риск, совершенно бескорыстно.

В первую же беседу Людвиг покорила требовательного к людям Сеченова. Весело поздоровавшись с ним, как со старым знакомым, профессор расспросил его о жизни, о том, где и как думает он устроиться в Вене, и незаметно перевел разговор на вопросы науки. Так незаметно, что Сеченов и не понял, что был ему произведен, в сущности, самый строгий экзамен.

— Любопытно знать, почему вы избрали собственно токсикологическую тему, господин Сеченов? — спросил Людвиг.

— А вот почему, герр профессор. Действие алкоголя на животный организм, как известно, очень обширно. Следовательно, нужно исследовать почти все функции организма, а стало быть, познакомиться со многими физиологическими методами исследования. Согласитесь, что для физиолога это само по себе заманчиво и ценно. По-моему, в этом смысле токсикология — ветвь экспериментальной физиологии, и всякий токсикологический труд хоть сколько-нибудь приносит последней. Ну, а кроме того, алкоголь в жизни, особенно русской, играет, к сожалению, почти ту же роль, что и питательные вещества.

Людвиг слушал с доброй улыбкой, не перебивая, и Сеченов видел, как постепенно возрастает его интерес к теме. Поэтому он охотно продолжал:

— Жизненные явления находятся в зависимости от самых различных условий. Исследователь должен экспериментально создавать возможные влияния, и это позволит ему разобраться во всех сложнейших жизненных проявлениях.

— Очень интересно, господин Сеченов. У меня в лаборатории вы, собственно, что собираетесь делать?

— Изучать влияние алкоголя на кровообращение и поглощение кровью кислорода.

Людвиг остался вполне удовлетворенным произведенным «экзаменом», и Сеченова допустили в лабораторию. В помощь ему был приставлен лабораторный служащий, известный как правая рука профессора.

Служитель этот, по фамилии Зальфенмозер, оказался настоящей находкой для нашего экспериментатора. Бескорыстный поклонник науки, он искренне привязался к Сеченову. И однажды, когда Сеченов вдыхал пары алкоголя, чтобы проверить всасывание их легкими, Зальфенмозер предложил свои услуги.

— Вдыхая алкоголь, вы не можете не опьянеть, герр Сеченов, не лучше ли вам вести наблюдения на другом человеке. На мне, например.

Сеченов от души поблагодарил старика и охотно воспользовался его услугами.

Профессор издали присматривался к «москвиту» и, пока Сеченов занимался изучением влияния алкоголя на кровообращение, не вмешивался в его опыты, зная от Зальфенмозера, что все идет более или менее нормально. Интерес к русскому ученику профессор проявлял по-своему: когда он работал над собственными опытами с иннервацией¹ слюнной железы, то приглашал Сеченова ассистировать. Это были поучительные и занимательные опыты, во время которых Сеченов впервые наблюдал графическую регистрацию выделения слюны (запись велась специальным перышком на поверхности вращающегося барабана).

Людвиг, молодой еще человек — ему было всего лишь сорок лет, любил поболтать во время работы, если эксперимент не требовал абсолютного напряжения внимания. Он рассказывал веселые анекдоты из университетской жизни, говорил о музыке, расспрашивал о России. Он считал музыкального критика Улыбышева знатоком Бетховена, любил Лермонтова,

¹ Иннервация — связь органов и тканей в животном организме с центральной нервной системой, осуществляемая посредством нервных волокон.

зная его по немецким переводам, и однажды попросил Сеченова прочесть что-нибудь из стихов этого поэта, чтобы послушать, как звучат они по-русски. Сеченов прочел «Дары Терека». Читал он отлично, голосом, в котором звенел металл, просто и не выспренне.

Кроме Сеченова, у Людвиг не было русских учеников, но Иван Михайлович совсем не чувствовал себя тут одиноким. Он подружился с одним товарищем по лаборатории, сохранив затем эту дружбу на многие годы. Это был Роллет, ставший затем профессором Венского университета. Он занимался в то время растворением кровяных шариков электрическими разрядами, пропускаемыми через кровь, и приходил в лабораторию Людвиг показывать полученные результаты и советоваться по дальнейшей работе. Там и познакомился с ним Сеченов.

Они стали встречаться ежедневно, вместе обедали в дешевом ресторане и вскоре перешли на такую короткую ногу, что Роллет начал поправлять ошибки в немецкой речи своего русского товарища, а иногда исправлял и его научные ошибки. Сеченов искренне привязался к этому некрасивому, но обаятельному человеку, не терпевшему никакой фальши, внешне спокойному, пожалуй даже флегматичному, с необыкновенно горячим сердцем и доброй, располагающей улыбкой.

Работы с кровообращением подходили к концу, и надо было приниматься за наиболее трудную и важную часть: изменения, которые наступают под влиянием алкоголя в способности крови поглощать кислород. Для этого необходимо было извлекать газы из крови пьяного и нормального животного, чтобы сравнивать те и другие.

В распоряжении Сеченова имелось описание способов выкачивания газов из крови по Магнусу и Мейеру, и по этим способам он начал «качать».

Думал ли он, что будет «качать» потом всю свою жизнь?! Работы над газами крови так увлекли Сеченова, что послужили толчком к началу многолетних систематических наблюдений, которые кончились

только за несколько лет до его смерти и привели к классическим выводам о распределении газов во всех соляных растворах. Эти выводы легли в основу современных нам представлений о транспорте газов кровью в связи с процессами дыхания.

Но, к огорчению молодого ученого, насосы Магнуса и Мейера не давали удовлетворительных результатов. Он как раз возился с этими насосами, думая и гадая, в чем же тут может быть дело, когда в Вену приехали его русские друзья: Сергей Боткин из Берлина и Беккерс из Парижа.

На этот раз уже Сеченов поздравлял Боткина, и с куда большими основаниями: Боткин вернулся из Москвы, куда ездил на летние каникулы, женихом, без памяти влюбленным в свою избранницу. Первое время он только о ней и говорил — невеста должна была прибыть весной в Вену, и тут они намеревались сыграть свадьбу.

Приехали в Вену и еще несколько русских медиков. Они попросили Сеченова уговорить профессора Людвиг прочесть им курс лекций по кровообращению и иннервации сосудов. Сеченов охотно взял на себя это поручение, тем более что и сам мечтал послушать лекции своего учителя. К радости его, Людвиг согласился.

Людвиг любил самую процедуру чтения лекций, обставлял их великолепными опытами, читал с увлечением, вместе с тем просто и доступно. Словом, он превзошел все ожидания своих русских слушателей, которые были в восторге и от него самого и от его лекций.

Как-то в разговоре Беккерс и Боткин поинтересовались, что предпринял Сеченов, чтобы обеспечить себе работу по возвращению в Россию.

— В октябре я написал письмо декану медицинского факультета Казанского университета. Предложил себя в число претендентов на их кафедру физиологии — она сейчас вакантна. Но у меня нет там никакой заручки, так что думаю, что ничем это не кончится. Уж если Иноземцев в Москве ничего не смог сделать, то о Казани и вовсе нечего думать.

— А я, собственно, совсем ничего не предпринимал, — признался Боткин, — довольно трудно сейчас об этом думать. Ну куда податься? Просто не знаю.

— Вам с Беккерсом полбеды — вы можете на первое время и частной практикой прожить. А мне что делать: деньги-то вот-вот кончатся.

Боткин даже рассердился.

— Частной практикой! Как будто медицина сейчас в таком положении, что честный человек может, не беря греха на душу, лечить людей и получать с них за это деньги. Нет, голубчик мой, должен сказать, что вы-то правильно поступили, занявшись физиологией. Сколько еще нужно изучить всего, чтобы иметь право называть себя лекарями! Да я и не собираюсь ограничиваться практикой. Терапия — с одной стороны, а научные исследования, чтобы можно было эту терапию с пользой применять, — с другой. Так что мне, как и вам, нужна научная база — кафедра, лаборатория, больница, что угодно, только чтобы можно было поставить, наконец, нашу науку на твердые ноги.

— Глебов теперь в Петербурге, — вмешался Беккерс, — говорят, новый президент Медико-хирургической академии Дубовицкий пригласил его к себе вице-президентом. Может, он и вспомнит о нас.

— Между прочим, Людвиг зовет меня к себе работать, — сказал Боткин, — если ничего лучшего не подвернется, придется воспользоваться этим предложением и остаться за границей.

Между тем приближалось время приезда его невесты. Сгоравший от нетерпения Боткин задумал украсить будущий ее будуар, для чего купил зеркало и уморительно обвешал его полотенцами. Сеченов и Беккерс хохотали над этим «украшением», воображая, какое впечатление оно может произвести на молодую изящную женщину, какой описывал свою невесту Боткин.

Но потом все изменилось. Сначала невеста написала, что задерживается с выездом. Потом сам Боткин внезапно заболел. Настроение у него резко изменилось, он был подавлен и угрюм, разговаривал мало

и вообще производил на товарищей удручающее впечатление.

«...И в это-то злополучное время понесла нас легкая затеять спор о сути жизненных явлений, — вспоминал потом Сеченов. — Он был страстный поклонник Вирхова с его клеточной патологией; а я, наслушавшись завзятых биологов-физиков, какими были, я думаю, чуть ли не все физиологи того времени, считал началом всех начал молекулы. При других условиях спор мог бы кончиться благотворно, поправками и уступками с той и другой стороны, но в данном случае их не последовало, и он кончился со стороны Боткина справедливой для того времени поговоркой: «Кто мешает конец и начало, у того в голове мочало», которая меня настолько обидела, что в Вене мы уже не виделись более...»

Сеченов был погружен в работу. Неудачи с качанием газов из крови по существовавшим тогда способам измучили его: получалось все время не то, и он ломал голову, что и как нужно тут изменить.

По одному способу Сеченов кипятил кровь при комнатной температуре, и не было никакой уверенности, что она вся освобождалась от газов. По другому — нужно было непрерывно действовать воздушным насосом и одновременно нагревать кровь до сорока градусов по Цельсию. Чтобы к газам крови не примешивался воздух, нужно было манипулировать с ней в пустом пространстве — в торичеллиевой пустоте. И пустоту эту все время надо было оберегать от возможного проникновения воздуха.

Думал-думал Сеченов и додумался. В руках у него был аппарат Мейера, и он решил переконструировать его в кровяной насос, в котором кровь непрерывно будет греться и все время будет возобновляться торичеллиева пустота.

Создав прибор своей конструкции — абсорбциометр, Сеченов сразу же добился успеха.

Людвиг, наблюдавший за работами своего ученика, поражался его упорству. И пришел в восторг, когда увидел новый прибор, придуманный Сеченовым.

Он был настолько пленен простотой и точностью абсорбциометра, что тотчас же заказал такой же для своей лаборатории.

С этих пор работа пошла на лад, и Сеченов вскоре мог сесть за писание диссертации. Первый созданный им абсорбциометр был только началом будущих многочисленных моделей, все время совершенствуемых. Сеченов первый из ученых посвятил свою деятельность этому малоизученному тогда вопросу о газах крови и в лаборатории Людвига поставил его на строго научную почву.

Сидя в своей небольшой комнатке, Сеченов писал диссертацию:

«...Труд заключает в себе факты, относящиеся только до опьянения, т. е. скоротечного отравления алкоголем. Для точного исследования явлений хронической отравы, которое могло бы принести науке действительную пользу, время еще не настало. Содержание труда обуславливалось, сверх того, следующим: при определении действия всякого яда должно быть обращено внимание, по возможности, на все отправления организма, или по крайней мере на все те, где действие его очевидно... Действие алкоголя в форме вина на человека известно с глубокой древности: Однако от Хама, наблюдавшего впервые опьянение, до нашего столетия было сделано мало для физиологии этого состояния».

Он подробно описывал те немногие опыты и выводы из них, которые делали до него некоторые ученые, а затем приступил к описанию собственных.

«...Кровь пьяного животного представляет для невооруженного глаза... только одно изменение: цвет артерийной крови темнее обыкновенного... Потемнение цвета не зависит, по-видимому, от свертывания белка алкоголем... не зависит также от выделения кислорода... Обстоятельства эти, по-видимому, указывают на химическое соединение алкоголя с кровью».

Алкоголь оказывает пагубное влияние на деятельность сердца. Влияет он, стало быть, и на кровообращение и на состояние сосудов. Изменения в нервной

деятельности пьяного зависят от непосредственного соприкосновения алкоголя с нервными массами.

Сеченов не претендует на исчерпывающие выводы в своей диссертации. Напротив, даже самым названием он указывает на то, что это только материалы для будущих исследователей. Между тем это была первая работа, рассматривающая алкогольное отравление во всех его проявлениях. Сеченову удалось собственными экспериментами разрешить несколько спорных капитальных вопросов, устранить физиологические грехи других авторов, работавших над отдельными явлениями, вызываемыми алкоголем, открыть несколько новых фактов, очень важных для будущих трудов в разъяснении сущности опьянения.

В те времена к диссертации должны были быть приложены, кроме основного материала, несколько тез, не имеющих прямого отношения к теме. Они как бы указывали на то направление, которое выбрал автор для своих будущих работ.

Тезы, написанные Сеченовым, значительней самой диссертации. В них он выдвигает материалистические положения о материальном единстве мира, общности процессов органической и неорганической природы, возможности объективными методами естественных наук раскрыть тайну сознания.

Это была программа на будущее не только для самого Сеченова — некоторые из тез легли в основу исканий многих физиологов.

Сеченов не был еще тогда окончательно сформировавшимся ученым-материалистом. Он только ступил на этот путь, но с первых же шагов проявил свою гениальность. Тезы не родились внезапно и не были еще плодом эксперимента. Откуда же возникли они?

Годы учения и становления Сеченова совпали с расцветом естественных наук и русской материалистической философии. Труды Герцена и Белинского, говоривших о единстве органического и неорганического мира, о единстве физического и психического в человеке; замечательные открытия отечественных

химиков Зинина и Бутлерова; только что сделанное сообщение Дарвина в Линнеевском обществе и выход в свет его труда «Происхождение видов»; работы Эдуарда Вебера и других передовых физиологов Европы; деятельность учителей Сеченова — Иноземцева, Орловского, Руллье — зародили в Сеченове то материалистическое мировоззрение, которое в будущем сделало его одним из замечательнейших ученых мира.

И тезисы, вышедшие из-под пера молодого ученого, были первым залогом этого будущего.

«1. Если и существуют силы, свойственные исключительно растительному и животному организмам перед телами неорганическими, то силы эти действуют по столь же непреложным законам, как и неорганические силы.

2. Все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлексивные.

3. Самый общий характер нормальной деятельности головного мозга (поскольку она выражается движением) есть несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием — движением.

4. Рефлекторная деятельность головного мозга обширнее, чем спинного.

5. Нервов, задерживающих движения, нет.

6. Животная клеточка, будучи единицей в анатомическом отношении, не имеет этого смысла в физиологическом: здесь она равна окружающей среде — междуклеточному веществу.

7. На этом основании клеточная патология, в основе которой лежит физиологическая самостоятельность клеточки, или по крайней мере гегемония ее над окружающей средой, как принцип ложна. Учение это есть не более как крайняя ступень развития анатомического направления в патологии.

8. При настоящем состоянии естественных наук единственный возможный принцип патологии есть молекулярный».

Вся будущая физиология нервной системы, основоположником которой явился Сеченов, уже намечена в этих тезисах. Кое от чего Сеченов потом, и довольно скоро, откажется. Кое в чем пойдет значи-

тельно дальше этих пока еще робких шагов. Кое-что примет навсегда, как, например, отношение к клеточной теории Вирхова, которую он провозгласил ошибочной еще в своем споре с Боткиным.

Спор этот был единственным во всей многолетней жизни двух крупнейших русских ученых-медиков. Вскоре вдохновленный гениальным открытием Сеченова Боткин и сам отойдет от Вирхова и создаст свою, материалистическую теорию нервизма. В науке они не будут больше испытывать никаких разногласий, и их нежная дружба продлится многие годы.

Сеченов уехал из Вены, не дождавшись свадьбы Боткина, на которой должен был быть шафером. Глубоко обиженный, он затаил свою боль сг окружающих. Но жить в одном городе с Сергеем Петровичем и не общаться с ним было горько. Профессор Людвиг замечал в последнее время дурное настроение своего ученика, успевшего стать любимым. И Сеченов признался в причинах этого настроения.

— Боткин тоже жаловался мне на вашу обидчивость, — заметил Людвиг, — мне очень жаль, что между такими людьми, как вы оба, нарушился мир!

— Не посудите сами, герр Людвиг, как же можно чисто научный спор переводить на личные оскорбления. Тем более, что я ведь прав, — горячился Сеченов.

Людвиг только мудро улыбнулся:

— Каждый из вас считает себя обиженным. Это хороший признак и средство к быстрому прощению. Лично мне очень бы хотелось добиться между вами мира и согласия. Вы знаете мое мнение и о вас и о нем: оба вы сделаете еще столько хорошего и полезного для науки!

Но Сеченов, считая себя правым, не пошел первым мириться. Боткин же, поглощенный приготовлениями к свадьбе и мыслями о предстоящем приезде любимой девушки, на время забыл о ссоре с другом.

Сеченов уехал из Вены, увозя с собой надежду на то, что Боткин одумается; горячую привязанность к профессору Людвигу, отвечавшему ему тем же; и

почти готовую диссертацию «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения».

Путь его лежал в небольшой, но знаменитый немецкий городок Гейдельберг.

9

Глебов действительно вспомнил о них. Воспользовавшись намерением президента Дубовицкого «освежить» состав Медико-хирургической академии молодыми русскими учеными, Иван Тимофеевич написал письмо своим бывшим слушателям за границу.

Письмо он адресовал в Берлин Боткину, полагая, что там же находятся Сеченов и Беккерс. Но Сеченов уже уехал в Гейдельберг, и Боткин попросил Карла Людвига известить Ивана Михайловича о письме из Петербурга.

«4 мая 1859 г. Любезный Сеченов, Боткин уехал женатый и будет иметь, конечно, приятное и счастливое свадебное путешествие. В одно из наших частых свиданий он сообщил мне, что получил письмо от господина Глебова, некоего высокопоставленного чиновника в Петербурге, в котором говорится, чтобы вы... написали ему, как и где занимались физиологией; а он, имея в руках такой документ, мог бы хлопотать за вас. Исполните же это. Я просил Боткина, чтобы он написал вам об этом сам, и надеюсь, что он сделал это, так как его жена очень его уговаривала...

К. Людвиг».

Боткин писать не стал. В один солнечный весенний день он внезапно появился в парке возле знаменитого Гейдельбергского замка. Сеченов и Юнге гуляли, обсуждая свои лабораторные дела, как вдруг из-за поворота аллеи появился веселый, сияющий Боткин со своей красавицей женой.

Настасья Александровна сразу покорила и Сеченова и Юнге своим обаянием и милым обхождением. Казалось, она не менее счастлива, чем Боткин, отто-

го, что глупая ссора между друзьями, наконец, ликвидирована.

Боткин обнял Ивана Михайловича, прошептал ему на ухо несколько ласковых слов, и Сеченов, прослежившись, крепко расцеловал его.

— Видите, какой сюрприз приготовила нам судьба, — радовался Боткин, — снова мы будем все вместе, в Медико-хирургической академии. Потому что если уж Глебов за что-нибудь берется, можете считать, что дело сделано.

— Я уже написал ему о своих занятиях и о том, что диссертация моя почти готова, — сказал Сеченов. — Стало быть, защищать буду в академии.

Погоуляв по парку, они отправились в город, где Сеченова ждал еще один русский, незадолго до этого приехавший в Гейдельберг. Иван Михайлович решил вести к нему всю компанию, благо день был праздничный.

Жил этот русский в отдельной квартире, одну из комнат превратил в лабораторию, провел в нее газ и занимался своими исследованиями без чьей бы то ни было помощи.

Земляков он встретил приветливо, а жена Боткина, видно, произвела отличное впечатление — при виде молодой женщины умные глаза его тепло засветились под густыми бровями.

— Менделеев, — представился он, — какое счастливое событие привело вас в наши пенаты?

Настасья Александровна рассмеялась, лукаво поглядела на мужа и Сеченова и предоставила им самим объяснять.

Но Сеченов перевел разговор на другое. Он успел уже сдружиться с Дмитрием Ивановичем, но посвящать его в свой, теперь казавшийся ему детским, нелепый спор с Боткиным почему-то не хотелось. Хотя они и были ровесниками, хотя Менделеев и был чрезвычайно прост в обращении, сознание, что он уже законченный ученый, доцент Петербургского университета, поначалу придавало их отношениям некоторое неравенство.

Менделеев занимался изучением капиллярных яв-

лений, не посещал ничьих лабораторий и строго выполнял намеченный им же самим план научных исследований. Вечера он часто проводил в известном пансионе Гофмана, где встречались все русские ученые, тяготевшие к гостеприимной и тоже русской хозяйке, Софье Петровне. В этом же пансионе жила молодая дочь орловского помещика Софья Карловна, пленившая Менделеева своими яркими глазами и куда менее ярким голосом. Она мнила себя большой певицей, собиралась учиться у Виардо, а пока частенько по вечерам пела русскую «Лихорадушку». Пела довольно приятно, и тосковавшие по родине молодые люди с умилением слушали ее.

Сегодня решили к Гофманам не ходить, а провести вечер своей компанией дома у Менделеева, для чего послали хозяйского сына за близким приятелем Дмитрием Ивановичем, ботаником Андреем Николаевичем Бекетовым.

Боткин рассказывал, что он намерен проехать по Германии, побывать в Лондоне, а может быть, и где-нибудь на южных островах. А на зиму собирается осесть в Париже, слушать лекции знаменитого Клода Бернара.

— Ну, а я не ограничиваюсь одной знаменитостью, — заметил Сеченов, — буду слушать сразу и Гельмгольца и Бунзена. И работать у обоих в лабораториях. У Бунзена, собственно, уже начал, органической химией там, правда, не занимаются, но папа Бунзен, узнав, что я интересуюсь анализом газов, предложил мне преинтересную тему: алкалиметрию и анализ смесей атмосферного воздуха с углекислотой.

— Почему «папа Бунзен»? — спросила Настасья Александровна.

— Все его тут так называют. Идеально добрый и простой, совсем еще не старый, этот глухой профессор — общий любимец гейдельбержцев. О нем можно рассказать кучу смешных вещей. Он имеет обыкновение нюхать на лекциях все вещества, о которых читает. Как бы вредны и скверны ни были эти запахи, профессор непременно должен насладиться ими. Однажды он нанюхался до обморока, но непобедимая

привычка и после этого осталась. Он страшно рассеян и частенько приходит в аудиторию с вывороченным ухом—тоже привычка, оставшаяся, должно быть, с детства. Он питает непреодолимую слабость к взрывчатым веществам, за что уже давно поплатился глазом. На лекциях при всяком удобном случае папа взрывает. Вооружившись длинной палкой с воткнутым в нее пером, он взрывает в открытых тиглях йод-азот и хлор-азот и затем с необыкновенно торжественным видом показывает на пробитом взрывом дне капли соединения. Словом, Бунзен—это не просто знаменитый физико-химик, это замечательно милый и кроткий человек, рассеянный и добрый, бескорыстный и совершенно безобидный.

— Ну, а с Гельмгольцем вы уже познакомились? — поинтересовался Боткин.

— О да! Но об этом так просто не расскажешь...

Сеченов вспомнил первое впечатление, которое произвел на него известный далеко за пределами Германии Герман Гельмгольц. В глазах всего мира это был признанный великий физиолог, и Сеченов странно робел в его присутствии. Шел он к нему с трепетом, заранее мысленно приготовил программу разговора, но, увидя его, сразу все позабыл и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

От спокойной фигуры Гельмгольца, от его больших задумчивых глаз веяло чем-то таинственным и недоступным, и Сеченов испытал такое чувство, какое охватило его, когда он впервые увидел в Дрездене «Сикстинскую мадонну».

— Не понимаю, почему мне пришло в голову это сравнение, — рассказывал Иван Михайлович, — но, честное слово, друзья, глаза у него похожи на глаза «Мадонны»...

Менделеев расхохотался.

— Ну и чувствительны вы, дорогой Сеченов, и фантазерствуете неукротимо!

— Так и не заговорили с ним из-за этого странного впечатления? — посмеивался Боткин.

— Нет, конечно, взял себя в руки и изложил длинный перечень своих тем: влияние на сердце раздра-

жения обоих блуждающих нервов, различная быстрота раздражения мышц лягушки, какой-нибудь вопрос физиологической оптики, какой он найдет уместным указать мне, и опыты с добыванием газов из молока.

— Ого, немало! А последнее-то на что вам нужно? — поинтересовался Боткин.

— По-видимому, газы окончательно взяли меня в плен, — рассмеялся Сеченов, — теперь уж я буду качать их из чего только возможно...

Но серьезно объяснять не стал — это была заветная мечта, не вполне еще оформленная, но настойчивая и неуклонная. Он отлично уже понимал, что для изучения состояния угольной кислоты в крови ему придется детально изучить вообще отношение газов и жидкостей, быть может, придется заняться более доступными, чем кровь, соляными растворами и ознакомиться с взаимодействием их с угольной кислотой.

— Гельмгольц разрешил три моих вопроса: обещал дать свой миограф для работы над мышцами лягушки, дать тему по физиологической оптике и позволил качать газы из молока. Так что я уже заказал механику кровяной насос, который Людвиг несколько усовершенствовал по моей же модели. Как только насос будет готов, попытаюсь найти какую-нибудь добрую молочницу, которая согласится отдать мне на растерзание свою корову. Жертва, право, не велика: корове никакого ущерба не будет, а малоко я, разумеется, стану оплачивать.

Боткины недолго пробыли в Гейдельберге, торопясь продолжить свадебное путешествие. А Сеченов, получив от Гельмгольца тему, засел за наблюдения над хрусталиком глаза.

Гельмгольц заходил в лабораторию ежедневно, обходил всех работающих, спрашивал, все ли благополучно, давал разъяснения, если таковые требовались. Сеченову он прежде всего посоветовал прочесть трактат одного английского ученого о флюоресценции глаза. Сам Гельмгольц некоторое время назад установил флюоресценцию сетчатки глаза в уль-

трафиолетовых лучах. Сеченову предстояло определить отношение к ним хрусталика — этой природной линзы глаза.

С бойни он получил свиные глаза, добряк Бунзен сделал для него специальное серебряное зеркало, гелиостат был в лаборатории. И Сеченов, наладив прохождение луча света от гелиостата через рабочую комнату и маленькое окошечко в стене аудитории, приступил к опытам. Ему сразу же повезло: на второй или третий раз он обнаружил сильное голубое свечение хрусталика в ультрафиолетовых лучах. Довольный Сеченов продемонстрировал это явление Гельмгольцу, и профессор вместо мертвого глаза животного поставил на пути света собственный глаз Сеченова. Хрусталик флюоресцировал голубым светом.

Вполне удовлетворенный результатами опыта, Гельмгольц не преминул написать об этом Людвигу: он писал, что молодой русский открыл ясно выраженную флюоресценцию хрусталика, что француз Реньо, работавший над этой же темой и достигший тех же результатов, однако, не смог использовать их для того, чтобы сделать «линзу» видимой в живом состоянии, и что вообще Сеченов все больше и больше нравится ему, Гельмгольцу.

Похвала, что и говорить, высокая — Людвиг не замедлил сообщить об этом любимому ученику. Однако Сеченову неуютно было в Гейдельберге — его тянуло снова в Вену, где в лице учителя он имел друга, где не надо было думать над каждым своим словом в разговоре с профессором из опасений сказать что-нибудь «не то» и где вообще ему было куда вольготней работать. Но Людвиг, скуцавший о Сеченове (его место в лаборатории занял Эйнбродт, готовивший диссертацию для занятия кафедры в Московском университете), поборол свои личные чувства и отсоветовал Сеченову бросить Гейдельберг.

И Сеченов внял уговорам учителя — остался. Он продолжал заниматься химией у Бунзена, написал статью «Флюоресценция прозрачных сред глаза у человека и некоторых млекопитающих животных», послал ее Людвигу в Вену и в Россию (где она была

напечатана в октябре 1859 года в «Военно-медицинском журнале») и закончил отделку своей диссертации. 2 июня он написал прошение:

«Имея намерение по возвращении в Россию защищать диссертацию в имп. С.-Петербургской медико-хирургической академии, имею честь представить в Конференцию оной приложенное при сем сочинение «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», написанное мною на степень доктора медицины, покорнейше прося Конференцию Академии подвергнуть его рассмотрению...»

Итак, основное, что он должен был сделать за границей, закончено: диссертация написана и отправлена в Петербург. Можно бы ехать на родину. Но пока будут знакомиться с диссертацией, пока найдут оппонентов и... пока в кармане есть еще немного денег, не лучше ли задержаться за границей, поработать над газами молока? Можно даже позволить себе в каникулы отправиться путешествовать по Швейцарии.

Бродить одному по Швейцарии — половина удовольствия. А Сеченов намеревался именно бродить пешком, как заправский турист. Товарищ легко нашелся: Дмитрий Иванович Менделеев, дружба с которым успела достаточно окрепнуть к тому времени, охотно согласился участвовать в этой заманчивой прогулке.

Вышли в начале августа. Сеченов стойко держался раз принятого решения — шел все время пешком. Менделеев же не выдержал и где можно ехал верхом на лошади. Они взбирались на высоты Риги, видели самые красивые озера — Баденское, Цюрихское, Цугерское, озеро Четырех Кантонов. Проехали по долинам рек Рейсса, Роны, Аары, Лючины. Видели много необыкновенного, начиная от знаменитого Чертова моста и до великолепного Ронского ледника. Кругом зелено-синие озера, ослепительные вершины, белые плывущие облака. Скалы черные, скалы фиштакково-зеленые, скалы серые... Чистые снежные «рога». А под ними непроглядная пропасть.

Посмотревшись всего вдоволь, на три дня остано-

вились в Интерлакене. Это было 24 августа — два года назад здесь жил Александр Иванов. А в прошлом году он внезапно и нелепо погиб в Петербурге от холеры, так и не успев даже узнать о грандиозном успехе своей гениальной картины — «Явление Христа народу».

Очень хотелось полюбоваться вершиной самой красивой в Швейцарии горы — Юнгфрау. Но все время стоял непроглядный туман, и, так и не увидев «Юной девы», одетой девственно чистыми снегами, путешественники покинули Интерлакен.

Это проведенное вместе время настолько сблизило Сеченова и Менделеева, что взаимная их симпатия перешла в крепкую мужскую дружбу и осталась такой навсегда.

Возвращение в Гейдельберг принесло много приятного: русская колония значительно пополнилась. Приехала Татьяна Петровна Пассек с сыновьями, семейство Толстых, товарищ Менделеева — химик Бородин.

Менделеев очень обрадовался приезду Бородина. И в первый же вечер сказал:

— Познакомлю вас с милейшим человеком, талантливый нашим ученым Сеченовым. Он теперь занимается физиологической химией и многое уже опубликовал. Кроме него, здесь еще Бекетов, Абашев, Савич. Все они делают честь России.

Когда Сеченов пришел, он увидел у Менделеева невысокого смуглого человека с коротко остриженными волосами и довольно длинными висящими усами. Как всегда с новыми людьми, Сеченов чувствовал себя не в своей тарелке, но скоро разговорился, долго и много расспрашивал о России. Когда он ушел, Менделеев сказал Бородину:

— Сеченов кажется не таким, какой он есть на самом деле. Внешне он сухой скептик, а в действительности человек с большим характером, оригинальный и теплый.

Репутация сухого человека с неуживчивым характером всю жизнь преследовала Сеченова. Только очень немногие проницательные люди, с которыми он

близко сходилась, знали его истинную природу. Только они понимали, что вся эта кажущаяся неуживчивость и скептицизм только защитная маска очень сложной души — стыдливо-замкнутой, чрезмерно впечатлительной, легко уязвимой.

Татьяна Петровна Пассек тотчас же собрала вокруг себя русскую компанию. Особенно полюбились ей Менделеев и Сеченов. Она ублажала их русскими пирогами, чаями, щами по-московски. Это была кухня Герцена, «тверская кухня», как называл он ее в «Былом и думах». Очень мягкая, «домашняя», вместе с тем образованная и прогрессивно настроенная, Татьяна Петровна обладала даром привлекать к себе хороших людей.

Приехала она в ноябре, в дни празднования столетнего юбилея Шиллера. Гейдельберг был полон музыки, цветов, портретов великого поэта. Толпы народа сновали по улицам. На открытых эстрадах читали стихи Шиллера, распевали песни на его слова. На центральной площади стоял бюст поэта, буквально засыпанный цветами. Студенты с факелами шествовали вечером по улицам. Пели торжественные хоры, говорили речи.

Вся компания во главе с Татьяной Петровной в этот вечер принимала участие в торжествах. И с грустью Пассек сказала:

— Вот бы у нас так ценили наших гениальных поэтов...

В доме у Пассек все чувствовали себя так, как будто попали в Москву или Петербург. На столах всегда лежали свежие номера русских газет, книжки герценовской «Полярной звезды» и листки «Колокола», книги русских писателей, в том числе те, которые только что вышли из печати. Русские разговоры и споры, русская музыка и песни — словом, все то, о чем так истосковались молодые ученые. У Пассек было всегдалюдно и весело. Захаживала к ней и писательница Марко Вовчок, жившая в Гейдельберге; считали своим долгом нанести ей визит все русские, которые на короткое время заезжали сюда.

Молодой филолог Пыпин, недавно посетивший в

Лондоне Герцена, не преминул заглянуть к Татьяне Петровне, рассказать ей о жизни ее знаменитого кузена. Он пробыл в Гейдельберге несколько недель, учился тут итальянскому языку, затем отправился путешествовать по Швейцарии и Италии, откуда заехал в Прагу и почти одновременно с Сеченовым вернулся в Петербург.

«Свежая» русская литература читалась в Гейдельберге взахлеб. Часто устраивали чтения вслух; в квартире Менделеева читали «Обрыв» Гончарова, который, как вспоминает Сеченов, «с голодухи казался нам верхом совершенства».

Теперь уже не только у Пассек, и у Менделеева собирался кружок приятелей, частенько заглядывали они и к Бородину, у которого в комнате стояло хозяйское пианино, а на нем восседала непременная кошка, — Бородин, любивший всех животных, особенно жаловал ласковых и пушистых кошек, и в Гейдельберге и потом в Петербурге их всегда было у него по несколько штук.

Обаятельный, красивый и остроумный Александр Порфирьевич Бородин успел уже защитить докторскую диссертацию и стать известным химиком. Защищал он ее, между прочим, на русском языке — впервые в истории Медико-хирургической академии.

Менделеев, страстный меломан, постоянно напевал про себя увертюру бетховенской «Леоноры». Его даже прозвали «Леонорой» за эту привычку. Каково же было удивление его и Сеченова, когда Бородин однажды вечером, ни слова не говоря, вдруг сел за пианино, согнав с него предварительно кошку, и сыграл по памяти всю увертюру. Никто до сих пор не подозревал в нем такого музыканта, и никто, конечно, понятия не имел о том, что этот известный химик — талантливейший композитор.

Сам Бородин тщательно скрывал это. И хотя охотно играл все, что просили приятели, старался держаться в рамках заурядного любителя музыки.

Любовь к музыке, собственно, и сблизила его с Менделеевым и Сеченовым. Правда, Сеченов оставался верным поклонником итальянской музыки, а Боро-

дин страстно любил немцев, особенно же в это время поклонялся Мендельсону, но эти разногласия не причиняли им никаких неприятностей.

Музицировали также и в пансионе Гофмана. Когда-то хозяин пансиона был преподавателем греческого языка в Московском университете, где и женился на своей Софье Петровне, и по привычке все называли его «господин профессор».

Однажды сюда приехала из Москвы Екатерина Сергеевна Протопопова. Узнав, что она музыкантша, послали к ней депутацию, чтобы попросить ее поиграть. Екатерина Сергеевна ответила согласием.

Как же изумился Сеченов, когда, придя к Гофману, узнал в московской пианистке учительницу музыки Леониды Яковлевны Визар!

Музицировали в тот вечер до поздней ночи. Екатерина Сергеевна играла неумоимо и страстно — Шумана, Бетховена, Листа. И, несмотря на то, что она ни разу не сыграла Мендельсона, Бородин был в восторге от ее игры и от нее самой. Этот музыкальный вечер не прошел для него даром: он влюбился в Екатерину Сергеевну, влюбился сильно и верно, и немного времени прошло до того счастливого дня, когда чудесная пианистка согласилась стать его женой.

Ресурсы Сеченова подходили к концу. Изрядную сумму пришлось уплатить за насос, заказанный им в Гейдельберге. К возвращению из Швейцарии насос был уже готов, и Сеченов смог приступить к опытам с газами молока. Для этого ему еще пришлось взять напрокат необходимое для эксперимента количество ртути и договориться с одной гейдельбергской «корововладелицей» о разрешении доить ее «кормилицу» — разумеется, за соответствующую мзду.

Чуть было эта договоренность не пошла прахом.

Едва рассвело, задолго до того как хозяйки начинали доить коров, Сеченов отправился к своей молочнице. С собой он принес большую лабораторную чашку, бутылку прованского масла и стеклянный приемник для молока, заранее наполненный ртутью. Масло он вылил в чашку и попросил хозяйку, опустив

туда коровьи соски, приступить таким образом к дойке.

Хозяйка с любопытством наблюдала за всеми приготовлениями, охотно исполнила все указания — почему не подоить молоко в масло? Но вдруг она обомлела.

Сеченов опрокинул запертый зажимом молокоприемник в чашку, отпер зажимы, и молоко побежало вверх. Вытекавшая из приемника ртуть пряталась в слое молока. Приемник был похож на серебряный флакон с непрозрачными стенками — впечатление это создавалось расположившейся по стенкам ртутью. Увидев, что через непрозрачные стенки поднимается молоко вопреки законам природы вверх, а не вниз, хозяйка всплеснула руками и бросилась бежать.

Расхохотавшийся Сеченов еле объяснил ей, что никакого колдовства тут нет. Кое-как хозяйка смирилась, хотя всякое утро с опаской смотрела на ученые манипуляции, а потом целый день не сводила глаз с коровы из опасений, что все эти штуки навсегда лишат ее любимицу способности доиться.

В лаборатории Сеченов продолжал свои опыты с газами молока, и Гельмгольц, конечно, видел их. И даже интересовался — не столько молоком, сколько насосом. Через некоторое время он усовершенствовал сеченовский прибор, а еще через некоторое время в различных лабораториях появился действительно более удобный насос, предложенный Гельмгольцем.

К середине декабря Сеченов закончил опыты с молоком, получил нужные ему результаты и собрался ехать домой. И тут как снег на голову свалилось на него наследство. Где-то в России умерла тетка, которую он почти не знал, и оставила ему пятьсот рублей по завещанию.

До чего же это было кстати! По совести говоря, последнее время он гораздо чаще экспериментировал с молоком, чем пил его. Денег совсем уже не было, и Сеченов — не впервые — вел полуголодную жизнь.

Естественно, что эти неожиданные деньги сразу подняли в нем дух. Захотелось вознаградить себя за

вынужденный пост, тем более что приближались рождественские каникулы и встреча Нового года.

Недолго думая, Сеченов решил кутнуть: пригласил Менделеева и Бородина и вместе с ними отправился в Париж «прожигать наследство».

Он, собственно, так и рассчитывал — часть наследства прокутить, часть же пустить на новые исследования. Но кутеж оказался дорогостоящим: вернувшись в Гейдельберг, Сеченов обнаружил, что денег осталось ровно столько, сколько надо было на остановку в Берлине и проезд оттуда до Петербурга.

А ехать не хотелось. Жаль было расставаться с друзьями, покидать полюбившуюся Германию с ее простыми и добрыми обитателями, хотелось еще немного поработать с Гельмгольцем. А главное, поездка в Россию пугала, несмотря на то, что был там такой могущественный защитник, как Глебов. Сеченов покинул родину три с половиной года назад и, хотя за это время встречался с людьми, приезжавшими из России, сведения о том, что там происходит, имел отрывочные и неполные. А ведь именно об этом времени писал позже Тимирязев:

«Не пробудись наше общество вообще к новой кипучей деятельности, может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и Ярославле, правовед Ковалевский был бы прокурором, юнкер Бекетов — эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства».

«Сапер Сеченов» — теперь уже лекарь Сеченов и, без малого, доктор медицинских наук — распрощался с Гейдельбергом в конце января 1860 года. Гельмгольц простился с ним тепло и сердечно, Бунзен даже всплакнул в силу своей чувствительности. Менделеев и Бородин крепко пожали руку — не за горами встреча в Петербурге. Татьяна Петровна Пассек напекла на прощанье пирогов. У Гофманов устроили в честь его отъезда музыкальный вечер.

Сеченов заехал в Берлин — передать Магнусу, Дове и Дюбуа-Раймону отписки статей, врученных ему Гельмгольцем. Дюбуа был с ним весьма любезен,

расспросил о его работах, заметил, что Сеченов побывал уже везде, где следовало побывать, и пожелал ему дальнейших успехов.

С Людвигом простились в письме — заезжать к нему не было ни денег, ни времени. И, сев на поезд, идущий до Кенигсберга, Иван Михайлович отбыл в Россию.

1 февраля 1860 года в 9 часов вечера почтовая карета, на которой ехали от самой Риги, прибыла в Петербург. А на другое утро, переправившись на лодке через Неву с Литейной части на Выборгскую сторону, Сеченов пришел к Глебову, чтобы представиться и поговорить о дальнейших планах.

10

«Занятная, конечно, история: никого я об этом не просил, нигде не хлопотал, и все-таки диссертацию напечатали в «Военно-медицинском журнале», да еще до того, как я ее защитил! И напечатали совершенно бесплатно. Ей-богу, прав профессор Зинин, когда говорит, что «Россия единственная страна, где все можно сделать». Да и то сказать — знаменитый химик, академик, а как мил и прост. Очень он мне нравится, охотно отзовусь на приглашение бывать у него по понедельникам. Крепкий человек, как он смог наspiговать Дубовицкого преклонением перед естественными науками! Бородин, наверное, не узнал бы президента: только и толкует, что естествознание да естествознание. И с каким уважением относится к русским ученым. Меня принял так, будто академия без меня не смогла бы дальше существовать. Отлично, между прочим, что он намерен пригласить Беккерса и Юнге, — снова будем все вместе. Вот как показывает себя наш Московский университет. Ну, это, конечно, работа Глебова, постарался старик, ничего не скажешь.

Завтра защита. При таком положении вещей и волноваться нечего. Интересно, что представляют со-

бой мои оппоненты, особенно Пеликан. Говорят, молодой еще человек, а уже как далеко пошел — только что был всего лишь профессором судебной медицины в академии, а теперь директор медицинского департамента министерства внутренних дел. Говорят, умен, доброжелателен, хорошо образован. Надо будет послушать его публичные лекции в Пассаже...» Так размышлял Сеченов в первые недели после своего возвращения на родину.

Всего месяц с небольшим как он приехал в Петербург, а уже 5 марта состоялась его защита. Как он и думал, все обошлось без бурных дебатов и кончилось благополучно. Пеликан действительно оказался человеком умным и благосклонным, выступал он вполне благоприятно и даже пригласил Сеченова по вечерам участвовать в его опытах, которые он проводил в своей лаборатории в Пассаже.

Постановлением конференции Сеченову было присуждено звание доктора медицины и, «принимая в соображение, что доктор Сеченов в бытность свою за границей специально изучал физиологию, трудами и работами по этому предмету сделался уже известным в ученном сословии... допустить его к испытанию на звание адъюнкт-профессора, имея в виду предоставить ему одну из имеющихся адъюнктских вакансий по выдержании им экзамена из физиологии и прикосновенных с оной предметов, для чего и пригласить его на экзамен в следующее заседание конференции, 12 марта».

12 марта экзамен — пустая формальность! — был сдан, а еще через неделю Сеченов читал перед конференцией пробную лекцию на тему «Физический метод исследования в физиологии». После этого его определили адъюнкт-профессором на кафедру физиологии.

Таким образом, все организационные дела в академии окончились успешно. Сеченов снял себе две комнаты поближе к академии, на Нижегородской улице, дом 11, заглянул во 2-й Военно-сухопутный госпиталь, где должен был одновременно работать младшим ординатором, и на несколько дней, остав-

шихся до начала лекций, которые ему тут же предложили читать, съездил в Москву.

Да, с работой все обстояло как будто благополучно. Ну, а остальное? Остальное выглядело куда хуже. Во-первых, финансовое положение Сеченова было совсем скверным: он вынужден был купить мебель, чтобы обставить свое жилище, и шубу в предвидении русских морозов и успел уже залезть в долги. Во-вторых, на улицах была страшная слякоть, стоял пронизывающий холод, с Невы, не переставая, дул свирепый ветер, и Сеченов тосковал по настоящей весне. В-третьих, что самое главное, «погода» стояла скверная не только в климатическом отношении.

13 апреля Сеченов писал в Гейдельберг Менделееву: «Пробыл всю Страстную в Москве... Неурядица на святой Руси страшная. Петербургская публика к науке охладела... Говорят, будто литературные вечера в пользу бедных литераторов запрещены и заменяются драматическими представлениями... Хандре моей не удивитесь — посмотрю я, что сами запоете, когда вернетесь. В России привязанностей у меня нет; в профессорствовании счастья крайне мало: работать гораздо труднее, чем за границей, климат скверный. Жизнь дорогая. Вот почему меня тянет назад...»

Запрещений в ту пору становилось все больше и больше. Кто-то пустил слух, что к тысячелетию России император собирается отказаться от престола, а между тем строгости пошли страшные: всякого проходящего ко дворцу обыскивали, чуть ли не раздевая догола. Александр явно чего-то опасался. Да и как было не опасаться, когда некий «русский человек» — уж, наверно, кто-нибудь из этих нигилистов, или, как их там называют, демократов, а может быть, и сам Чернышевский! — прямо так и кричит на весь мир: «К топору зовите Русь!» «Письмо из провинции», правда, напечатано не в России, а в Лондоне в «Колоколе», но кто же не знает, что листы этого крамольного лондонского издания проникли уже давно не только в каморку студента, но и в хо-

ромы некоторых русских либералов. Очень хорошо, что Чернышевского заставили уйти из редакции «Военного сборника», где он обрушивался на допотопные порядки в русской армии, на высшую военную администрацию, на бесчеловечное обращение офицеров с солдатами и вообще дал изданию журнала столь дикое направление, что, слава богу, даже отъявленные либералы пришли в ужас. Но ведь кто знает, скольких офицеров успел развратить этот человек за восемь месяцев, пока почти полновластно распоряжался в журнале?!

Ожидание реформы об освобождении крепостных крестьян достигло такого напряжения, что казалось, вот-вот оно разразится ураганом. Сам Александр уже давно понимал, что иного выхода нет, — придется проводить реформу, этого требует развитие торговли и промышленности, вся экономика страны, не говоря уже о крестьянах. Весь вопрос в том, как провести это освобождение, чтобы и овцы были целы и волки сыты.

Вот уже четыре года как образован специальный Секретный комитет под председательством самого царя для обсуждения мер по устройству быта крестьян. Хоть и сидят там видные сановники, а договориться до сих пор толком не могут. Между тем позиция самодержца яснее ясного: с одной стороны, надо создать видимость свободы для крестьян, с другой — сохранить основы феодально-крепостнического уклада.

А время не ждало. «Туго натянутый Николаем ошейник», который новый царь поначалу несколько распустил, создав на Руси видимость свободы, снова начинал душить народ. Народ понял уже, что ошейник с него так и не сняли, да и снимут ли — вот вопрос?

Естественное скрытое брожение то и дело прорывалось наружу. Непокойно было и на философском фронте. Широко стали освещаться вопросы естествознания почти во всех журналах самых разных направлений. И тут-то отчетливо выявились непримиримые разногласия между «Современником», во главе кото-

рого стояли Некрасов и Чернышевский, и журналами, представлявшими литераторов реакционного направления. Последнее возглавлял зоолог, философ-идеалист Страхов. В журнале «Светоч» в начале 1860 года он поместил несколько статей «Письма о жизни». Некая «высшая духовная идея», по Страхову, руководит развитием организмов, а внешние условия существования не играют заметной роли в переходе от низших форм к высшим. Страхов прямо говорил, против кого он направляет свои статьи: против материалиста Чернышевского.

Не лучше были и статьи публициста Лаврова, как бы поставившего себя между первым и вторым, но по сути своей остававшегося таким же идеалистом, как и Страхов. Ни Страхов, ни даже Лавров со своими философскими выкладками не причиняли особого беспокойства правительству. Но вот вышла статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Помимо чистой проповеди материализма, эта статья совершенно неприкрыто носила характер политического сочинения. В Главном управлении цензуры было отмечено, что сочинение Чернышевского противодействует коренным основам гражданского и общественного устройства России.

Вот такая «страшная неурядица» царила на Руси. Покинув ее, Русь, после крымской катастрофы, Сеченов вернулся в предреформенный год. Попав в Петербург из тихих немецких лабораторий, он сначала растерялся и впал в хандру.

Растерянность, правда, прошла сразу же, как только он начал читать лекции. Выбирать между Страховым и Чернышевским ему не приходилось, к какому течению примкнуть — идеализму или материализму — он не раздумывал. Он был ученым-физиологом, и по его твердому убеждению в этой науке не могла иметь места никакая «особая сила», пусть ее называют как хотят: душой, идеей или духом; физиология изучает все проявления организма, состоящего из материи, неразрывно связанного с внешней средой, и все, даже самое интимное в этих проявлениях, — явления материального происхождения и

подлежат научному исследованию, как все в природе.

Позднее в одной из лекций он так и говорил: «Вы, вероятно, когда-нибудь слышали или читали, что под организмом разумеется такое тело, которое внутри себя заключает условия для существования в той форме, в какой оно существует. Эта мысль ложная и вредная, потому что ведет к огромным ошибкам. Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него. Так как без последней существование организма невозможно, то споры о том, что в жизни важнее — среда или самое тело, — не имеют ни малейшего смысла».

Слушатели рукоплескали его словам. Очевидно, теория Страхова не пользовалась уже успехом ни у студенческой, ни у научной молодежи. Естествознание становилось на твердые ноги, в России оно в это время переживало период бурного развития. И все мыслящее, все передовое неизбежно должно было приобщиться к материализму.

Чтение лекций Сеченов начал в апреле 1860 года. Академическое начальство торопило, не было времени ждать до осени — надо было тут же ознакомить слушателей с новейшими достижениями физиологии. Между тем он вовсе не чувствовал себя подготовленным к такому ответственному делу. Он предполагал, что курс лекций начнется с начала учебного года — с 1 сентября и он еще успеет как следует и составить программу и написать самые лекции.

Но делать нечего, придется читать. Выбор темы предоставлен ему самому. И Сеченов выбрал то, что было совершенной новостью для России того времени: лекции о животном электричестве

Уезжая из Германии, он позаботился о некоторой необходимой аппаратуре — гальванометре, индукционном аппарате Дюбуа-Раймона — и в этом отношении был вполне оснащен. Разумеется, он решил читать в сопровождении наиболее интересных и показательных опытов, чем вызвал полный восторг аудитории.

Уже после первой лекции его провожали громкими аплодисментами. Недаром эти лекции через некоторое время были удостоены Демидовской премии Академии наук.

В аудитории тихо-тихо. Не слышно даже скрипа перьев — никто не ведет записей, жалко упустить хоть одно слово лектора. Рассказывает он так убедительно и просто, что только диву даешься, как это кто-то когда-то мог думать по-другому! Вот он выходит из-за стола, останавливается возле какого-нибудь слушателя и будто беседует с ним, будто внушает ему правильность выводов из только что сделанного опыта.

Между тем электрофизиология была самым новым направлением в одной из самых трудных областей этой науки — физиологии нервно-мышечной системы.

Лекции о животном электричестве произвели огромное впечатление, и слух о лекторе разнесся далеко за пределами академии. Подкупала не только манера изложения, не только великолепные демонстрации, не только самая новизна вопроса — ученый открывал перед слушателями широкие горизонты в их собственной будущей научной работе, он показывал им пути к познанию самых таинственных страниц природы и словно бы обещал свою помощь.

Блестящие эксперименты не только производились в аудитории — они подробнейшим образом объяснялись лектором, знакомили с методикой точного научного исследования и учили разбираться в языке фактов.

К концу семестра Сеченов стал любимым лектором слушателей академии. У них после его цикла прямо чесались руки от желания повторить все самим, самолично убедиться во всем, что было им показано и рассказано, и — кто знает? — быть может, и открыть что-нибудь новое, пусть даже самое незначительное. Впрочем, профессор говорит, что незначительного в науке нет, надо только уметь извлекать из каждого опыта подтверждение какой-либо гипотезы, научиться обобщенно мыслить.

Этими лекциями было положено начало изучению электрофизиологии в России. Биотоки нервов и мышц, вполне доступные исследованию, заинтересовали целую плеяду ученых. Для того чтобы было понятно значение этой отрасли физиологии, достаточно указать только на два примера, к которым пришла она в наше время.

Когда у человека начинает болеть голова и боли эти сопровождаются целым рядом других мозговых симптомов, которые указывают опытным врачам на наличие опухоли в мозге, часто для излечения такого больного приходится призвать на помощь нейрохирургию. Перед хирургом встает задача: где именно производить трепанацию черепа, в каком именно участке мозга находится новообразование? Если бы задачу эту пришлось решать чисто эмпирически, каждая подобная операция была бы бесконечно мучительна и для врача и для больного: просверливать череп, чтобы достигнуть области мозга, приходилось бы наугад, во многих местах, следуя только умозаключению опытного врача, знающего, какие именно дифференцированные признаки с какой частью мозга могут быть связаны. Электрофизиология исключает такие искания. Специальный аппарат, соединенный с поверхностью черепа, графически записывает исходящие из мозга биотоки. По измененным кривым на электроэнцефалограмме врач определяет не только, на каком участке мозга гнездится болезнь, но и нередко — в чем она заключается.

Когда у человека начинаются острые боли в сердце и в за грудиной области и возникает подозрение, что тут имеет место инфаркт сердечной мышцы, врач прежде всего обращается к своему неизменному помощнику — электрокардиографическому аппарату. Присоединенные к области сердца, ног и рук отведения от аппарата дают графический рисунок — электрокардиограмму — состояния сердечной деятельности.

По записям биотоков, исходящих из сердечной мышцы, врач диагностирует заболевание с очень небольшой вероятностью ошибки.

Как только Сеченов приступил к лекциям, хандру как ветром развеяло. Когда же он получил помещение для собственной лаборатории, то совсем почувствовал себя счастливым.

Лаборатория помещалась в нижнем этаже флигеля, рядом с анатомическим театром. Когда-то в этих двух больших комнатах была химическая лаборатория. В первой комнате от тех времен остался вытяжной шкаф, во второй—во всю длину стол и полки для реактивов. На столе лежали ножницы, пинцеты, стояли какие-то стеклянные сосуды. Вот и все.

И все-таки это была его первая лаборатория! Он вошел в нее как счастливый хозяин. И как хозяин перетащил сюда все свое научное имущество: гальванометр для электрофизиологии, штатив для опытов над лягушками, индукционную катушку. Неплохо для начала. Тем более, что Дубовицкий щедр на покупку оборудования. И точно: очень скоро Дубовицкий отпустил для закупки инструментов физиологической лаборатории две с половиной тысячи рублей, что по тому времени было вполне достаточно.

Штатных сотрудников Сеченов не имел, да они и не требовались: студенты и врачи валом валили к молодому профессору, наперебой прося «допустить» их в это новое святилище.

Весной приехал Беккерс, и Сеченов сразу же повел его смотреть лабораторию. Она еще не была как следует оборудована, но аппараты и инструменты были уже заказаны, и Сеченов надеялся, что к середине июля, когда он вернется после коротких каникул—он собирался ехать в Теплый Стан,—можно будет приступить к настоящей работе.

— Завидую вашему характеру, — улыбнулся Беккерс, — вы увлекаетесь своими планами, как другой мечтами о любимой девушке.

— Только этим и живу, — серьезно подтвердил Сеченов, — вы же знаете, я нелюдим, дик с незнакомыми людьми, оттого и поглядывают на меня косо здешние профессора.

— Ну, это до первого случая, — убежденно сказал Беккерс, — узнают поближе — полюбят!

— Да тут не так просто. Говорят, принято делать профессорам визиты. А какой из меня визитер? — Сеченов засмеялся, пожимая плечами.

— А как с начальством?

— Доволен, вполне доволен. Дают возможность работать, чего еще нужно! Вон какое помещение отдали, — Сеченов с гордостью обвел рукой почти еще пустую комнату, — денег отвалили уйму. И слушатели, кажется, тут отличные, есть несколько человек, очень интересующихся физиологией.

— Ну, а остальное? Чем пахнет в воздухе, вы уже, наверно, осведомлены?

— Запах вполне приличный. Говорят, вопрос уже решен. Обнародовать собираются будто в конце полевых работ — в октябре или ноябре.

Оба не называли вещи своими именами — они и так понимали, о чем речь.

— Дай бог, чтобы это была правда. Тогда наши из Гейдельберга, Бородин и Менделеев, вернутся уже в свободную Россию.

Беседовали еще некоторое время и порешили, что Беккерс поселится вместе с Сеченовым, чтобы не так скучно было коротать свободные вечера. А пока Беккерс устраивался в Петербурге, Иван Михайлович уехал в Теплый Стан. Вернулся оттуда в середине июля, уверенный, что оборудование его уже готово. Но ошибся. И снова впал в хандру.

Жара стояла невыносимая, редкостная для Северной Пальмиры — с семи часов утра было уже тридцать два градуса. Сеченов задыхался от петербургской пыли, от затхлого сырого воздуха лаборатории.

Только много лет спустя узнал он, что под лабораторией помещался заброшенный погреб, полный воды. Оттуда и шел запах, к которому он долго не мог привыкнуть; сырость распространялась по стенам, и скоро все это дало себя знать: Сеченова стали мучить приступы радикулита, так и не покидавшие его чуть ли не всю жизнь.

В августе приехал Боткин с семьей. Семья его выросла сразу на двух человек: 1 февраля в Париже На-

стасья Александровна родила двойню. Встретились тепло и сердечно. Когда Боткин защитил диссертацию, отпраздновали ее по-семейному. А вскоре и у Боткина появилась своя лаборатория — первая клиническая лаборатория в России, в которой потом десять лет проработал вместе с Боткиным Иван Петрович Павлов.

С осени началось настоящее профессорство. Сеченов читал лекции по нервно-мышечной физиологии, которые старательно готовил, записывая чуть ли не каждое слово, и с увлечением ставил опыты в лаборатории. Он был первым русским физиологом, который начал самостоятельно и широко экспериментировать, введя впервые в практику преподавания физиологии в России систематический эксперимент. Популярность его росла с каждым днем и начала уже показывать свои неудобства.

С одной стороны лаборатории находился анатомический институт, с другой — физическая и химическая аудитории. Как только наступал перерыв между лекциями, студенты из аудиторий толпами врываются к Сеченову. Окружив в два ряда стол, за которым профессор ставил опыты, они сдержанно перешептывались, но так как было их много, шепот перерастал в неприятный, нервирующий гул.

Сеченов вежливо объявил, что такое количество гостей мешает ему сосредоточиться и что, кто хочет заниматься опытами, — пожалуйста, он приглашает, остальных же просит воздерживаться от посещений. Студенты ничуть не обиделись и посещений не прекратили. Две недели Иван Михайлович терпел, потом не выдержал и повесил на дверях объявление: прошу, мол, господ студентов жаловать в мою комнату только по приглашению. Объявление тут же сорвали, и все продолжалось по-прежнему. Вконец рассерженный профессор прибег к крайней мере: он велел сторожу просто запирать свои двери.

Акт этот произвел на студентов самое мрачное впечатление. Кто-то написал Сеченову раздраженное анонимное письмо. Кто-то даже пытался проникнуть в запертую комнату, подобрав к дверям ключ. Потом

все утихло. Молодежь поняла, что эти шуточки только мешают ученому работать. И смирилась. Лекции Сеченова посещались, как и прежде, так что в аудитории всегда было полно. По-прежнему на лекциях он свободно и просто беседовал со слушателями. И эта первая размолвка со студентами оказалась единственной за все двенадцать лет работы Сеченова в Медико-хирургической академии.

Теперь в лаборатории была полная тишина. Она не нарушалась даже визгом подопытных животных: Сеченов требовал, чтобы все операции над ними проводились под наркозом. Страданий животного он не мог видеть: если кто-нибудь из учеников недостаточно обезболивал собаку перед вивисекцией, Сеченов зажимал уши и выбегал из комнаты.

Жил он, как и раньше, довольно одиноко. Уже пришли первые разочарования, для него особенно чувствительные, так как он трудно сходил с людьми и оттого еще более трудно отходил от них. Он уже не посещал по понедельникам Зинина, заметив не вполне искреннее отношение профессора к себе. А неискренности Сеченов не терпел ни в каких проявлениях, и тем горше было его разочарование в Зинине, которого он успел полюбить. А ведь совсем недавно Зинин проявил такое доброе отношение к своему молодому коллеге: предложил ему баллотироваться в Академию наук и с целью познакомить его со стариком Бэрром водил к тому в гости; пригласил к себе в очередной понедельник двух других академиков, чтобы познакомить их с Сеченовым. За последнее время Зинин, правда, больше об академии не заикался. Внешне отношения между ними были вполне пристойные, Сеченов оставался неизменно любезным, но от дружеского сближения внутренне отказался.

С профессором Якубовичем — штатным профессором физиологии — отношения наладились хорошие, но совершенно деловые; оба они должны были вести один и тот же предмет и разделили физиологический курс на две части: кровь, пищеварение и нервную систему взял себе Якубович, остальное входило в курс лекций Сеченова.

Однажды, когда Сеченов сосредоточенно возился в своей лаборатории с подвешенной на штативе лягушкой, в дверь постучали и кто-то спросил по-немецки: «Можно войти?»

Сеченов открыл двери и увидел перед собой полного, немолодого уже человека с доброй улыбкой на младенчески розовом лице и крепкими белыми руками, с очень подвижными пальцами препаратора. Это был «выборгский император», как называли его студенты; «Мутцерль», как звала его жена; профессор анатомии Венцеслав Леопольдович Грубер, как это числилось в канцелярии академии.

— Знаю, что вы отлично говорите по-немецки, — широко улыбаясь, объяснил Грубер свое вторжение в лабораторию, — знаю, что долго жили в Германии. Вот зашел поболтать. Не прогоните?

Грубер служил в Медико-хирургической академии уже четырнадцать лет — еще Пирогов в бытность свою здесь профессором выписал его из Праги, где он успел завоевать себе славу отличного прозектора. Но анатомический театр помещался тогда в таких невыносимых условиях, в таком ужасном помещении, что возможности по-настоящему работать, как этого жаждал Грубер, он не получил. Несколько лет он читал лекции узкому кругу людей, и только в 1858 году, через три года после ухода из академии Пирогова, для Грубера была учреждена кафедра описательной анатомии, где он и стал безраздельным царьком. Преподавание он вел отлично, и когда объявил для студентов второго курса обязательные практические занятия по анатомии, это не вызвало с их стороны никакого недовольства; напротив, они хлынули в вотчину Грубера — анатомический театр — неудержимым потоком.

Для Грубера это было просто счастьем. В руках он имел такое богатство анатомического материала, о котором за границей и мечтать не мог. Со всем этим богатством надо было успевать справляться, а для этого требовались мастерские руки, и их-то профессор получил почти в неограниченном количестве. Правда, студенты приходили к нему без всяких навыков, но

Груберу, поистине великому прозектору, ровно ничего не стоило сделать их умелыми анатомами.

Беззаветно любя анатомию, ничем, кроме нее, не интересуясь, Грубер выбрал своим коньком различные аномалии. Он умудрялся находить редкие и редчайшие отклонения от нормы, вел им точнейшую статистику, определяя численное отношение аномалий к норме. Все препараты, сделанные за долгие годы, он записывал в книгу, которая со временем распухла до тысяч страниц. Хранить эту книгу он поручал только самому любимому ученику, и для последнего это было величайшей наградой и величайшим признанием профессором его анатомических талантов.

Чувство справедливости и ответственности было развито в нем до крайней степени. На экзаменах он был до того требователен, что гонял студентов для пересдачи по четыре-пять раз. Зато те, кто получал у него хорошую отметку, действительно знали предмет назубок. В анатомическом театре он был суров и непримирим к промахам и ошибкам, командовал студентами отрывисто и безапелляционно. Но молодежь чувствовала, что, в сущности, он человек добрый и безобидный, и не могла не любить его за преданность делу и пламенную, неизменную любовь к науке.

Около трети всех врачей России были слушателями Грубера, занимались у него в анатомическом театре, и находки многих из них были вписаны в профессорскую «песню песней» — знаменитую книгу.

В этом году Грубер, первым в России, открыл доступ в секционный зал женщинам. И страшно гордился этим, чувствуя себя пионером и героем, заслуживающим особого почета.

Через две минуты он уже рассказывал Сеченову о своем новшестве.

— Понять невозможно, почему это у нас, за границей, женщины вовсе не рвутся к медицине, хотя никто им этого не запрещает. А здесь, в России, где женщина стремится к образованию, ее не допускают в высшие учебные заведения. Я пустил в секционную женщин. И буду делать это всегда. И буду давать им справки, что кончили у меня курсы анатомии. Мои

справки помогут им поступить в любой заграничный университет. А? Как вы думаете, герр Сеченов?

Сеченов охотно польстил самолюбию старшего коллеги. Самому ему еще не приходилось непосредственно сталкиваться с так называемым женским вопросом. Но еще с киевских времен он относился к эмансипации женщин более чем сочувственно.

Грубер тем временем развивал перед ним планы на будущее.

— Вы вот тоже можете поддержать мое начинание, — предложил он Сеченову, — разве в вашей лаборатории женщины не найдут себе места? Уж если они у меня могут работать, так у вас и подавно...

Почувствовав, что сказал что-то не то и молодой коллега может обидеться, Грубер поспешно добавил:

— Мой бог, они же ничуть не бездарней любого мужчины! А у вас же работа, честно сказать, почище моей? А? Что скажете, герр Сеченов?

«Герр Сеченов» ничего не имел против, хотя и не представлял, как это будет выглядеть. Впрочем Грубер прав: почему бы не попробовать?

На том разговор в этот раз и закончился. Венцеслав Леопольдович то ли забыл о своем предложении, то ли отложил его осуществление до тех пор, пока сам не убедится в пригодности женщин к занятиям медициной.

1 декабря 1860 года, через девять месяцев после защиты диссертации, Иван Михайлович сидел за письменным столом кабинета, в квартире, которую он снимал вместе с Беккерсом, и писал:

«На основании газетного объявления о конкурсе на место адъюнкта по кафедре физиологии при С.-Петербургской Академии наук честь имею представить мои работы, покорнейше прося Конференцию Академии удостоить меня чести быть включенным в число конкурентов на означенное место».

Он перечислил пять научных работ, в том числе «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», и к ним добавил: «Сверх исчисленных работ у меня готово исследование, дающее способ измерять легко и точно среднее давление крови в артери-

ях. К сожалению, пояснительные чертежи не могут быть изготовлены литографом к сроку, т. е. 5 декабря, и потому я не имею возможности представить манускрипта. Сеченов».

Совершенно необычное объявление, опубликованное в «Русской газете», разговор со знаменитым химиком академиком Зининым еще летом, сразу же после публикации о конкурсе, настоятельные уговоры академиков Бэра и Брандта — все это толкнуло Сеченова принять решение и выставить свою кандидатуру на выборах. Он знал, что единственный его конкурент — профессор Якубович, с которым он делил кафедру в Медико-хирургической академии, знал, что Якубович пока еще ничем особенным себя как ученый не проявил, и потому считал себя вправе представить свои работы на конкурс.

Объявление действительно было необычное.

«...от Императорской Академии наук для русских ученых, желающих занять в оной место адъюнкта по физиологии и анатомии.

Императорская Академия наук на основании § 74 высочайше утвержденного от 8 января 1836 г. Устава своего открывает конкурс на вакантное в оной место адъюнкта по физиологии, преимущественно по отделу физико-химическому, не исключая, однако же, и анатомического. По сему же из русских ученых, которые чувствуют себя способными занять сие место, приглашаются в шестимесячный от настоящего объявления срок прислать в Академию, в доказательство своих знаний печатные или рукописные сочинения свои».

Событий, предшествовавших этому объявлению, Сеченов не знал, как не знал, что не Зинину обязан он предложением выдвинуть свою кандидатуру. Зинин только выполнил формальность — переговорил с Сеченовым по поручению отделения. Первым в связи с выборами назвал имя Сеченова профессор Якубович.

Один из старейших русских академиков, физиолог Бэр, еще три года назад начал подумывать о подготовке себе преемника. Надо было привлечь молодого ученого, который, начав с адъюнкта, мог бы со временем занять место действительного члена Академии на-

ук. В Казани тогда профессорствовал талантливый, подающий надежды физиолог Овсянников. Его-то и предложили вниманию Академии Бэр, Брандт и Миддендорф. Конкурентом выдвинули профессора Медико-хирургической академии Н. М. Якубовича. Но ни тот, ни другой, по ближайшему рассмотрению, не вполне удовлетворили требованиям физико-математического отделения. Якубович вскоре после этого уехал совершенствовать свои знания за границу; Овсянников был избран адъюнктом лишь через четыре года.

Когда выяснилось, что обе представленные кандидатуры не подходят, академик Бэр остановил свое внимание на немецком ученом, профессоре Гейдельбергского университета Кюне.

Вот тогда-то Н. М. Якубович, ставший в дальнейшем выдающимся ученым-гистологом, написал длинное возмущенное письмо министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому.

Почему на освобождающееся место в русской Академии надо привлекать иностранца? — с возмущением спрашивал Якубович. Разве нет в России своих ученых, достойных быть избранными?.. «В давно прошедшие времена была необходимость избирать в нашу Академию наук знаменитых ученых иностранцев; может быть, эта необходимость была даже в недавнее, не очень отдаленное время, потому что наука не находила себе достойных представителей между русскими, в особенности по части естествознания, но в настоящее время общего прогресса и общего научного внутреннего стремления... он (такой принцип отбора ученых) делается не только не нужным, но прямо противодействует самостоятельному научному развитию в России. Именно: если Академия наук есть то место, в котором централизуются высшие научные стремления в лице господ академиков как высоких представителей этих научных стремлений, то Россия вправе требовать, чтобы эти стремления не ограничивались одними стенами академии и бюллетенями на немецком или французском языке, но изливались бы в массу народную и, разумеется, на родном, а не чужестранном языке, и тем самым не только бы просве-

шали эту массу, но из среды ее вызвали бы те же самые стремления к знанию и просвещению, и к знаниям не подражательным только, но к самобытным, коренным русским. Этим путем возможно только достижение самостоятельного научного развития, и это был тот единственный путь, которому следуя науки развивались самостоятельно во Франции, Германии. Теперь спрашивается, возможно ли это коренное развитие, собственно русское, если во главе центра наук будут постоянно иностранцы, не знающие ни языка русского, ни наклонностей, ни свойств, ни потребностей русских, нисколько не сочувствующие и совершенно чуждые той среде, в которой они живут?

...Господин академик Бэр в последнее и недавнее свое путешествие за границей искал достойного представителя науки, искал его не между русскими, во всех углах Европы в настоящее время трудящимися, он даже не осведомился об них, но искал между иностранцами-земляками...

Глубоко чувствую всю обиду, все оскорбление, какое подобного рода действие приносит нам, русским, так же честно, успешно и так же деятельно трудящимся, как и г. д-р Кюне; надеюсь, что Санкт-Петербургская Академия наук есть Академия русская и что русский наравне с немцем имеет право занять в ней место... Молчать в этом случае считаю преступлением как перед моею собственной совестью, так равно и перед моим отечеством. Те же самые иностранцы будут смеяться, как и уже смеются над нами, и прямо в глаза укорять тем, что в конце 19-го столетия при всех условиях правительства не нашлось в России человека, который мог бы с честью быть представителем в собственной Академии научного прогресса в области естествознания...» Если право быть избранным будет предоставлено русскому, «...это ободрит толпу молодежи, в поте лица трудящуюся в отечестве и вне оно-го; это поддержит в нас надежду должного вознаграждения нашим благородным стремлениям; наконец это удовлетворит и оживит народное самолюбие. При сем случае осмелюсь указать вашему высокопревосходительству на г. Сеченова и г. Боткина как на двух

самых замечательных и вполне достойных особенного высокого внимания вашего; первый из них физиолог, второй клиницист...»

Министр просвещения переслал письмо президенту академии Федору Литке. Содержание письма стало известно Бэру и произвело на него большое впечатление. Он отказался от своего намерения баллотировать в академию Кюне и предложил физико-математическому отделению объявить конкурс только среди русских ученых.

Так 5 июня 1860 года появилось объявление, впервые в истории С.-Петербургской Академии наук предлагавшее баллотироваться на вакантное место только отечественным ученым.

Последнее обстоятельство сыграло главную роль в решимости Сеченова выдвинуть свою кандидатуру. Он знал, что пока еще ни один русский физиолог не может похвастаться такими ценными сведениями по новейшим достижениям физиологии, какими обладал он, знал, что не было еще в России физиолога с таким широким диапазоном научных исследований в области физической химии, электрофизиологии, физиологии нервов и мышц, которыми он занимался.

Но Иван Михайлович не возлагал особых надежд на результаты своего прошения, хотя уже знал, что биологическая секция организовала комиссию для рассмотрения кандидатур. Собственно, он считал, что надежд у него нет никаких, и, отослав прошение и список трудов, продолжал заниматься своими повседневными делами.

11

Как-то само собой случилось, что в этот субботний вечер они собрались у Боткина.

Когда-то, еще в университетские годы, Боткин начал устраивать у себя еженедельные встречи. И тогда в тихом Козьмодемьянском переулке, на Маросейке, в доме Боткиных, который просвещенные люди называли «московским оазисом», раздавалось звонкое пе-

ние молодых голосов и задушевные звуки виолончели, которой увлекался Боткин. Он отлично владел этим инструментом и всю жизнь совершенствовался в игре на нем. Виолончель была его «верным другом», «освежающей ванной» даже тогда, когда он стал знаменитым профессором.

Сейчас, в Петербурге, встречи друзей возобновились. В скромной квартирке у Спаса Преображенья, в доме Лисицына, по субботам собирался узкий кружок близких друзей, и за длинным столом велась беседа до поздней ночи.

В эту субботу, 25 февраля 1861 года, беседа все время шла по одному пути.

— Свершилось! — сказал, входя, Беккерс. — Еще девятнадцатого февраля, оказывается, подписан манифест об освобождении.

— Да, — подтвердил Сергей Петрович, — послезавтра, говорят, будет обнародован. Собираются устраивать молебствие, манифест будет читаться во всех церквях. Поздравляю, дорогие, поздравляю. Наконец-то мы дожили!

Сеченов задумчиво смотрел на собравшихся.

— Странно как-то: такое событие, такое великое событие — и в такой тайне! Почему ничего нигде не напечатано, почему до сих пор ни о чем не сказано во весь голос? Только и передают друг другу шепотом, будто не праздник это, а какое-то нежелательное правительству событие...

Праздник! Какая насмешка таилась в этом слове! Нет, правительство не спешило обнародовать манифест. 27 февраля действительно в церквях служили молебствия, но напечатан он был только 6 марта — через шестнадцать дней после того, как был подписан!

Эта странная тайна, которой было окружено освобождение крестьян, сама по себе настораживала и разочаровывала. Напряжение общества в ожидании реформы было таким натянутым и жгучим, а сама реформа такой куцей, что все мало-мальски либерально настроенные круги, не говоря уже о народе, испытывали крайнюю степень разочарования. Похоже

было на то, что русский народ попросту получил звонкую пощечину в ответ на свое вековое долготерпение.

Правительство просчиталось. Рассчитывая реформой успокоить массы, оно только вызвало еще большие волнения, такую бурю протеста, какой никак не могло предвидеть.

В громких фразах манифеста о земле и свободах ничего, в сущности, кроме этих пустых фраз, и не было. Но зато «Положение», излагающее основы реформы, в неприкрытом виде показало все издевательство этого «великого» акта над народом. Еще бóльшая кабала ждала крестьян после «освобождения» — земля, которой они пользовались до реформы, была теперь отторгнута от них. Около двух миллиардов рублей должно было уплатить помещикам нищее, бедствующее, голодное и холодное крестьянство. Условия аренды были невыносимо тяжелыми, но другого выхода не было: крестьяне не могли существовать без земли, полученной любой ценой. Не имея денег, большинство крестьян могло платить только «натурой» — лишаясь доброй половины всего урожая.

Это было «бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»¹.

Потрясенное крестьянство ответило новыми бунтами, неудержимо катившимися по всей стране, захватывавшими губернию за губернией.

В очередную субботу, когда Сеченов пришел к Боткину, Сергей Петрович познакомил его с молодым человеком, очень красивым и почему-то очень застенчивым, и представил:

— Доктор Петр Иванович Боков. Способнейший врач...

Сеченов обменялся с Боковым рукопожатием. Чувствовал он себя тоже неловко — к каждому новому человеку, которого он встречал, ему нужно было привыкнуть, а для этого требовалось время. Особенно стеснял его открыто восторженный взгляд Бокова, который он время от времени устремлял на Ивана

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 94.

Михайловича, когда думал, что тот не видит его. Но, как все очень тонкие и нервные люди, Сеченов, и не видя, чувствовал этот взгляд и в одну из таких минут резко обернулся.

Боков, покраснев, как девушка, так что даже корни его чудесных русых волос порозовели, набрался храбрости и сказал:

— Довелось мне быть на ваших публичных лекциях о растительных актах животной жизни. Я очарован ими, профессор, просто очарован!

Наступила очередь Сеченова смутиться: он с детства не терпел никаких похвал и готов был провалиться сквозь землю, когда кто-нибудь хорошо отзывался о нем.

Но Боков словно бы не замечал его смущения, а может быть, именно поэтому почувствовал себя значительно легче с молодым профессором и неумолимо продолжал:

— Страх может теперь спрятаться под стол и не вылезать со своим идеалистическим бредом. После ваших лекций над его статьями можно только смеяться! Отчего бы вам не опубликовать их? Вышла бы великолепная брошюра и уж такая полезная для нашего общества, такая полезная, что и сказать нельзя.

— Не думал еще над этим, — буркнул Сеченов, — пожалуй, подумаю.

— Тут и думать нечего, — обрадовался Боков, — и лучше всего понесите-ка вы их в журнал. И, знаете, куда? В «Современник». Я, если хотите, могу поговорить с тамошним начальством. Ну хоть с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Он очень влиятельный в журнале человек, в таких вопросах Некрасов всегда прислушивается к нему.

«Вот как? Этот красавец, оказывается, знаком с Чернышевским? Любопытно. Ах, вот оно что — домашний врач семьи. И на дружеской ноге. Гм... Следует к нему повнимательней присмотреться — раз Чернышевский...»

К концу вечера Сеченов согласился на предложение нового знакомого. И, не откладывая в долгий

ящик, в ближайший же понедельник пошел в редакцию «Современника».

Вот он, двухэтажный особняк с двумя довольно низкими входными дверьми. Боткин говорил, что в этом доме раньше жил Пирогов. Вон там, на втором этаже, по рассказам Бокова, квартира Некрасова. А напротив длинный красивый дом министра государственных имуществ. Во всю длину его тянется балкон, покоящийся на согнутых спинах каменных дев. Тот самый «парадный подъезд», на который глядел из окон квартиры Некрасов, когда писал свое знаменитое стихотворение.

Было раннее утро, и Сеченов не торопился входить. Что-то удерживало его, какая-то непривычная робость перед именем — перед именем Чернышевского.

А Чернышевский в это время был в спальне Некрасова. Николай Алексеевич, как всегда в этот час, завтракал в постели. В такое раннее время никто не входил к нему, только для Чернышевского двери его комнат были всегда открыты.

На столике стынет стакан с чаем. Некрасов позабыл о нем. Он задумчиво смотрит куда-то в пространство, а в руке у него тот злосчастный листок, на котором обнародована крестьянская реформа.

— Так вот что такое эта воля! — встрепенулся Некрасов при входе друга. — Вот чего мы ждали! Дождались! Несчастный народ наш!

— Неужели вы ждали другого? — ласково усмехнулся Чернышевский. — Давно было ясно, что будет именно так.

— Нет, нет, такого я не ожидал! Это превзошло все самое худшее, что могло последовать за всеми этими годами...

Они поговорили еще недолго. Некрасов горячился, возмущался; Чернышевский, напротив, был сдержан и молчалив.

Когда он выходил от Некрасова, он чуть не наткнулся у подъезда на незнакомого человека с толстым портфелем в руке. Человек этот так посмотрел на него своими огромными черными, горящими внутренним

светом глазами, что Чернышевский, по близорукости и рассеянности приняв его за кого-нибудь из знакомых, невольно приподнял шляпу и поклонился.

А Сеченов долго стоял еще на том же месте, глядя вслед ушедшему.

«Ну вот, прозевал! Не судьба, значит... Пойду».

И те самые публичные лекции, которые он еще читал до конца академического года, появились под названием «Растительные акты животной жизни» в одном из номеров «Медицинского вестника».

Публичные лекции, лекции в академии, лаборатория, воскресенья у Брандта, субботы у Боткина, встречи с Беккерсом дома, за обедом и изредка по вечерам — так проводил он свои дни, и хандра как будто покинула его: хандрить было некогда, да и события на Руси исключали копания в самом себе.

Несмотря на то, что медицина не была в особом почете у Александра Второго и слушателей Медико-хирургической академии он называл презрительной кличкой «клизтирники», несмотря на еще большую силу так называемой немецкой партии, — дела в академии шли не так уж плохо. Дубовицкий крепко держал в руках административную власть, Глебов и Зинин не пропускали мимо себя ни одного научного вопроса, ни одного нового назначения или увольнения.

11 марта конференция Медико-хирургической академии единогласно избрала Сеченова экстраординарным профессором, а через десять дней Дубовицкий утвердил это избрание.

В последнее время, читая лекции, Сеченов все чаще и чаще наталкивался взглядом на две-три женские головки, терявшиеся среди множества привычных ему слушателей, и невольно подтягивался весь, голос его звучал еще внятней, металлические нотки в нем слышались звонче.

Должно быть, женщины, которые слушали лекции в университете, направили свои стопы в Медико-хирургическую академию. В университете уже давненько было беспокойно — долго сдерживаемое волнение студентов, вызванное целым рядом исподволь проводимых мер, начинало прорываться наружу.

Это был первый этап борьбы учащейся молодежи против правительства.

После того как со второй половины пятидесятых годов в университетах постепенно восстановились опальные дисциплины, появились студенческие корпорации, фактически стали допускаться сходки; после того как аудитории наполнились молодыми чиновниками, офицерами и — чудо из чудес! — женщинами; после того как более половины неимущих студентов были освобождены от платы за обучение, что давало возможность проникнуть в университеты изрядному проценту разночинной молодежи, — после всех этих облегчений правительство спохватилось: а не слишком ли распустили узду?

Сначала студентам категорически запретили выражать свое мнение о профессорах и преподавателях. Потом решено было подчинить университетскую молодежь общей полиции; это значило, что и само здание университета будет находиться под надзором полиции и вне университетских стен за студентами должна следить, с одной стороны, полиция, с другой — университетское начальство. И те и другие должны были доносить друг другу обо всем мало-мальски «подозрительном» и в четыре глаза шпионить за студентами в театре, дома, на улице.

В Московском университете к концу учебного года были выработаны специальные правила — начало тех «матрикул», которые несколько позже послужили толчком для серьезных волнений в Петербурге. Правила запрещали студенческие сборы, публичные речи, обязывали студентов ежегодно говеть и причащаться, запрещали носить усы и бороды, эспаньолки, длинные волосы и даже трости. От платы освобождалось всего по два человека от каждой губернии, и это сразу же ударило по неимущей молодежи. К тому, собственно, и была направлена данная мера — не допустить к высшему образованию «мелкий люд», разночинцев, выходцев из раскрепощенных крестьянских семей. К концу года уже только один процент студентов освобождался от платы за обучение.

Московский врач Захарьин писал в это время

в письме к Белоголовому: «По университету есть важные новости: во-1-х, от взноса денег увольняются не все представившие свидетельство о недостаточности состояния (как было прежде), а только двое с каждой губернии из выдержавших отлично университетский экзамен, и из них один должен быть непременно воспитанник гимназии. Вступительные университетские экзамены будут держаться не в университете, как прежде, а в гимназиях... 50 р. в год, т. е. 200—250 во все время университетского курса, довольно много для бедного человека и, пожалуй, во многом ограничит то право на высшее образование, которое, по Положениям 19-го февраля, приобретают бывшие крепостные...»

Это была очередная подлость лицемерного правительства: на бумаге открыть доступ к высшему образованию крестьянам, а на деле закрыть его.

Упорно ходили слухи, что для женщин, вольнослушателей и офицеров доступ в университет также будет закрыт. И некоторые из немногочисленных женщин, посещавших в ту зиму университет, повернули в сторону Медико-хирургической академии, где слушали лекции Грубера, а из молодых — Сеченова и Боткина.

В это лето Иван Михайлович никуда не выезжал. Ходил в свою лабораторию и, между прочим, занимался вопросом о содержании ядовитых веществ в съедобных грибах. Предлагал заняться этим и Бородину, недавно вернувшемуся из Германии, но тот почему-то не заинтересовался.

А лето и наступившая за ним осень были тревожными.

В Петербурге начали появляться прокламации. Близкий друг и соратник Чернышевского, Н. В. Шелгунов, написал знаменитую прокламацию «К молодому поколению», которая заканчивалась словами: «Готовьтесь сами к той роли, какую вам придется играть... ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря».

Шелгунов прочел прокламацию Михаилу Ларионовичу Михайлову — поэту, беллетристу и переводчику Гейне. Прокламация была длинная, в несколько листов, полная пламенного негодования и горячих призывов. Решили ее печатать в Лондоне, и Михайлов поехал с рукописью к Герцену, в его Вольную русскую типографию.

Это был тот самый Михайлов, который создал себе завидную славу статьями по женскому вопросу, напечатанными в «Современнике». Тот самый Михайлов, который переписал воззвание «К барским крестьянам», написанное Чернышевским. Тот самый Михайлов, который первым из демократов-литераторов пал жертвой от руки царского «правосудия».

Для видимости Михайлов поехал не прямо в Лондон — сначала вместе с Шелгуновым он отправился в Наугейм, на воды, и только оттуда к Герцену. Шелгунов приехал в Лондон позднее, когда прокламация была уже напечатана в шестистах экземплярах. Все дело теперь заключалось в том, чтобы как можно не приметней упаковать эти экземпляры и провезти в Россию.

В одном из лондонских отелей Шелгунов и Михайлов занялись серьезной операцией: отклеили в нижней части чемодана подкладку, аккуратно и ровно уложили туда листы, прикрыли картоном и снова заклеили. Чемодан ничем не отличался от нового, только что купленного — дно было ровное, гладкое, следы «диверсии» обнаружить было невозможно.

Михайлов в августе уехал в Россию, а Шелгунов остался еще по делам в Лондоне. И с нетерпением ждал письма. Наконец оно пришло: все обошлось благополучно, Михайлов провез весь груз и даже передал прокламацию Всеволоду Костомарову для распространения в Москве. Он, правда, предлагал ему целую сотню экземпляров, но Костомаров, сославшись на опасения перед своим братом, который давно требует у него деньги и грозитя донести на то, что он завел у себя печатный станок, взял только один экземпляр...

Роковой экземпляр! Один экземпляр воззвания

«К молодому поколению», попавший в руки предателя, погубил Михайлова, как один экземпляр «К барским крестьянам» в тех же руках погубил Чернышевского.

Шелгунов уже был в Петербурге, когда разнесся слух, что в Москве арестован Всеволод Костомаров. И тогда заговорщики решили спешно заняться распространением прокламации, пока не дошла очередь до них.

Но очередь уже доходила. 1 сентября у Михайлова был сделан обыск. Жандармы перерыли весь дом, подняли половицы, ободрали стенную обшивку и ушли в седьмом часу утра, ничего не найдя. Между тем листовки лежали в туго свернутой пачке за креслом, стоявшим в углу. На этот раз спасло чудо.

Но не следует злоупотреблять чудесами: прокламации должны были немедленно уйти из дома по своему назначению.

Одно дело — напечатать листовки в Лондоне и даже провезти их в чемодане в Россию, другое — распространить в Петербурге, полном жандармов, шпионов и тревожных слухов. Вдвоем было не управиться, а больше о прокламации ни одна душа не знала: каждый из участников революционного кружка действовал в одиночку и сохранял свои действия в глубокой тайне.

На сей раз решили нарушить это неписаное правило: для быстроты и пользы дела посвятили еще двоих — Евгения Михаэлиса (брата жены Шелгунова) и Александра Серно-Соловьевича — брата Николая Серно-Соловьевича, одного из виднейших деятелей «Земли и воли», автора лозунга: «Все для народа и только народом».

Боевая четверка принялась за дело. В увлечении они позабыли осторожность, но «чудо» все-таки продержалось еще некоторое время. Объемистая пачка листов, составлявших воззвание «К молодому поколению», раскладывалась на театральных креслах и в концертных залах, засовывалась в карманы прохожим. Прошел даже слух, что какой-то молодой человек ездил на белом рысаке и направо и налево раски-

дывал прокламации. А в некоторых аристократических, но либерально настроенных домах листы с воззванием передавали лакею, и тот уже вручал их своему бабрину.

Но на этом «чудо» и кончилось: 14 сентября у Михайлова и Шелгуновых снова был обыск, и, хотя ничего компрометирующего, как и в первый раз, не было найдено, Михайлова арестовали.

Это был первый результат предательства Костомарова. А через два месяца, как раз 14 декабря, словно в насмешку над последним призывом воззвания, в «Ведомостях СПб городской полиции» появилась следующая заметка:

«14-го сего декабря, в 8 ч. утра, назначено публичное объявление на площади перед Сытным рынком, что в Петербургской части, отставному губернскому секретарю Михаилу Михайлову высочайше утвержденно мнения Государственного Совета, коим определено: Михайлова, виновного в злоумышленном распространении сочинения, в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти для потрясения основных учреждений Государства, но осталось без вредных последствий по причинам от Михайлова независимым — лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на шесть лет».

Это была первая расправа с человеком, занимавшим известное общественное положение, очень популярным литератором.

Это было начало. Кажущееся благоденствие первых лет царствования Александра Второго развеялось как дым. Началась расправа с революционно настроенными элементами общества. Правительство не спускало глаз с «подозрительных» лиц, агенты Третьего отделения рыскали по Петербургу, прислушивались и присматривались ко всему, что происходит в народе и в так называемом обществе. Все высказывания тех или иных недовольных лиц брались на заметку, за «злостными» устанавливалась слежка.

Чернышевского пока не трогали. Пока что к нему присматривались. Даже донос Костомарова не давал

еще в руки властей достоверных материалов, которые можно было бы предъявить при обвинении, соблюдая все юридические формальности.

К осени слухи, ходившие по городу относительно строгих ограничительных мер к университетам, полностью подтвердились. Пришедшие на занятия студенты были оставлены у входа, и им приказали прежде всего прочитать матрикулы, без которых в университет не будет пропускаться ни один человек. В матрикулах было сказано: женщины, вольнослушатели и офицеры к слушанию лекций не допускаются, студенты должны подчиняться тому-то и тому-то, не делать того-то и того-то, не ходить туда-то и туда-то и т. д. и т. п. Пока все это было изложено только в единственном экземпляре, который с возмущением читали студенты. Когда матрикулы будут размножены, их раздадут на руки всем студентам, которые должны дать подписку, что будут неуклонно следовать всем установлениям.

А до тех пор университет объявлялся закрытым.

25 сентября возле университета группами собрались студенты. Потом эти группы слились в одну, и началась сходка протеста. Она вылилась в демонстрацию такую дисциплинированную и организованную, что трудно было поверить в ее стихийность.

Широкий строй студентов вышел на Невский проспект, где к нему присоединились слушатели военных академий, гимназисты старших классов, группы неучащейся молодежи. Демонстрация направилась к дому попечителя Петербургского учебного округа с требованием открыть университет и начать лекции. Напуганный попечитель обещал выполнить требования.

И в ту же ночь начались аресты.

Это первое открытое массовое выступление студенчества вызвало сочувствие даже той части общества, которая не отличалась либеральными настроениями. И оно послужило первым звончком для начала массового движения студентов, перекинувшегося во многие города России.

11 октября университет был, наконец, открыт. Но студенты отказывались брать матрикулы, и огромная

масса их осталась за дверьми здания. Двери тщательно заперли. Несколько явившихся на лекции профессоров начали занятия с пятьюдесятью студентами. Да и те только делали вид, что слушают лектора, — на самом деле они прислушивались к шуму на улице.

Улица шумела. Молодежь требовала освобождения из-под ареста своих товарищей, отмены матрикул, пересмотра университетского устава. Сходка продолжалась и на другой день. Правительство вызвало войска. Произошло столкновение. И снова начались аресты, на этот раз принявшие массовый характер. Арестованных отвезли в крепость, затем перевезли в Кронштадт и оставили там до решения специальной следственной комиссии.

Следственная комиссия разбиралась недолго: большинство арестованных было уволено с волчьим билетом, многих выслали из Петербурга.

Но кое-чего студенты все-таки добились: 20 декабря университет снова закрыли до пересмотра старого устава.

Тем временем в Медико-хирургической академии шли занятия. По-прежнему по субботам друзья собирались у Боткина. Теперь уже круг гостей несколько расширился — частым посетителем стал профессор Грубер. Обычно он садился поближе к Сеченову, чтобы тот мог разъяснить ему шутки и остроты да и вообще все интересное, что говорилось. Несмотря на многолетнее пребывание в России, Грубер так и не смог свободно овладеть русской речью, поэтому, когда в разговоре попадалось что-нибудь ему непонятное, он тихонько толкал Сеченова в бок, шептал ему одно слово: «Sie!» — и Сеченов приступал к объяснениям.

Эти подталкивания и разговоры шепотом невольно сближали молодого и старого профессоров. Сеченов ничего не имел против такого сближения: Грубер нравился ему своим добрым характером, безудержной, до чудачества доходившей любовью к анатомии, своей необыкновенной работоспособностью и... своей женой.

«В жены этому чудаку бог послал женщину, — вспоминает Сеченов, — с виду тоже немного чудачку, но, в сущности, самых высоких душевных качеств. Своему «Мутцерлю» (так она звала мужа) она была предана столь же беззаветно, как тот анатомии, была его нянькой, зорко следила за тем, чтобы ничто не мешало его занятиям, помогала ему в них насколько умела и нередко просиживала целые вечера в анатомическом театре с чулком в руках, чтобы не оставлять одним своего дитятка. Чистая душа, искренняя, пылкая и храбрая — последнее она доказала на деле, спасая не однажды студентов от опасности, — она называла все вещи своим именем, бранила, не стесняясь, всякую кривду и, наоборот, готова была целовать старого и малого за всякое доброе дело. Уверен, что в случае нужды она стала бы защищать своего Мутцерля с опасностью для жизни... Как жена Грубера, она полюбила и академию за почет, оказываемый ее мужу, и, умирая, завещала едва ли не все свое состояние медицинской академии на стипендии студентам».

В академии Грубер действительно пользовался редким почетом и уважением и мог позволить себе многое, чего не решились бы сделать другие профессора.

Веселый и жизнерадостный Боткин, на редкость легко привлекавший к себе сердца, полюбился Груберу, и он делил свои симпатии между Боткиным и Сеченовым. После недельной работы над трупами он с удовольствием отдыхал в семье Сергея Петровича, окруженного своими многочисленными детьми. А бездетный Грубер питал слабость к маленьким детям, и чем меньше были они, тем больше он к ним привязывался.

Обычно суровый и нахмуренный, здесь он совершенно преображался: брови его расправлялись, морщины сглаживались, он с удовольствием прислушивался к малопонятной беседе и еще с большим удовольствием — к сеченовским переводам ее на немецкий язык. Если Иван Михайлович передавал что-нибудь забавное, Грубер как-то странно, по-детски хи-

хикал, с всхлипыванием и повизгиванием, как будто постоянное пребывание в анатомическом театре совершенно отучило его смеяться. И от этого его смеха окружающие смеялись еще громче, благо истории были смешные и никто не опасался, что Грубер примет веселье на свой счет и — не приведи бог! — обидится.

В одну из таких суббот, в самом начале учебного года, Грубер снова заговорил с Сеченовым о своих «молодых фрау», которыми он несказанно доволен.

— Работают у меня в анатомическом театре, выполняют все нежно, как положено, не то что наши грубые студенты со своими грубыми руками! В университет они теперь не ходят, сами понимаете: женщинам там делать нечего. Хорошо еще, что у нас в академии не гонят прочь этих тружениц. А ведь они труженицы, честное слово, труженицы.

И Грубер умиленно засмеялся, чуть-чуть повизгивая, чем тотчас же вызвал на лице Сеченова ответную улыбку.

— Вот что, герр Сеченов, думаю, пора уж и вам с ними заняться. Женщины это умные, способные и уж до того аккуратные! Я их к вам завтра же приведу, — решительно закончил Грубер, и было ясно, что все похвалы он расточал исключительно для последней фразы.

Иван Михайлович понимающе кивнул — ну что ж, он ничего не имеет против. Еще будучи за границей, он слышал о зародившемся среди русских женщин стремлении к высшему образованию, с глубоким уважением относился к этому стремлению, понимая, как нелегко осуществить его в условиях России. Похвалы Грубера, конечно, произвели должное впечатление — Сеченов не заблуждался насчет требовательности старого профессора, знал, как скуп тот на хсроший отзыв.

Они сговорились, что Грубер на этих же днях приведет в лабораторию Сеченова своих протеже. На прощанье Венцеслав Леопольдович не побрезговал прибегнуть и к неприкрытой лестии:

— Между прочим, герр Сеченов, они обе слушали ваши лекции и в полном, знаете, восторге от них. Они сами мне говорили.

«Как же, говорили они тебе, — усмехнулся про себя Сеченов, — льстишь обыкновенным образом. Будто уж я меньше тебя заинтересован в образовании русских женщин!»

И вовсе он не ожидал, что это случится так скоро.

Он сидел за своим лабораторным столом, подготавливая к опыту очередную лягушку, и сосредоточенно думал. Кто-то посгучал в двери со стороны анатомического театра. Сеченов, не оборачиваясь, ответил:

— Входите.

Потом услышал быструю немецкую речь:

— Вот я и привел их, герр Сеченов.

И Грубер с несвойственной ему поспешностью пересек всю комнату, остановился у стола и несколько театральным жестом указал на дверь.

Иван Михайлович обернулся и тотчас же встал. На пороге стояли две молоденькие девушки и в нерешительности дожидались, когда их пригласят войти.

Собственно, увидел Сеченов только одну, вторая как-то расплывалась в тумане. Глаза его наткнулись на твердый, почти требовательный взгляд чужих глаз. Внезапно он ощутил робость перед этим взглядом. Потом разглядел и самые глаза. Они были странного, не то золотистого, не то серого цвета, и под очень густыми темными ресницами казались мохнатыми.

Позабыв о присутствии второй женщины и о недоумевающем Грубере, он подошел ближе, все еще не отводя своего взгляда. Теперь он разглядел в ее глазах отчетливые черные точки. И, как булавками, эти точки кольнули его; постепенно они проникли в самое сердце.

Откуда это берется, чтобы человек так вот, в одну секунду заболел этой страшной болезнью, называемой любовью? И как странно, что занес ее сюда, в этот храм науки, строгий и добродетельный Грубер!..

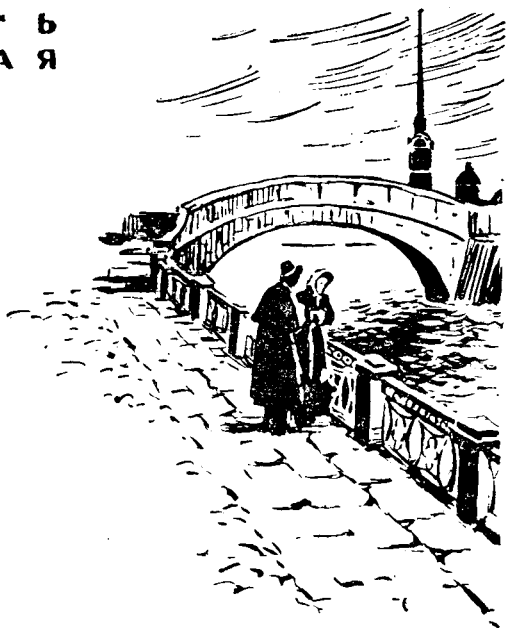
При мысли об этом Сеченов улыбнулся своей обаятельной улыбкой. И мохнатые глаза с черными точечками тотчас же улыбнулись в ответ.

Низко поклонившись обеим женщинам, Иван Михайлович обрел, наконец, дар речи. И все-таки слова его относились только к одной:

— Прошу пожаловать в мою лабораторию.

Он чуть было не сказал: «В мою жизнь...»

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я



Что

ДЕЛАТЬ ?

Двадцать два года назад, в 1839 году, у генерала Александра Афанасьевича Обручева и его жены Эмилии Францевны, урожденной Тимовской, родилась дочь Мария, о чем в книгах Радомской Николаевской церкви, что на Волыни, была произведена соответствующая запись.

Вскоре семья генерала поселилась в Ржевском уезде Тверской губернии, в небольшом имении Обручева — Клипенино.

Александр Афанасьевич Обручев — потомственный офицер — всех своих сыновей пустил по той же

линии. И через положенное количество лет стали они офицерами: Афанасий служил в Польше, Александр— в России, Владимир заканчивал академию генштаба.

Дочь Мария росла с сестрой Анютой, живя то в Ржеве, то в имении. Общество было тут небольшое и малоинтересное, училась Маша дома, так что со сверстниками своими почти не общалась. И очень скучала.

Вокруг Клипенино на много верст ни одного села или хоть маленькой деревушки. Кругом поля и рощи, широкая Волга, а подалее лес.

Наступил такой момент, когда Маша задумалась над тем, для чего, в сущности, нужны ей знания, которые, и в немалом количестве, она получила от домашних учителей? Куда она применит их здесь, в России, где женщина обречена на вечное безделье? Если не считать, конечно, хозяйства, которое ей придется вести, когда она выйдет замуж. Но вот беда: замуж ей совсем не хотелось! Да и за кого? Ближние соседи по имению или знакомые по Ржеву все больше офицеры или молодые помещики—люди совсем ей неинтересные и не вызывающие никакой симпатии.

С матерью она дружила в той мере, в какой думающая, умная девушка может дружить с не старой еще, хорошо образованной матерью. Разумеется, дружба эта не заполняла ее, потребности в умном собеседнике не исчерпывались разговорами с Эмилией Францевной, и к девятнадцати годам она почувствовала себя донельзя одинокой, никому не нужной, ни для чего не пригодной.

Тоска, не покидавшая ее несколько месяцев, немного рассеялась, когда на рождество приехал погостить брат Володя, только что окончивший Николаевскую академию генштаба.

Владимир был высок ростом, хорош собой, офицерская форма очень шла к нему. Машу он встретил словами:

— До чего ж ты изменилась, сестренка!

И она не стала скрывать от него своих мыслей.

Владимир слушал внимательно и вполне одобрительно, ему были понятны и ее скука и желание при-

менить где-нибудь свои силы. В первый же вечер он сказал:

— Вот что, Маша, дела мои тоже неважные. В академии мне, прямо скажем, дали по носу. Словом, оскорбили, и служить я больше не намерен. Для этого и приехал поговорить с отцом. От того, как он отнесется к моей отставке, и для тебя многое зависит.

Он не стал ей рассказывать, почему ее смутные мечтания зависят от отношения отца к его отставке, а она не допытывалась, и на том они разошлись до следующего утра.

В течение первых дней Владимир откладывал разговор с отцом, предвидя неизбежную бурю, но потом решился. Вечером, войдя в кабинет Александра Афанасьевича, он сказал:

— Я, наверно, огорчу вас, отец, но обстоятельства сложились так, что служить мне более не придется. В службе, которая была мне интересна, при выпуске оскорбительно отказали, а чиновничать в лейб-гвардии Измайловском полку я не вижу никакого смысла. Перспектив других нет, да и оскорбление не забывается...

Генерал изумленно смотрел на сына. Как, Володя, тот, на кого он возлагал все свои надежды? Самый умный и послушный сын? Ему неинтересно служить? У него нет перспектив?

С трудом сдерживая закипающий гнев, Александр Афанасьевич попробовал добром отговорить сына.

— Четыре поколения Обручевых служили родине верой и правдой. Четыре поколения отдали ей свою жизнь. Службу они ставили выше своего благополучия, оттого не нажили себе богатства. Государству неинтересны твои личные переживания на службе и то, нравится тебе она или нет, Государству нужны умные, образованные офицеры, которые, не рассуждая, подчинялись бы армейской дисциплине. Я надеюсь, ты одумаешься, Владимир, и поймешь всю оскорбительность этого разговора для меня, твоего отца, который тоже до седых волос верно служил государю.

Генерал говорил сурово и безапелляционно, и Владимир понимал, что, если он сейчас на этом закончит разговор, больше к нему уж не удастся вернуться. Внутренне похолодев от того, что сейчас будет, он сказал:

— Я, собственно, решил уже для себя этот вопрос. Но мне хотелось, чтобы вы...

— Что?! — грозно крикнул Александр Афанасьевич. — Ты решил?! А отец? Отец для тебя ничего не значит?!

Со страхом глядя на побагровевшее лицо отца, опасаясь как бы его не хватил удар, Владимир упрямо повторил:

— Не надо так волноваться. Если бы вы для меня ничего не значили, я бы не приехал говорить с вами. Но я надеялся на понимание, а его между нами, очевидно, быть не может.

На какое-то жуткое мгновение показалось, что отец сейчас ударит его. Но удара не последовало. Генерал молчал, и на сердце сына становилось все тревожней и тревожней. И вдруг:

— Вон! Вон из моего дома!

На этот громовой крик в кабинет вбежала Эмилия Францевна, вскочившая с кровати в ночном чепце и кое-как накинутом капоте. В дверь просунулась испуганная физиономия Анюты, из-за ее головы виднелись горящие возмущением глаза Маши.

Генерал резко захлопнул дверь. Чтобы не слышали дочери, он весь дальнейший разговор вел внятным шепотом. Собственно, разговора уже никакого не было. Эмилия Францевна, заливаясь слезами, пыталась увещевать сына не ослушиваться отцовской воли; Владимир молчал, потупив глаза; а Александр Афанасьевич, шагая от окна к двери и обратно, гневно поводил глазами с жены на сына и саркастически улыбался.

На другой день, рано утром, Владимир в спешке уезжал из Клипенино.

Поймав его в темных сенях, Маша прильнула к его груди и со слезами в голосе зашептала:

— Увези и меня отсюда. Я больше не выдержу

этой жизни. Разве я человек? Я раба. Если только я осмелюсь выразить свою волю, будет то же, что и с тобой...

Владимир поглаживал ее по вздрагивающей спине.

— Отказ от дома, отказ от денег... Словом, полный разрыв. Погоди, голубушка, дай мне поразмыслить. Что-нибудь я и для тебя придумаю. А пока постарайся как-нибудь приехать в Петербург, погостить, что ли, к кому-нибудь. Ведь должны же они вывозить тебя в общество!

На том и распрощались. Маша осталась в Клипенино, окрыленная надеждой и погруженная в размышления, как бы попасть в Петербург. Владимир уехал в полк с твердым решением подавать в отставку.

По пути в Петербург Обручев составил себе план действий. В отставку следует уйти к осени 1859 года, чтобы иметь возможность использовать полагающийся ему за все годы четырехмесячный отпуск. Но на жалованье жить, разумеется, нет возможности, и раз уж отец отказал в поддержке, надо искать работу. Какую? Да какую-нибудь литературную, что-нибудь в толстом журнале, фельетоны, заметки, статьи. Он давно мечтал о журналистской деятельности, двоюродный брат Н. Н. Обручев, редактировавший вместе с Н. Г. Чернышевским «Военный сборник», не раз говорил ему, что из него вышел бы толковый литератор.

Не откладывая дела в долгий ящик, Владимир Александрович тотчас по приезде в Петербург отправился к кузену.

— Ну что ж, с богом! — благословил его кузен. — Начинать приобщаться вместо шпаги к перу. Хотя там, куда я намерен рекомендовать тебя, одно от другого не далеко отошло. Я дам тебе записку в «Современник» к Панаеву — редактору журнала. Он, я думаю, все равно направит тебя к Николаю Гавриловичу. Ну, а там ты и сам знаешь, что говорить.

Владимир Александрович знал. Со слов брата знал он и Чернышевского. Имел и свое суждение,

так как читал его статьи. И робел перед ним, страшился этой встречи чуть ли не больше, чем разговора с отцом.

Случилось все так, как и предвидел Н. Н. Обручев. И. И. Панаев мило встретил его, для формы порасспросил немного и действительно направил к Чернышевскому.

Когда он вошел в квартиру Чернышевского, его поразила убогая обстановка, особенно поразила после богатства и роскоши, которые он видел у Панаева. Его провели в кабинет Чернышевского, и он, смущаясь, молча протянул тому записку. Но когда Чернышевский мягко и добродушно улыбнулся ему, когда тепло сказал: «Рад вам помочь», — робость как рукой сняло, и он заговорил горячо и искренне:

— Я не могу служить в армии и думать, что стану когда-нибудь убийцей своих же русских людей, которые стоят за добро, против зла! Я не хочу быть слепым орудием в руках самодержавия... Я был только что у своего отца и говорил ему, что хочу выйти в отставку. Там я привел причиной свою личную обиду на начальство. Но это не так! Это давно уже не так, верьте мне, Николай Гаврилович! Личная обида — ничто по сравнению с обидой народа. Я много думал, много читал за эти несколько месяцев, и я хочу приносить пользу своему народу, а не быть его врагом...

Чернышевский серьезно слушал, поблескивая под выпуклыми стеклами очков своими добрыми голубыми глазами. Обаяние его облика, его тихой, чуть присвистывающей речи, его серьезного взгляда согрело Владимира Александровича, успокоило его напряженные нервы, и ему показалось, что вот, наконец, он нашел свое пристанище, теплое, тихое, более домашнее, чем в своей собственной семье.

Словно читая его мысли, Чернышевский покачал головой и заговорил о том самоотвержении, которого требует служение народу, о трудности жизни литератора, если, конечно, это литератор не типа Каткова, и, между прочим, о том, что следовало бы ему,

Обручеву, тотчас же заняться изучением английского языка.

— Это очень полезно для вас. Да и для нас. У нас в обществе, к сожалению, так мало еще знают европейскую науку и литературу, а это столь нужное дело в наше время.

Для начала Чернышевский поручил ему составить небольшую заметку, и Владимир Александрович ушел окрыленный и обнадеженный. Он сразу же взялся за английский язык, приложил много усилий и старания и к осени смог уже заняться переводами. Чернышевский поручил ему перевод одной из частей «Всемирной истории» Шлоссера, которую переводило сразу несколько человек и которую сам Чернышевский редактировал.

Первое время после этого знакомства Владимир Обручев жил как в чаду. Шутка ли сказать, он знал теперь не только Чернышевского — этого кумира молодежи, он познакомился с Добролюбовым, с Антоновичем, со всем кругом людей, бывавших у Чернышевского. Его тоже приглашали на вечера, на которых гости Ольги Сократовны веселились и танцевали, а друзья Николая Гавриловича собирались в кабинете и гихо беседовали. В кабинет его, правда, не сразу допустили — первое время он ограничивался «балами» в большой комнате. Но позже он стал частым гостем в кабинете Чернышевского, и уже никакое веселье, никакие танцы не могли его выманить отсюда.

В конце августа 1859 года он получил, наконец, отставку и поселился на частной квартире. Что это была за квартира?! Узенькая задняя комната, полутемная и сырая, но зато абсолютно своя, где никто не мог помешать его работе, его мыслям, его мечтам.

К хозяйке квартиры по ночам приходили «гости», и Владимир Александрович с огорчением думал, что, если Маша и приедет в Петербург, к себе он ее пригласить ни в коем случае не сможет. Однажды к нему пришел Добролюбов — принес работу и денег, — увидел хозяйку, которая открыла ему дверь, и категорически сказал:

— Тут вам жить нельзя, Владимир Александрович. Надо менять квартиру!

Но он все-таки решил перезимовать на старом месте. Все упиралось в отсутствие денег, ибо литературный труд едва позволял не умирать с голоду. Надо было подумать о дополнительном заработке, и он решил подыскать себе выгодный урок в каком-нибудь приличном доме.

И на этот раз выручил Н. Н. Обручев: порекомендовал его в учителя к сыну одного из министров, и к моменту приезда в Петербург сестры он почти расплатился с долгами и стал гораздо лучше питаться.

Маша приехала 4 ноября. Ей просто повезло — не пришлось даже ничего придумывать: летом в Клипенино гостили друзья семьи Мотовиловы, и с ними мать отпустила ее на зиму в Петербург «поразвлечься».

Маша развлекалась, чтобы отвести глаза своим близким. А в свободное от гостей и выездов время потихоньку, сначала в сопровождении брата, а потом и сама, начала посещать в университете некоторые лекции.

Как она была счастлива, пригубив от настоящей жизни! Так бы и не уходила из этих высоких прохладных аудиторий, где она и еще две-три женщины затерялись среди сотен студентов-мужчин.

Так между светской жизнью и университетом провела она четыре месяца и 2 марта вернулась в Клипенино. За эти четыре месяца она наметила свой жизненный путь. Характер у нее был отцовский — твердый, волевой. По-девичьи миленькая, с задорным носом и небольшими умными глазами, серьезно глядевшими на мир, она по облику своему отличалась от всех знакомых барышень.

Но одно дело принять решение, другое осуществить его!

Из недомолвок и намеков Владимира она поняла, что он вращается в кругу передовой интеллигенции, что интересы и цели этого круга чреваты опасностью, что входят в него люди умные и самоотверженные, как и их вдохновитель Чернышевский. Она понима-

ла, что как раз в этом кругу знакомых брата она может встретить сочувствие своим намерениям, а намерения были: заняться медициной, потому что эта гуманная профессия казалась ей наиболее подходящей для женщины.

Вдвоем с Владимиром они разработали довольно простой план: Маша скажется больной, уговорит мать вызвать из Петербурга брата, а тот привезет с собой врача, который предпишет ей столичное лечение и перемену климата.

Вернувшись в Клипенино, Маша ждала лета — раньше Володя не сможет приехать — и к концу июня «заболела». От волнения и тревоги за то, удастся ли осуществить их план, от страха за будущее Маша и в самом деле осунулась и побледнела, и по вечерам у нее иногда появлялся жар.

Эмилия Францевна не на шутку встревожилась. Все спрашивала, чего бы хотелось Машеньке, чем бы развлечь ее, как бы подбодрить. Маша сказала, что ничего не хочет и никого ей не надо, вот если бы любимый брат приехал. Да говорить тут не о чем — все равно отец не разрешит!..

Эмилия Францевна обиделась за отца:

— Что же, ты думаешь, папаша за тебя душой не болеет?

И, недолго думая, поставила перед мужем вопрос ребром: либо Маша умрет от тоски и неизвестной болезни, либо надо выполнить ее желание и вызвать Владимира.

Старый генерал, изнывавший от тревоги о дочери и оттого, что так круто обошелся с сыном, только рукой махнул и, пробормотав: «Делайте как знаете», — ушел в свой кабинет.

И вот в Петербург к Владимиру пришло долгожданное письмо. Обручев крепко любил младшую сестру, его волновала ее судьба, он чувствовал в ней сильный характер, неуклонное стремление к образованию и боялся, зная упорство Маши, что она и впрямь заболит, если не добьется того, чего хочет.

Он уже покинул министра двора — министр вместе со двором уехал на лето из Петербурга — и по-

ступил гувернером к некоему Зарембе. Комнату свою он тоже сменил; жил теперь вполне прилично, в двухкомнатной квартире на 4-й линии Васильевского острова, совсем по соседству с Чернышевскими, переехавшими в середине июля на 2-ю линию, угол Большого проспекта.

Владимир Александрович готов был тотчас же отправиться в Клипенино, но были две причины, задерживающие его. Во-первых, где-то надо было достать денег на проезд и на то, чтобы по возвращении можно было как следует принять Машу; во-вторых, где же взять такого доктора, который не только согласится ехать с ним в деревню, но и захочет участвовать в «заговоре»?

Привыкнув уже советоваться с Чернышевским по серьезным жизненным вопросам, Владимир Александрович и на этот раз отправился к нему.

В новой квартире Чернышевского было просторно, чисто и уютно. Обстановка уже не производила впечатления убожества, народу здесь стало бывать гораздо больше, особенно на вечерах, которые по-прежнему устраивала Ольга Сократовна. Не желая откладывать дела в долгий ящик, Владимир Обручев решил пересидеть всех гостей и переговорить с Николаем Гавриловичем наедине.

В этот летний вечер у Чернышевских собралось только несколько человек: кто был еще на даче, кто в заграничной поездке, кто уезжал на каникулы к себе на родину. Сразу же Владимир Александрович увидел доктора Бокова, с которым недавно познакомился у Чернышевского. Человек необыкновенной, хотя и несколько женственной красоты, с очень правильными чертами лица, с большими ясными глазами и целой копной русых волос, он был подкупающе мил и прост, пользовался огромным успехом у дам и нежной симпатией знавших его близко мужчин. Чернышевский, с которым он познакомился еще в бытность свою вольнослушателем Медико-хирургической академии, искренне привязался к этому честному, экспансивному, но очень доброму человеку, привязался настолько и настолько поверил в него,

что доверял ему лечение своей страстно любимой жены, детей и самого себя.

Боков стал другом семьи, домашним врачом. Двадцати пяти лет он, в 1860 году, вышел в отставку и с тех пор занимался только частной практикой — вполне официально — и выполнял некоторые поручения Николая Гавриловича, связанные с его революционной деятельностью, — совершенно конспиративно.

При виде этого человека у Обручева мелькнула мысль: «Вот он, тот доктор, который нужен мне для Маши!»

Наконец гости разошлись, и Обручев удалился с Николаем Гавриловичем в его кабинет.

— Она мучится там от безделья и тоски, — рассказывал он о Маше, — умная, образованная девушка, она хочет получить настоящее образование, хочет быть полезной обществу, а вы сами знаете, Николай Гаврилович, разве это возможно в крохотном нашем именьеце? И разве отец согласится, чтобы его дочь избрала себе профессию? Разве он отпустит ее учиться? Выдаст замуж — и дело с концом. И погибнет моя Маша, потому что она совершенно не приспособлена по своей натуре быть мужней женой и домашней хозяйкой!

Чернышевский, улыбаясь, перебил его:

— Не так уж плохо быть женой, если муж хороший человек и не делает из своей жены домашнюю рабыню. Горько это, очень горько, — уже серьезно продолжал он, — что женщина у нас на положении рабыни. В семье, как и в обществе, в основу отношений должно быть положено равенство и свобода. Женщина занимает недостойное место, она должна быть равна мужчине. Столько веков палка была перегнута в одну сторону, что выпрямить ее можно, только перегнув в другую. И поэтому каждый порядочный человек, по моим понятиям, должен ставить жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Я понимаю вашу сестру, особенно если она похожа на вас. Конечно, тоскливо ей в родительском уединении, без надежд, без будущего, без настоящего общества. Все больше появ-

ляется на Руси женщин, доказывающих свою общественную ценность. Они уже показали, что развитие мышления и воли для женщин столь же необходимо, как для мужчин. Все больше становится женщин, которые не хотят быть наряженными куклами, выставленными на рассмотрение зевак — кандидатов в мужья. Только близорукие, тщеславные люди могут смотреть на женщину как на существо, стоящее ниже их. Только невежественная чувственность может считать женщин подвластным себе классом.

— Маша никогда не потерпит такого отношения к себе. И, понимаете, Николай Гаврилович, она слишком уж много знает, слишком она многое поняла, чтобы довольствоваться уготованной ей судьбой.

— Не без вашей помощи, — улыбнулся Чернышевский. — Что ж, правильно сделали, только теперь уж надо доводить дело до конца.

— Мы придумали вот что.

И Обручев рассказал о своем незамысловатом заговоре против родителей. К удивлению, Чернышевский встретил его без энтузиазма.

— Мелко это, очень мелко, дорогой Владимир Александрович! И не в том дело, где найти такого доктора, — тут вы правы, Петр Иванович самый подходящий человек. Дело в другом: приедет она сюда на несколько месяцев, послушает лекции в университете, может быть, даже в Медико-хирургической академии, ну, а дальше что? Дальше-то что? Еще горше будет ей возвращаться. Образование надо получить систематическое, специальность надо приобрести не только фактически, но и формально. Только тогда, допущенная к практике, она сможет принести настоящую пользу. Да и другим какой отличный пример!

Они говорили долго и подробно о том, как же осуществить начертанную Чернышевским программу. И под конец, когда все гости уже разошлись, когда в доме улеглись спать, поздней ночью пришли они к окончательному решению: вырвать Машу из-под власти отца может только фиктивный брак.

А через несколько дней, заняв у Зарембы пятьсот

рублей, Владимир Обручев отправился в Клипенино. Не один — с ним вместе ехал доктор Боков, готовый на все решительно, о чем бы ни попросил его Чернышевский.

Но миссия оказалась совсем не трудной. Мария Александровна выглядела и в самом деле больной, измученной, похудевшей. У Бокова сжалось сердце при виде ее. Такая хорошенькая, такая печальная! Хотя, надо сказать, при их появлении она оживилась, даже засмеялась, когда Владимир Александрович шепнул ей на ухо: «Встречай освободителей...»

Мать приняла их ласково и внимательно, отец был сух, но вежлив. Только когда, осмотрев больную, Петр Иванович вышел в гостиную, отец впервые с интересом слушал его:

— Полная перемена обстановки, побольше развлечений и постоянное наблюдение врача.

— Да где же мы это тут возьмем? — встревожилась мать. — Развлекаться Машенька не хочет, ничем не интересуется, да и врача хорошего у нас нет. — И посмотрела на мужа, боясь высказаться до конца.

Но Петр Иванович, который не обязан был знать семейные отношения (хотя отлично знал их) и ни перед кем не собирался ходить на цыпочках, довольно категорично предложил:

— Свезите ее в Петербург, Эмилия Францевна, поживите там. Хоть климат в столице и не ахти какой, но зато атмосфера подходящая.

И он рассмеялся так заразительно и мягко, что даже у генерала вызвал улыбку. Напряженность момента была разряжена. Александр Афанасьевич сказал:

— Если Маша не против, что ж, Эмилия Францевна, поезжай, поразвлеки дочку. А уж врач... врач, я думаю, ее там не бросит. — И он совсем по-своему подмигнул Бокову.

— Нет, ни за что не брошу, — подхватил Боков, — глаз не буду с нее сводить!

Так и решилась ее судьба. Брат с товарищем вскоре вернулись в Петербург, а она с матерью в конце августа выехала следом.

Боков сдержал обещание, которое полушутя, полусерьезно дал отцу Марии Александровны: он действительно не сводил с нее глаз. И глаза эти были такими сияющими, когда он смотрел на нее, что Владимиру сразу стал ясен источник этого сияния: доктор влюбился в свою пациентку. А пациентка живо «выздоровела» и поправилась в Петербурге то ли от климата, который «не ахти какой», то ли от посещения университета и Медико-хирургической академии, то ли от того круга людей, в котором она очутилась.

Вскоре после приезда Маши с матерью к Обручевым пришел знакомиться дорогой гость; Чернышевский, которому доподлинно было все известно, пожелал познакомиться с девушкой, в судьбе которой сыграл и собирался еще играть некоторую роль.

Маша волновалась в ожидании Николая Гавриловича. Но, как и некогда брат, с первой же минуты его прихода была пленена простотой и ласковостью обращения и почувствовала к нему полнейшее доверие. Чернышевскому она тоже пришлась по душе. Поговорив с ней часок, он пришел к убеждению, что ради такой стоит стараться, такая выдюжит, проломится через все стены, а настоит на своем.

— Ну вот, Мария Александровна, мы с вами теперь знакомы. Брат ваш давно стал у нас в семье своим. И вас милости просим с мамашей в гости. Живут у нас две премилые девушки — сестры мои двоюродные, так что молодежь вполне про вас. Братец-то, наверно, про них рассказывал?

В гости собрались в первую же субботу. Попали на танцевальный вечер, повеселились вволю. Перед уходом Чернышевский дал Маше книг, а Ольга Сократовна сказала, что завтра же навестит их.

О болезни Маши не было больше и речи, хотя матери сказали, что лечение далеко еще не закончено. И Эмилия Францевна, нечего делать, 9 декабря 1860 года отбыла в родное Клипенино, оставив Машу на попечение сына, в котором была не слишком уверена, и этого милейшего доктора, в которого поверила безгранично.

Дружба с семьей Чернышевских и Пыпиных наладилась самая теплая: ездили друг к другу в гости, посещали театры и концерты, ходили на публичные лекции. Приходил к Обручевым и Боков, бывали и они званы к нему на чай. Вопрос о фиктивном браке, который предложил в беседе с Владимиром Чернышевский, еще ни разу не поднимался, но все больше становилось ясно Обручеву, что брак если и будет, то настоящий! Хотя как знать — Маша своеиравна, красота на нее может и вовсе не подействовать. Пока что-то не видно, чтобы она увлеклась Петром Ивановичем, но ведь она скрытная. Отношения у них отличные, по совету Чернышевского Петр Иванович занимается с Машей — готовит ее к экзамену из курса мужской гимназии; без того, чтобы сдать экзамены за такой курс, в Медико-хирургическую академию не поступишь. А это было уже решено: Медико-хирургическая академия и — врач. А потом... Что произойдет потом, оставалось еще неясным: в России в то время не было ни одной женщины-врача. Неясно было и то, как, собственно, без разрешения отца Маша поступит в академию. И однажды, когда речь зашла об этом, Обручев рассказал ей о плане, который придумал Чернышевский.

— Фиктивный брак, сестренка, тебя ровно ни к чему не обяжет, — заверял Обручев, чувствуя, что сказать ей о своих сомнениях не может, пусть уж сам Петр Иванович говорит, — зато даст тебе право поступить в академию, не спрашивая отца.

Маша деловито слушала брата и не высказывала никаких возражений.

Что ж, она готова на все, лишь бы избавиться от своего положения бесполезного человека. Она хочет учиться, и она будет учиться. А какая при этом у нее будет фамилия, честное слово, ей совершенно безразлично. Все равно замуж она ни за кого не собирается, семейная жизнь только страшит ее, она предназначила себя для другой доли.

— Ну, а Петр Иванович согласен? — только и спросила она.

— Он — с радостью, мы ведь еще тогда обо всем договорились.

И опять Обручев подумал, что с тех пор многое изменилось и Петр Иванович хоть наверняка не откажется от своего слова, но страдать будет страшно. Ему стало жалко доброго друга. Впрочем, он, может, еще и не влюблен вовсе...

Он, конечно, был влюблен. И не так хотел бы он говорить со своей нареченной, как это пришлось сделать: по-деловому, сухо и лаконично. Но что поделаешь — взялся, значит должен. Она ведь и не интересуется вовсе его личностью и его чувствами. И она права, тут же решил добрейший Петр Иванович, она совершенно права: «Какое значение могут иметь мои чувства в таком серьезном вопросе?!»

Но где-то в глубине души он затаил надежду: может быть, после полюбит.

Семейная жизнь страшила не только Марию Обручеву — все, что было среди молодых женщин передового, смелого, умного, стремилось к общественной деятельности, и семья с ее патриархальным бытом и рабской покорностью, с ее ограниченным кругом интересов и личным благополучием не привлекала девушек, наметивших себе иной путь.

Как-то на лекции в университете Маша Обручева познакомилась с девушкой, с которой потом стала посещать и Медико-хирургическую академию. Девушка была моложе ее на четыре года, некрасивая и курносая, но такая умная, такая симпатичная и такая фанатичная в своем намерении жить только для общества, что Маша невольно покорила ее влиянию и, сама того не замечая, вскоре стала рассуждать совершенно так же, как и она.

Девушку звали Надеждой Сусловой. Была она из семьи бывшего крепостного, ставшего затем главным управляющим у графа Шереметьева. Несмотря на свои восемнадцать лет, она обладала недюжинным умом, отлично разбиралась в вопросах экономики и политики, хотя и говорила об этом сдержанно и немногословно. Брат ее, Василий Прокофьевич,

у которого она и жила в Петербурге, был причастен к революционным кружкам, сестра Аполлинария владела литературным даром и была близка к Достоевскому.

Вот что писала о себе Надежда Сулова товарищу своего брата, беллетристу-народнику, тоже сыну крепостного, Филиппу Диомидовичу Нефедову:

«...Мои дела теперь еще в неопределенном состоянии. С целью завоевать желаемое у жизни я готовилась к бою, к бою за равенство прав. С знаменем, на котором выставлен этот девиз, я бросаюсь в войну с сильными мира сего... Чем это кончится — я не знаю, я знаю одно то, что не положу своего оружия, потому что во мне живет убеждение, что я борюсь за правое дело, от которого позорно отступить. Да, я добьюсь чего хочу у жизни или же откажусь от нее добровольно. Быть рабой случая слишком скотская добродетель, для усвоения которой у меня недостает пошлости.

Меня упрекают знающие меня в односторонности; говорят, что я слишком горячо переношу свои мысли в гражданскую сферу, как-то гнушаясь жизни частной, семейной. И в этих словах много правды. Мне в самом деле как-то гадко замкнуться в маленький мирок семьи, где человек является рыцарем своих частных интересов... Там душно и тесно и сверх всего еще там постоянно гнусная ложь и позорная маска на физиономии.

«Это уродство, искажение природы, — сказали бы мне на это наши современные энтузиасты. — Нужно жить только сердцем».

Какая поверхность взглядов выражается в этих словах! Вот в том-то и дело, что в том и нужно искать широкое сердце, кто бежит оттуда, где так мишурно живут люди. Не думают ли эти энтузиасты, что в том только есть сердце, кто... в ущерб нравственных законов развивает свои грубо эгоистические интересы...

Я смотрю на свое положение теперь еще серьезней: пора твердо встать на почву обетованной земли, чтобы, преследуя судорожно заданную цель,

воскликнуть, наконец, знаменитое слово: «Эврика!»¹

Влияние этой восемнадцатилетней девушки с таким сильным и вполне сложившимся характером было на Марию Обручеву в то время чрезвычайно велико. Вместе с Суловой она решила посещать Медико-хирургическую академию, одновременно с ней стала готовиться к экзаменам из гимназического курса, вместе с нею, преодолевая первоначальное отвращение, работала у Грубера, препарируя трупы. И вместе с ней в начале сентября 1861 года впервые вошла в лабораторию Сеченова.

В это время Сулова писала Нефедову:

«Я с начала нынешнего академического года особенно сильно занимаюсь; цель моя еще точнее определилась: она манит, влечет меня к себе, и я свято, глубоко верю в ее осуществление. Эта вера спасает и оберегает меня в трудные минуты жизни...»

Суловой не надо было прибегать к фиктивному браку: отец ее, образованный и умный человек, сумевший преодолеть для себя все препятствия, которые ставило перед ним положение крепостного, и стать человеком передовых взглядов и широкой эрудиции, рад был, чтобы его дочь получила высшее образование и отдала свои знания на служение народу. Он всячески поощрял ее намерения, а брат Василий, кроме помощи в подготовке к экзамену, «образовывал» ее и в политическом отношении, уверенный, что младшая сестренка с ее характером и способностями окажет в жизни немалую помощь народному делу.

Не то было у Обручевой. Как ни далека была она от мысли о браке, пришлось согласиться. Правда, брак был ни к чему не обязывающим, не кабальным, но, конечно же, ей куда больше нравилось быть такой же свободной, как Надежда Прокофьевна!

В апреле 1861 года Маша и Боков написали в Клипенино Обручевым и испросили их родительское благословение. Благословение не заставило себя ждать: родителям нравился Петр Иванович, и они

¹ Письма Суловой П. П. к Нефедову публикуются впервые. Подлинники хранятся в Пушкинском доме Академии наук СССР.

считали его вполне подходящей партией для своей Маши. Быть может, сказались тут и опасения перед ее характером, таким настойчивым и упрямым, и они, нисколько не подозревая о подоплеке всего этого дела, рады были отпраздновать Машину свадьбу.

22 мая Владимир Александрович с сестрой выехал в Клипенино. После прошлогоднего приезда с Боковым, после того, как по его и доктора совету Маша уехала в Петербург и там «выздоровела» да еще стала невестой того самого Бокова, генерал Обручев стал спокойней относиться к сыну. Не то чтобы он совершенно простил его — обида была глубоко затаена в родительском сердце. Но сын — всегда сын. Ничего дурного об образе жизни Володи отец не слышал, заработков за литературный и учительский труд ему, по-видимому, хватало, и Александр Афанасьевич смирился, здраво рассудив, что, быть может, и на журнальном поприще сын Владимир принесет посильную пользу отечеству. Тем более, что было у него немало неприятностей с младшим — Сашей, страшным повесой и гулякой, долги которого — и не малые — то и дело приходилось оплачивать из своих скудных средств.

Владимир Александрович использовал время, проведенное в Клипенино, для переводов Шлоссера, который в этом году уже начал издаваться отдельными томами. Чернышевский торопил с переводом. «...Вы сам, пожалуйста, не хандрите, — писал он 2 июня 1861 года в Клипенино, — а лучше присылайте нам (хоть через Петра Ивановича или прямо адресуя в редакцию «Современника») перевод Шлоссера, по мере изготовления; об этом усердно прошу вас. Поцелуйте за меня ручку Марье Александровне и передайте глубокое мое уважение вашей матушке».

К письму была приложена приписка Бокова. Он писал, что рассказал Чернышевскому о долге Обручева Зарембе и что Чернышевский просил Серно-Соловьевича выдать Обручеву нужную сумму в счет оплаты за шлоссеровские переводы. Чернышевские переехали на новую квартиру, в Кабинетскую улицу, но номер дома Петр Иванович не помнит, а потому

просит писать на его адрес. И еще одна фраза, ради которой, может быть, и была составлена вся приписка: «Из-за границы известий нет...»

К кому относились эти тревожные слова? К Михайлову ли, который вместе с Шелгуновым уехал «на воды», с тем чтобы потом отправиться в Лондон печатать прокламацию «К молодому поколению»? Или к кому-нибудь другому, кто где-то там, за границей, печатал другую прокламацию — нелегального общества «Великорус», которая появилась летом на улицах и в домах Петербурга? Трудно сказать что-нибудь определенное: до сих пор все еще не до конца выяснено, кто входил в комитет «Великоруса», так глубоко была законспирирована эта организация. Неизвестно также точно, кто составлял прокламации, успевшие быть напечатанными до арестов осенью 1861 года.

Но одно это — то, что вся организация была окутана такой глубокой тайной, — заставляет думать, что идейным руководителем ее был очень опытный революционер и конспиратор. А самым опытным был, конечно, Чернышевский. Так или иначе, общество «Великорус» было с ним связано. Владимир Александрович Обручев, несомненно входивший в его руководящий состав, вспоминал, что именно Чернышевский указал ему путь в жизни и что с Чернышевским он советовался по всем самым важным вопросам.

Первые два выпуска прокламации «Великорус» были написаны неопытной рукой, да и по своему содержанию не отвечали идеям великого демократа: они призывали к истинно конституционной монархии. Но о третьем выпуске известно следующее: Обручев в своих воспоминаниях скупо говорит, что третий выпуск прокламаций должен был быть написан «весьма сильно» и что писать его должен был человек всеми ими уважаемый.

Тревога о заграничных делах не покидала Владимира Александровича во все время пребывания в Клипенино.

В имении была суета: готовились сразу к двум

свадьбам. Приехал из полка старший сын Афанасий — жених бывшей гувернантки Анюты — Полин. Обеим невестам шили наряды, готовили приданое, довольно скудное по тому времени, составляли списки угощений, хотя свадьбы должны были пройти очень скромно.

Мария Александровна, которой претили все эти приготовления, однако не показывала вида, как мало они ее интересуют. Приезда жениха она ждала без внутреннего трепета: для нее он был просто «освободителем». Не то чтобы жених был ей неприятен или совершенно безразличен. Вряд ли нашлась бы женщина, которую не пленила бы красота и душевная чистота доктора Бокова. Да и по характеру своему Мария Александровна не склонна была уступать то, что принадлежало ей, и потому она все-таки ждала его приезда. Чувство особенной защищенности, которое ей внушала мысль о замужестве, вызывало в ее душе благодарность к Петру Ивановичу, и она глубоко верила, что этот не совсем обычный брак с таким человеком не будет для нее чреват никакими неожиданными.

В конце июля Владимир Александрович отбыл в Петербург под предлогом, что им с Боковым надо заняться подысканием подходящей квартиры.

По дороге, в Ржеве, Обручев купил только что вышедшую книжку «Современника»; в ней была напечатана вторая часть «Полемиических красот» Чернышевского. И, углубившись в это новое замечательное творение своего учителя, он доехал до Петербурга.

Чернышевского Владимир Александрович нашел в удрученном состоянии: болезнь отца, Гаврила Ивановича, которого он нежно любил, принимала угрожающие формы. Чернышевский, знакомый с Боткиным через доктора Бокова, посоветовался с ним о состоянии отца, и Боткин заочно прописал рецепт. Поначалу лекарство подействовало, и Гаврила Иванович прислал сыну бодрое письмо. Но Боткин неожиданно встретил это известие весьма скептически. Он отлично понимал, что лекарство не могло сразу же оказать своего действия, что улучшение состояния больного исходит от

его веры в действие лекарства и что долго такое положение не продержится.

Вконец расстроенный Чернышевский собрался в Саратов.

Как раз в это время, в августе, перед отъездом Чернышевского, Обручев встретился с ним в последний раз.

Боков к приезду Обручева уже наметил квартирку, вполне подходящую для их не совсем обычной жизни с будущей женой. Квартирка находилась в доме Ханыкова, Эртелев переулок, № 5, и состояла из нескольких комнат, разделенных на две половины большой залой. Владимир Александрович одобрил квартиру. Боков дал хозяевам задаток и поспешил в Клипенино на свадьбу.

Был ли он счастлив? Страдал ли он от мыслей о фальшивости этой свадьбы? Или, избалованный успехом у женщин, надеялся на перемены в отношениях с Марией Александровной, на то, что этот брак, задуманный как деловое предприятие, перейдет со временем в настоящую супружескую жизнь?

Вспоминая чуть удлинённый и слегка выдающийся вперед подбородок невесты — признак несомненной воли, упрямые складки вокруг ее губ, умный, решительный взгляд, ее твердое намерение идти по однажды намеченному пути, он понимал, что она принадлежит к людям, знающим, чего они добиваются от жизни. Но, думая о редко уловимом выражении грусти и тоски в ее глазах непонятого цвета, о тихом тоскующем голосе, каким она ответила на его «деловое» предложение, он понимал и другое: как бы там ни было, она остается женщиной и, пусть совершенно подсознательно, ждет и хочет настоящего чувства. Надо только суметь внушить ей любовь — она к ней готова. Женщина, которая не забывает аккуратно расчесать кокетливую челку над белым высоким лбом и уложить в локоны свои недлинные русые волосы, — такая женщина не может быть создана только для работы.

Он решил быть терпеливым и внимательным, не навязывать ей — боже упаси! — своих чувств и

ждать. Ждать, пусть год, пусть два, пусть много лет, пока чувство привязанности в Марии Александровне не переродится в подлинную страсть.

Было ли это самоуверенностью с его стороны? Петр Иванович не обольщался насчет силы своего характера: он знал, что отличается чрезвычайной мягкостью и легко поддается влиянию более сильных людей. Но он знал и другое: не было такого человека среди его знакомых, который бы плохо к нему относился. А женщины?.. Он не прилагал никаких усилий, чтобы покорять их сердца, он ровно ничего не делал, чтобы нравиться им, и сколько его, однако, любили! А теперь одна-единственная, которую полюбил он — он чувствовал: полюбил на всю жизнь, — она... она смотрит на него как на орудие для достижения своей высокой цели, и он должен отныне подчинить всю свою жизнь, свои поступки, душевные движения, настроение тому, чтобы заставить ее увидеть в нем любящего, преданного человека.

В таком настроении приехал он в Клипенино, где был встречен родителями невесты ласково, прислугой — восторженно (и тут сказалось влияние его обаятельной внешности), невестой — спокойно и суровато. Ся старался быть неназойливым в эти последние часы своей холостяцкой жизни и, кажется, вполне преуспел: Мария Александровна расправила нахмуренные брови, разгладились складочки в уголках рта, глаза улыбнулись ему заговорщицкой улыбкой. В ответ он счастливо рассмеялся.

20 августа семья Обручевых отпраздновала обе свадьбы¹: Афанасия и Марии. В маленькой церкви Погоста Кокоши священник совершил обряд венчания. И в тот же вечер Мария Александровна и Боков уехали в Петербург.

На сердце у Эмилии Францевны было неспокойно. Материнский инстинкт подсказывал ей: что-то не со-

¹ Дата венчания М. А. Обручевой с П. И. Боковым почерпнута из рукописного дневника Э. Ф. Обручевой, хранящегося в Московском отделении архива Академии наук СССР. Ранее не публиковалась.

всем ладно в свадьбе ее дочери. А что? Она и сама не могла бы сказать толком. Просто казалось ей, что Маша не выглядит счастливой женой, дождавшейся, наконец, своей свадьбы, как не выглядела она нетерпеливой невестой в ожидании приезда жениха. Можно, конечно, и не придавать этому особого значения: она знает свою дочь, ее сдержанность, ее скрытность, ее нелюбовь выставлять напоказ чувства и переживания. Но те переживания, те чувства, так хорошо спрятанные от всех глаз, — но не от глаз матери! — которые ей удалось уловить, не были похожи на все, что привыкла находить Эмилия Францевна у влюбленных девушек, что было в ней самой, когда она двадцать семь лет назад венчалась со своим Александром Афанасьевичем.

Она все выискивала утешения, уговаривая себя, что не было у Маши никаких иных причин, кроме любви, чтобы так поспешно выходить замуж, что опасения остаться «старой девой» никогда не волновали ее дочь, что до недавних пор она и не помышляла о замужестве. Не было и не могло быть никаких причин, кроме любви... Но и любви не было — в этом Эмилия Францевна, как ни успокаивала себя, была совершенно уверена.

И, проводив в спальню сына с женой, поцеловав на ночь мужа, она осталась сидеть в глубоком уютном кресле и все думала и думала. Что же происходит в жизни ее Маши и чем же помочь ей, если закравшееся в сердце подозрение правильно и жизнь молодоженов сложится совсем не так счастливо, как этого следовало бы ожидать?!

Утешив себя тем, что Петр Иванович никогда не обидит жену, да и Маша сама не даст себя в обиду, она так и заснула в этом кресле, не раздеваясь, слегка поеживаясь от ночного холода. И снилось ей, что она качает внука — Машиного сыночка — и теплое тельце ребенка, такое родное и любимое, мирно покоится на ее коленях.

Она неловко повернулась во сне. С колен ее спрыгнула кошка, недовольная, что потревожили ее сон.

Когда Грубер представил своих протеже: «Фрау Бокова и фрау Суслова» — и отправился, наконец, в анатомичку, Иван Михайлович все еще не пришел в себя от внезапно охватившего его волнения.

Девушки тем временем осматривали нехитрое оборудование почти еще пустой лаборатории. Та, с мохнатыми глазами — ее-то и звали Боковой, — что-то тихо спрашивала у другой — курносой, симпатичной особы, которая страшно серьезно ей отвечала.

Бокова... Значит, это и есть жена того самого красавца, с которым Иван Михайлович однажды встретился у Боткиных. Что-то он слышал об этом необычном браке, какие-то таинственные слухи дошли и до него. Значит, это она и есть. А может быть, просто однофамилица? Помнится, есть еще и другой Боков, ветеринар, старший брат этого, зовут его, кажется, Павел Иванович. Может быть, его дочь?

— Машенька, — позвала тем временем Суслова, — поглядите-ка сюда.

Машенька — очаровательное имя. Но как бы узнать ее отчество?

— Простите, как прикажете величать вас? — шутя спросил Сеченов.

Ага, значит одну зовут Надежда Прокофьевна, а другую — Мария Александровна. Нет, не дочь и не сестра. Значит, так и есть — жена.

Но что же там толковали о фикции? Разве возможно, чтобы такая женщина, живя под одним кровом с этим красавцем, была ему фиктивной женой?!

Сообразив, что слишком увлекся совершенно несвойственными ему мыслями и что молчание его становится просто неприличным, Иван Михайлович подошел к лабораторному столу и спросил:

— Так над чем же вы обе намерены работать?

Так начался первый день их занятий в лаборатории Сеченова.

Оказавшись, так сказать, в двойном знакомстве с семьей Бокова: с одной стороны, встреча с Петром Ивановичем у Боткина, с другой — занятия с Марией

Александровной, Сеченов довольно скоро стал бывать и у них в доме. Боков был неизменно радушен, рассказывал, что они с Машей сейчас занимаются из гимназического курса, чтобы подготовиться к сдаче экзаменов. Сеченов предложил и себя в репетиторы, похвалившись, что имеет инженерное образование и довольно силен в математике.

Предложение было принято Боковым с нескрываемым удовольствием, его женой — сдержанно. И теперь уже по долгу Иван Михайлович чуть ли не ежедневно заходил в Эртелев переулок, не смущаясь расстоянием от своего дома, которое ему приходилось преодолевать.

Мария Александровна была неизменно вежлива, как ученица проявляла себя способной и понятливой, как женщина не замечала (или делала вид, что не замечает) затаенных взглядов, которые бросал на нее Сеченов.

Быть может, такие вполне официальные приятельские отношения между Сеченовым, его ученицей и ее мужем затянулись бы на неопределенное время, если бы неожиданные события не разразились внезапно над головой Бокова и близких ему и его жене людей.

Сентябрь 1861 года, богатый революционными событиями, был одновременно и началом правительственной реакции. Воззвание «К молодому поколению» вызвало арест Михайлова, что, однако, не приостановило действия тайных кружков, распространявших прокламации. В сентябре появилась прокламация «Великорус», первый ее выпуск, а вслед за ним и второй.

И Обручев и Боков занимались распространением листовок, и тот и другой все это время были настороже. Быть может, поэтому муж и брат Марии Александровны были довольны тем, что в доме появился такой друг, как Сеченов, которому, в случае чего, можно было бы доверить судьбу Марии.

«Случай» не заставил себя ждать.

4 октября Владимир Александрович, закончив рассылку по почте оставшихся листов «Великоруса», пошел к Серно-Соловьевичу отвезти очередную порцию

перевода Шлоссера. От Серно-Соловьевича он в отличном настроении сел на извозчика и поехал к сестре обедать. В 9 часов, после приятно проведенного вечера, на котором Маша рассказывала о своих успехах в науках и о том, как интересно работать в лаборатории у Сеченова, Владимир Александрович отправился домой, на Васильевский остров.

Кто-то остановил извозчика. Кто-то попросил Обручева выйти из пролетки. И кто-то, оказавшийся жандармским офицером, на том же извозчике отвез его в Третье отделение.

В тот же вечер у себя дома на глазах у взволнованной Марии Александровны был арестован и Боков. Вскоре его, правда, отпустили на поруки, но угроза суда и ссылки отныне камнем висела над ним.

В этот день Мария Александровна не явилась в академию. Не пришла она и на другой и на третий день. И тут Сеченов не выдержал и отправился к Боковым.

Квартира в Эртелевом переулке была пуста. Встревоженная служанка, заливаясь слезами, рассказала об аресте Петра Ивановича, о том, как он вернулся домой, и об аресте Обручева.

— Сейчас пошли на свидание к Владимиру Александровичу.

— Оба? — спросил Сеченов, пораженный услышанным.

— Обои, — подтвердила прислуга. — Подождете, может?

Ждать или не ждать? Удобно ли это? До него ли им? Решил, что нет, ждать не следует, если Мария Александровна сочтет нужным рассказать ему о своих бедах — сама расскажет.

Обручев, которому в Третьем отделении предъявили все распространенные им листки, был оглушен. Так вот как, вот для кого они старались, вот кого пытались просветить, вот ради кого рисковали свободой и жизнью? Все эти люди — предатели, доносчики...

Владимиру Александровичу, из которого еще не успел вылепиться опытный конспиратор и революционер, для которого распространение прокламации «Ве-

ликорус» было, в сущности, первым революционным делом, и в голову не пришло, что предатели сидели на почте, что чиновникам было поручено вскрывать подозрительные конверты и передавать содержимое Третьему отделению.

Потрясенный Обручев решил любыми путями предупредить тех, кто должен был «весьма сильно написать» третий выпуск, чтобы не губили себя ради такой публики. Удобней всего это было сделать через Бокова. И на третий день после ареста Обручев потребовал свидания с сестрой и зятем.

Свидание дали. Боков, едва вошел в приемную, тотчас же приложил палец к губам. Однако им удалось перекинуться несколькими словами, из которых Обручев узнал, что и Боков получил сведения о том, что все прокламации «Великоруса», распространенные Обручевым, находятся в Третьем отделении.

Петр Иванович, через друзей спросив у Чернышевского, может ли он продолжать бывать у него, на что ему было отвечено, что все в их отношениях должно оставаться по-прежнему, отправился к Николаю Гавриловичу. Чернышевский не удивился — уже давно видел он, как сгущаются тучи над головами его друзей и над его собственной. Он перевез семью на новую квартиру, на Большую Московскую улицу, но дома в эти дни почти не бывал — все время проводил у постели умирающего Добролюбова.

Дни Добролюбова были сочтены. Он мучительно страдал от слабости и болей, знал, что умирает, стал раздражителен. Только два человека действовали на него успокаивающе: Чернышевский и Авдотья Панаева, самоотверженно ухаживавшая за больным.

Теперь уже двери дома Чернышевского не были постоянно открыты для всех — только близких людей принимал он ежедневно, остальным же, желавшим его видеть, была назначена среда, и в этот день приходило очень много народу.

В ночь с 16 на 17 ноября Добролюбов скончался. Для Чернышевского это была третья утрата дорогого человека за последний год: смерть маленького сына,

смерть горячо любимого отца и смерть самого дорогого и близкого друга, почти брата — Добролюбова.

Слежка, установленная за ним, не оставалась для него тайной. Николай Гаврилович знал, что каждый его шаг известен охранке, что каждое написанное и напечатанное им слово вызывает еще большее против него озлобление, мог подозревать, что даже те слова, под которыми не стояла его подпись, отлично известны правительству.

В начале декабря Петр Иванович Боков был вызван в Сенат, где ему объявили, что дело его передано суду, что привлечен он по делу о составлении и распространении прокламации «Великорус» и что лучше всего ему во всем признаться, чтобы смягчить наказание, ибо правительству все о нем известно и пощады ждать нечего.

Боков отлично понимал, что ничего о нем определенного неизвестно: иначе его не отпустили бы на поруки, как это сделали, а держали бы в заключении, как Обручева, который был уже переведен из Третьего отделения в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

В этот же день в Сенате читался приговор Михаилу Михайлову. Петр Иванович смешался с толпой, стараясь держаться поближе к проходу, чтобы послать последний привет этому замечательному человеку. Увидеть его, однако, удалось только тогда, когда после прочтения приговора его вывели в прихожую.

Вся длинная прихожая, вся площадка и значительная часть лестницы были заполнены народом. Многие выбегали из толпы, пожимали Михайлову руки, женщины плакали. Петр Иванович, с трудом сдерживая предательские слезы, молча подошел к Михайлову и обменялся с ним крепким рукопожатием.

В этой напряженной трудной атмосфере Сеченов был ясным лучом в доме Боковых. Не посвящая его в подробности событий, Петр Иванович, однако, не скрыл, что у Обручева дела почти безнадежны и что он тоже пока не знает, чего ему ждать. Не о себе волнения его — Иван Михайлович понимает, — о ней,

о его дорогой жене, которую с каждым днем он любит все сильнее и сильнее.

Сеченов, не терпевший никаких излишних, сам не умевший ни одной женщине признаться в любви, не осуждал Бокова за откровенность — при таком положении, он понимал, что это неспроста. И обещал себе — незачем было говорить об этом Бокову, тот по-видимому, и сам понял, — твердо обещал быть плечом и опорой для Марии Александровны в трудные для нее дни и в те дни, которые, быть может, будут еще труднее.

Ей и в самом деле было очень трудно. Любимый брат, которому она была так многим обязана, — в тюрьме; муж, которому она обязана не меньшим, — отпущен на поруки; родителям ни о чем не известно.

Она решила не сообщать отцу и матери о горе, которое потрясло над Володей, до тех пор, пока остается еще хоть малейшая надежда на оправдательный приговор. Надежды, в сущности, не было — об этом знал Боков, это понимала и Мария Александровна. Но она продолжала надеяться: мысль о родителях приводила ее в отчаяние.

Ее крепкая мужская воля особенно проявилась в эти месяцы. Она продолжала посещать лабораторию, не оставляла и домашних занятий. Она была, как всегда, сдержанна и серьезна и старалась ни в чем не отставать от Сусловой, втайне завидуя ее благополучию.

В последний месяц года Сеченов решил дать своим прилежным ученицам самостоятельные темы. Быть может, Мария Александровна и не настаивала бы сейчас на самостоятельной работе, но Сулова прямо-таки требовала ее, и — нет, она ни за что не покажет, что ей сейчас вовсе не до опытов! Как, вероятно, и не до лаборатории вообще... Хотя, кто может сказать, почему она продолжает посещать лабораторию и лекции, почему прилежно решает математические задачи дома? Только ли потому, что до смерти не хочется быть хуже Надежды Прокофьевны? Или, может быть, тут другое?

Об этом другом она твердо решила не думать. Это другое было запретным и страшным. Не потому стра-

шным, что запретным, а потому, что не может, не может она даже в мыслях обидеть Бокова — такого доброго, такого самоотверженного, такого внимательного и чуткого. И такого по-женски слабого. Она это уже поняла: и слабохарактерность его, и чувствительность, и необыкновенная мягкость не от силы — от слабости. Ну что ж, воли и характера у нее станет на двоих.

Ни разу не дала она понять Сеченову, что догадывается о его душевном состоянии, ни разу не сделала ни одного шага, могущего поставить их чуть-чуть на другую ногу. В разговорах с ним она избегала душевности, а иногда, чувствуя его незащищенность перед собой, становилась особенно официальной и сухой.

А Сеченову жилось неуютно. Он честно выполнял взятые на себя обязательства домашнего учителя. Он пристально следил за успехами своих учениц по физиологии и счел уже возможным поручить им пусть легкие, но все-таки самостоятельные темы. Темы эти требовали немного подготовки и много сообразительности — чего хватало у обоих; и главное, могли быть выполнены в домашних условиях.

С этой стороны все было в порядке. Непорядок существовал у него в душе. Часто бывая в семье Марии Александровны, он имел все основания считать, что брак этот если и был поначалу фиктивным, теперь уже совсем не тот. Это чувствовалось в едва приметных интонациях голоса Марии Александровны, в новом, почти счастливом, несмотря на все прочие события, блеске глаз Петра Ивановича, во всей атмосфере дома, где, казалось бы, нечему радоваться, а между тем радость нет-нет да и промелькнет, как слабая зарница в предгрозовом воздухе.

Впрочем, для него от этого мало что изменилось: неумолимый закон не делал разницы между браком фактическим и фиктивным, и, если бы даже Мария Александровна, по странному капризу судьбы откликнулась на его чувство, выхода для них не было.

Если бы откликнулась... Но она не откликалась, вот в чем главная беда! Она относилась к нему с той

ровной симпатией, которая с самого начала установилась между ними. Только иногда, в крайне редких и казавшихся ему призрачными случаях, он вдруг ловил на себе ее смятенный взгляд, полный такой невыразимой горечи, такой безысходности, что у него мурашки пробегали по спине. Стыдись, что уловил этот взгляд, вовсе не для него предназначавшийся, словно бы под дверью подслушал чужую тайну, он невольно откланивался и торопился уйти.

И еще угнетали его отношения с Петром Ивановичем. Знает ли этот доверчивый человек, с такой теплотой и дружественностью относящийся к нему, знает ли он, что Сеченов отдал бы все на свете за то, чтобы украсть у него любовь жены?! Перед самим собой нечего ему кривить душой: не задумываясь, украл бы, только бы она захотела быть украденной.

И еще было обстоятельство, угнетавшее его. Совсем прозаическое, но прямо связанное с тем, что наполняло теперь все его помыслы. Он, профессор академии, по-прежнему не мог похвастаться, что в кармане у него бывает больше десяти рублей. Он все еще был в долгах и все еще нуждался. И не беда — он-то к этому привык. Но если случится несчастье с Петром Ивановичем, если Мария Александровна останется без средств к жизни, чем он сможет помочь ей?

Очевидно, придется поступиться своим отвращением к медицинской практике — чем только не поступился бы он? — ибо это единственное, что может дать ему возможность на первых порах поддержать Марию Александровну, чтобы она могла доучиться и выбраться на самостоятельную дорогу. Он знал ее непреклонную гордость, знал, что заставить ее брать деньги будет куда труднее, чем заработать их. Но об этом он решил не думать — придет время, выход найдется сам собой. А уж если заниматься практикой, то о какой Академии наук может идти речь?

И, не раздумывая, он отрекается от своей карьеры во имя призрачной возможности поддержать в трудную минуту любимого человека.

22 декабря 1861 года Сеченов написал в Академию наук:

«Совершенно неожиданные семейные обстоятельства заставляют меня думать, что в скором времени я буду вынужден искать значительного усиления моих теперешних материальных средств в жизни. При этом условии честное выполнение обязанностей, лежащих на каждом из членов Академии наук, если бы я удостоился высокой чести принадлежать к их числу, было бы для меня невозможным. Поэтому я и имею честь покорнейше просить Конференцию Академии исключить меня из числа конкурентов на место адъюнкта по кафедре физиологии.

И. Сеченов».

Мосты сожжены. Он не поддастся ни на какие уговоры, которые не замедлят последовать. Вопрос для него решен твердо и непреклонно.

Уговоры, конечно, последовали: к Сеченову приехал академик Миддендорф, сам старик Бэр выразил сожаление по поводу его отказа. Но дело сделано, он об этом не жалел.

Быть может, это был опрометчивый шаг с его стороны. Как показало будущее, действительно крайне опрометчивый. В Академии наук его письмо вызвало неприязненное отношение к молодому ученому, что не замедлило сказаться через год, когда освободилось место Бэра и академия вновь объявила конкурс на замещение должности ординарного академика: общественное мнение, печать единодушно называли имя Сеченова, но академия припомнила его прошлогодний отказ, и Сеченов не был даже зачислен в кандидаты.

Чем яснее была безнадежность положения Владимира Александровича, тем беспокойней становилась его сестра. Она все еще посещала лекции—не столь аккуратно, как прежде; она заканчивала работу с красными очками, порученную Сеченовым, и могла уже приступить к написанию выводов; по вечерам она уже не так внимательно занималась подготовкой к экзаменам—нервы у нее были напряжены, и гимназические науки плохо лезли в голову.

Вечерние встречи проходили теперь больше в молчании—говорил только один Петр Иванович, Сече-

нов слабо поддерживал разговор, а Мария Александровна и вовсе отмалчивалась.

Ей надо было решить нелегкую задачу: как и когда сообщить родителям об аресте Володи. Она знала, что здоровье отца сильно пошатнулось, знала, как болезненно реагирует Эмилия Францевна на любые горести своих детей; то же, что Маша должна была сообщить им, было настолько из ряда вон выходящим, таким страшным в своей неожиданности, что она просто боялась, как бы это сообщение не убило их.

Посоветовавшись с мужем и Сеченовым, она решила продолжать скрывать от них положение Владимира, пока окончательно не станет известно, на что он будет осужден.

Эти долгие вечера, иногда втроем, чаще вдвоем с Сеченовым, несколько не бодрили, не улучшали тревожного настроения. Ее критический ум, склонный к анализу, давно уже сравнивал двух, самых близких для нее людей, и сравнение было не в пользу мужа. Ее смятенное существо тянулось к сильному характеру, к крепкому плечу, на которое можно было бы опереться. Боков при всей своей необыкновенной доброте не мог оказывать ей нравственной поддержки — он и сам находился в тревоге о своей собственной судьбе, любил пожаловаться и поволноваться вслух, и получалось так, что не он — она стала для него опорой. Сеченов же, неизменно ровный и рассудительный, если не считать того едва приметного волнения, которое Маша угадывала в его глазах, когда они обращались к ней, не только спокойно взвешивал обстановку, но и рисовал планы будущего, чем и как следует заняться, куда обратиться, чтобы сделать попытку облегчить участь Обручева. И эта его четкость в отношении к происходящему казалась Маше землей обетованной по сравнению с нервным напряжением Петра Ивановича.

Не могла она и не знать о чувствах Сеченова к ней, хотя и тут он был так же сдержан и ровен, как и во всем другом. И с некоторых пор она стала с ужасом замечать, что малейшее его опоздание вызывает в ней страшную тревогу, что всякий нюанс в его настрое-

нии тотчас же передается ей, что, если в один прекрасный вечер он перестанет смотреть на нее своими огромными черными глазами так, как смотрит теперь, она почувствует себя самым несчастным человеком в мире.

И однажды она задала себе прямой вопрос: «Ну, а если бы это над головой Ивана Михайловича висела та угроза, которая повисла над головой мужа, так ли я была бы спокойна, как теперь?» Она содрогнулась мысленно — не только потому, что представила себе такую возможность, но и потому, что ее содрогание само за себя говорило: Сеченов стал ей много дороже, чем просто друг, ближе, чем муж.

Это открытие испугало ее, а она была не из пугливых. Как же так? Кто же она такая? Только что вышла замуж за одного, казалось бы, полюбила его, и вдруг за такой короткий срок настигает ее другое чувство. Да и было ли то, что она питала к мужу, настоящим чувством? Она не обольщалась на этот счет: ее пленила сначала самоотверженность Бокова, потом она легко поддалась его обаянию и мягкой доброте; потом, напуганная его арестом, еще более напуганная, когда он вернулся и рассказал ей об аресте Владимира, она вдруг почувствовала себя птицей, подстреленной сразу из обоих стволов, и в нервной лихорадке, почти в истерике, стала неожиданно для самой себя настоящей женой Петру Ивановичу.

Но она не любила его, теперь в этом не было сомнений.

Голым, ничем не приукрашенным предстало перед ней ее настоящее: выйти замуж без любви, ради того, чтобы обрести себя в жизни, проникнуться затем нежной симпатией к собственному мужу в ответ на его преданную любовь и, не любя этого мужа, полюбить другого и всеми помыслами стремиться к нему!

Она стала угрюмой и молчаливой, и Боков приписывал это ее волнениям за него и за брата. А Сеченов — Сеченов старался ничему не приписывать ее изменившееся настроение, ее похудевшее, ставшее еще тоньше лицо и еще более строгий, избегавший его взгляд. Он ничему это не приписывал, потому что ему

раньше их обоих стала ясна истинная причина ее превращений.

Это была в его жизни первая ответная любовь. Мог ли он ее не увидеть?!

Иван Михайлович все больше и больше загружал свое время, чтобы не иметь лишней минуты на раздумья. После разгрома студенческого движения, после массовых арестов и заключений в крепость, после высылки и исключений с волчьим билетом в университете осталось совсем немного студентов. Но те, кто уцелел от разгрома, не дремали: был создан студенческий комитет для организации публичных лекций в помощь пострадавшим студентам. Лекции согласились читать многие общественные деятели, ученые и литераторы, в том числе Чернышевский и Сеченов.

Сеченову разрешение было дано, Чернышевскому в нем отказали. Этого и следовало ожидать — реакция усиливалась, полицейские круги насмерть испугались возможности снова допустить «главаря революции» к публичному общению с молодежью. Вот-вот ожидали приговора по делу о распространении прокламаций «Великорус».

2 февраля Мария Александровна решилась, наконец, известить родителей об аресте Владимира, и отец тотчас же примчался из Клипенино просить о помиловании сына.

В Эртелевом переулке поселилось смятение и горе. 27 февраля приговор был вынесен: суд сената приговорил Владимира Обручева к лишению всех прав состояния, каторжным работам на пять лет и вечному поселению в Сибири. Этот же суд в тот же день вынес оправдательный приговор Бокову.

Вернувшись ни с чем в Клипенино, генерал Обручев тяжело заболел. Мария Александровна собиралась уезжать к матери.

Внезапно Сеченов принял решение. Остаться на положении третьего в семье, поглощенной своим горем; не иметь возможности даже сказать о своих чувствах ввиду их полнейшей несвоевременности; понимать, что любимой женщине его присутствие приносит

только страдания; нести в себе этот самым им возложенный крест было невмоготу.

Уехать! Уехать на год, на два, только бы забыться на время. Нет, он не надеялся, что чувства его изменятся, — он знал, что, кем бы он ни стал для нее со временем, а может быть, и никем не станет, она навсегда останется его единственной звездой.

«Донесение И. М. Сеченова президенту С.-Петербургской медико-хирургической академии о прекращении чтения публичных лекций.

9 марта 1862 г.

Честь имею донести вашему превосходительству, что по непредвиденным обстоятельствам я принужден прекратить публичные лекции в Думе.

И. Сеченов».

И второе прошение — о командировке на год за границу.

«Из протокола Конференции Медико-хирургической академии о командировании И. М. Сеченова за границу.

10 марта 1862 г.

Рапорт экстраординарного профессора по кафедре физиологии Сеченова об отправлении его за границу по сентябрь месяц 1863 г. для ознакомления с новейшими открытиями по его предмету.

Конференция Академии, признавая и с своей стороны необходимым г. Сеченову отправиться за границу для указанной цели, определила просить через г. президента Академии разрешения г. военного министра на увольнение г. Сеченова за границу с окончания настоящего учебного года по сентябрь месяц 1863 г. с сохранением получаемого им содержания и с выдачей ему 1200 руб. сер. из суммы, собираемой за дипломы, выдаваемые Академией».

Вот и все. Теперь уже нет обратного пути, даже если бы он хотел на него свернуть. До конца года оставалось почти три месяца. Ехал Сеченов за границу с определенным намерением — заняться опытной проверкой открытия Эдуарда Вебера о влиянии раздражения блуждающего нерва на движение сердца. Ра-

ботать собирался в Париже, у Клода Бернара, искуснейшего вивисектора, первостатейного физиолога, у которого недавно слушал лекции Боткин.

И, помимо своей повседневной работы в лаборатории, Сеченов начал готовиться к новой, задуманной им теме.

14 мая Владимира Обручева привезли в Сенат для оглашения приговора. Срок каторжных работ был сокращен до трех лет, все остальное оставалось в силе.

А через два дня в Петербурге начались пожары. Горели дома между Апраксиным рынком и Троицкой, на Малой и Большой Охте, на Литейной и на многих других улицах. Пожар охватил город со всех концов, пожарные команды металась из края в край, на улицах толпились несметные толпы народа, тревога и ужас охватили петербуржцев. На Невском пахло гарью, облака дыма носились в воздухе. Мчались экипажи, переулки были забиты народом, мосты оцепила полиция.

Ветер сделал борьбу с пожаром почти бесплодной. На улицах толпились погорельцы, солдаты оцепляли сгоревшие дома, остатки мебели и домашнего скарба валялись на каждом шагу. Было жутко и больно смотреть на это.

И вдруг по городу поползли зловещие слухи: «Петербург подожгли студенты и поляки... Революционеры истребили имущество людей и погубили множество жизней... Бей их!»

Реакция больше не считалась с общественным мнением — разгул ее превзошел все, что знали петербуржцы даже в предыдущее царствование. Общественные места, где могли встречаться интеллигентные люди, даже воскресные школы и народные читальни, даже шахматный клуб — все было закрыто. Начали запрещать газеты и журналы.

Душно становилось в столице. Душно становилось и в Медико-хирургической академии — люди стали бояться друг друга, всюду мерещились шпионы и предатели, каждый уходил в свою скорлупу, каждый боялся довериться другому.

Душно было и в квартире Боковых в Эртелевом

переулке. Подавленное настроение, натянутость и тягостное молчание царили здесь. Петр Иванович не знал, что и сделать, чтобы развеселить немного свою Машу, робел под ее суровым взглядом, вздыхал по вечерам и очень неумело заискивал перед ней.

Видя, что его присутствие почему-то раздражает жену, он стал все чаще уходить по вечерам. И в один такой вечер пришел Сеченов.

Мария Александровна была одна, сидела, забравшись с ногами в угол дивана. Горела на столике свеча, лежала на подушке нераскрытая книга.

Он вошел без доклада, тихо, неслышно, и она вскрикнула от неожиданности. И бросилась к нему, изменив своей выдержке. Он опустил низко голову, чтобы не дать заметить, что видел ее растерянность.

— Мария Александровна, пришел вот проститься, — только и сказал он.

— И вы?!

— Надо ехать. Надо работать. Надо исчезнуть...

Она боялась спрашивать. Она боялась услышать то, что так хотела слышать. И чтобы разрядить невыносимую атмосферу, она начала рассказывать ему свой сон, в котором и он занимал какое-то место. Снилось ей, что бежит она по длинному-длинному пространству, испещренному глубокими рвами, и через каждый ров ей надо перепрыгивать. А рвы глубокие и страшные. Где-то там, вдали, у самого горизонта, стоят ее родные, и друзья, и Суслова, и он, Сеченов. Они ждут ее, зовут к себе, а она все скачет и скачет, и вот уже последний, самый глубокий ров, его надо перепрыгнуть, а она уже выдохлась, не может рискнуть, не может решиться...

Она рассмеялась нехорошим, натянутым смехом. Сеченова передернуло.

Чтобы сказать что-нибудь, спросил:

— Так и не решились?

— Нет.

— Не похоже что-то на вас.

— Я и сама сейчас на себя не похожа.

Надо было скорее уходить. Не то он за себя не ручался. Он вынул из кармана сюртука крохотную

фотографию, подошел к маленькому дамскому столу.

— Хотел оставить вам на память собственную мою личность. Кто знает, когда еще придется свидеться. Вот сейчас надумал надпись сделать...

Он протянул ей карточку. На обороте мелким разборчивым почерком было написано: «Желаю, чтобы вид этой карточки внушал вам мысли о решительности»¹.

3

Суслова сдала экзамены на аттестат зрелости. Суслова, первая из русских женщин, будет теперь принята в Медико-хирургическую академию на правах студентки. Суслова добьется своего — в этом нет никаких сомнений.

А она? Способна ли она, пренебрегая личными горестями, так же твердо и неуклонно идти к намеченной цели?

Суслова совсем не похожа на женщину; в жизни ее интересует только наука постольку, поскольку через науку она, Суслова, сможет стать равноправным членом общества и приносить ему посильную пользу. Ее целенаправленность смежна с ограниченностью — нельзя же, в самом деле, совсем отречься от себя, от личной жизни, от жизни близких своих. Нельзя превращаться в некий сухой концентрат общественных идей, которому чуждо все человеческое.

Она так не может. Ей присущи все слабости и увлечения обыкновенной женщины. И, наконец, не виновата же она, что именно на ее семью свалились все эти ужасы, выбившие ее из седла!.. Она, конечно, тоже будет добиваться осуществления своих стремлений, но не отменяя с пути человеческие чувства, а стараясь примирить их со своими высокими целями.

В глубине души Мария Александровна понимала,

¹ Фотография хранится в Московском отделении архива Академии наук СССР.

что неправильно, пристрастно судит о Сусловой. В глубине души она преклонялась перед несгибаемой волей Надежды Прокофьевны, преклонялась и завидовала, в чем ни за что не призналась бы себе.

Ну что ж, все еще впереди, и она сдаст эти распроклятые экзамены и тоже поступит в академию, если только к тому времени противники женского образования не закроют доступ женщинам в ее стены.

Пока что Мария Александровна уже закончила новые опыты, на этот раз с зелеными очками и собиралась посылать их Сеченову, в Париж, на просмотр. Она и сама чувствовала, что получились эти опыты, а главное, выводы из них гораздо слабее и неполноценней, чем первые — с красными стеклами. Сказалась суматошность ее жизни за последние месяцы, нервность, перешедшая теперь в постоянную сосущую тревогу, горести, навалившиеся на нее за короткое время.

Суслова тоже закончила свою работу и тоже намеревалась отправить ее за границу учителю. И, просмотрев труд подруги, Мария Александровна увидела, насколько работа Сусловой выглядит серьезней и обоснованней ее работы.

Была середина июня, когда Мария Александровна взялась начисто переписать свой маленький труд, чтобы вместе с письмом — отличный предлог для письма, которое давно уже хотелось написать! — отправить его далекому другу, о котором с самого его отъезда она так ничего и не знала.

В Петербурге было тревожно и напряженно. 19 июня правительство запретило издание «Современника», закрыв его на восемь месяцев. Слухи об аресте Чернышевского циркулировали по городу, каждый раз в новом варианте.

И Чернышевский и его жена знали, что рано или поздно это случится. После закрытия «Современника» стало ясно, что теперь случится скоро. Чернышевский срочно отправляет Ольгу Сократовну с детьми в Саратов. Это было 3 июля. А 7-го Чернышевский был арестован у себя дома в присутствии Бокова и Антоновича. Предлогом для ареста послужила запи-

ска Герцена к Серно-Соловьевичу, в которой он писал: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве — печатать предложение об этом? Как вы думаете?»

Этих слов оказалось достаточно, чтобы реакция сочла себя вправе арестовать «главаря революции», удовлетворив необходимые юридические требования. Была, правда, надежда найти что-либо компрометирующее при обыске; но, поскольку эта надежда не оправдалась, пришлось жандармерии придумывать новые «доказательства» антиправительственной деятельности Чернышевского. «Доказательства» были созданы с помощью предателя Всеволода Костомарова, подделавшего по предложению Третьего отделения провокационные письма к разным вымышленным лицам. Времени на весь этот спектакль понадобилось немало: надо было подготовить лжесвидетелей, подтасовать факты, составить подложные письма, выдумать «улики» — словом, получить «юридическое право» разделаться с вождем освободительного движения. Постановка была сложной, но режиссер оказался опытным: Александр Второй показал себя мастером в подобного рода спектаклях.

Боков в вечер ареста Чернышевского вернулся домой совершенно убитый. Из его больших красивых глаз то и дело скатывались слезы, голова была опущена, руки дрожали — не от страха за себя, а от великой боли и жалости за друга и учителя своего.

А на Марию Александровну такая немужская манера переживать горести действовала удручающе — какой настоящий мужчина будет распускать нюни в такую минуту?! Надо было действовать, надо было что-то придумывать, а он... Ее раздражала его чувствительность и его казавшаяся ей чрезмерной доброта, раздражала эта мягкая пассивность во всем — будто ждет, пока няня возьмет его за ручку, и тогда уж пойдет без сопротивления, куда поведут. Теперь он лишился этой «няни», что-то он будет делать?..

Ее, впрочем, все теперь раздражало. В своем состоянии она становилась несправедливой и придир-

чивой, видела в муже только дурное, с изумлением спрашивала себя, как же она раньше ничего этого в нем не замечала? Или замечала, но не придавала значения? А как вел бы себя на его месте Сеченов? Что бы сказал и что бы стал делать? Уж, наверно, не выставлял бы напоказ свое горе и не сидел бы сложа руки в ожидании, что же будет дальше.

Она не видела и не хотела видеть, что и Боков не сидит сложа руки. Он все чаще уходил куда-то по вечерам, и эти таинственные уходы тоже раздражали ее.

А между тем при всей своей мягкости и женственной чувствительности он был далеко не трусом. Вся его последующая жизнь показала это: он не побоялся добиться свидания с Чернышевским в крепости, не побоялся, зная, что и за ним следят, оставаться участником тайного общества «Земля и воля», переписывался с Чернышевским, когда тот находился в Сибири, и, не задумываясь, поехал к нему в Астрахань.

Мария Александровна обо всем этом так никогда и не узнала. Что-то в их отношениях заставило его теперь скрывать от нее многое, и даже на гражданскую казнь Чернышевского он отправился без нее.

Петр Иванович не отличался ни высоким умом, ни особенной наблюдательностью. То, что происходило в сердце его жены, долго еще оставалось для него тайной. Он только видел, что к нему она стала менее снисходительной, и это угнетало его, и он стал чувствовать себя дома неудобно. Ему казалось, что для Маши лучше, если он меньше будет попадаться ей на глаза, и он старался как можно реже бывать дома, а когда бывал — не докучать ей своими разговорами.

Мария Александровна почти нигде не показывалась. Она жила своей собственной жизнью, жила ожиданием письма из-за границы.

Уже давно отправила она в Париж до востребования, как и было договорено, толстый пакет со своей работой и, разумеется, с письмом, сдержанным и

ни в какой мере не отражающим ее истинных чувств, и до сих пор не получила ответа.

Заглушив свое самолюбие, она написала снова и твердо решила, что это будет последней весточкой от нее, если Сеченов и теперь не откликнется.

Ответ пришел быстро, и все ее тревоги рассеялись.

«Вообразите себе мое горе, Марья Александровна, получаю вчера ваше письмо, еду на почту за тем, которое вы прислали в июле., а его уже нет. Мне сказали, что, судя по времени, оно уже давно должно быть отослано назад в Россию. Делать нечего, соберитесь с терпением и снова пришлите трактат об зеленых очках. Для фиолетовых я вам искал здесь стекол; но до сих пор не нашел ничего, что бы могло удовлетворить требованиям. Во всяком случае, я еще не потерял надежду на удачу; поэтому советовал бы вам подождать еще делать опыты с этим цветом. Возьмите лучше синий и прежде всего определите возможно точнее, какие из спектральных цветов пропускаются стеклами, которые вы будете употреблять для опытов. А еще лучше будет, если вы оставите опыты до моего возвращения, а начнете теперь держать экзамен из гимназического курса. По мне, этот экзамен для вас больше, чем половина дела. Кончивши его, вы можете уже без задней мысли отдаться медицине хоть на десять лет. Дело же ваше со временем будет непременно выиграно, на свете ведь не все Дубовицкие да Глебовы¹. Простите, что я вам все советую. Вы, конечно, понимаете, что это не из желания менторствовать. Ваши работы я перевел на немецкий язык, и в скором времени они появятся в печати. Надеюсь, что это обстоятельство не до такой степени встревожит вашу щекотливую совесть, чтобы вы рассердились на меня. Если же да, то заранее прошу прощения самым смиренным образом. Не сердитесь же, Марья Александровна, нам нужно быть друзьями, притом в моем поступке только и

¹ Дубовицкий и Глебов были противниками допущения женщин к высшему образованию.

есть дурного, что он сделан без вашего спроса. Эти просьбы о прощении относятся, разумеется, и к Н. П. Сусловой. Прошу же вас передать их ей от меня — вместе с тем поздравить ее с окончанием гимназического экзамена. За ее будущность опасаться нечего: маленькие трудности жизни она, конечно, перенести сумеет.

О себе сказать почти нечего. До начала сентября ничего не делал, рыскал из угла в угол и скучал донельзя. Теперь сижу за делом, и тоска пропала. В Париже останусь, вероятно, до марта. Поеду потом в Вену, а в мае буду, вероятно, уже в Петербурге, потому что к тому времени проживу все свои деньги.

Прощайте, Марья Александровна, будьте здоровы, счастливы и не забывайте преданного вам И. Сеченова...»¹.

Она тотчас же ответила, благо догадалась оставить себе копию трактата о зеленых очках. И сразу же получила от него второе письмо.

«10 октября (1862 год), Париж.

Я получил ваше письмо и ваши опыты с зелеными очками, Марья Александровна. То и другое было прочтено с большим вниманием и большим удовольствием. Опытам вашим я вполне верю, потому что дело чрезвычайно просто, но нахожу их недостаточными, т. е. неполными. Вот почему. Из последних опытов, когда паралич был полный, следует, что слепые к зеленому свету видят в спектре то же самое, что и слепые к красному (желтый и синий). Между тем, должна же быть между ними какая-нибудь разница. Все ваше исследование должно было клониться к тому, чтобы определить эту разницу. То есть исследовать глаза во время полного зеленого паралича совершенно под теми же условиями, какие вы имели при красных очках. Ваши результаты я сохраняю, а по моем приезде в Россию мы вместе пополним недостатки.

¹ Письма Сеченова к М. А. Боковой публикуются по подлинникам, хранящимся в Московском отделении архива Академии наук СССР.

Я знаю из верных источников, что опытами с красными очками остался доволен сам Гельмгольц.

А что вы, сударыня, не пишете ни слова о себе? Ходите ли в Академию и вообще как поживаете? Что касается до меня, то мои дела идут здесь очень хорошо: занят теперь вопросами чрезвычайно интересными, которые обещают много результатов. Живу по-прежнему без общества, но скучать перестал. В Париже пробуду, вероятно, до апреля. Поеду потом месяца на полтора в Вену и оттуда в Петербург. Причиной моего раннего приезда будет, во-первых, недостаток денег, во-вторых, желание повидаться летом с родными в Симбирской губернии.

Если будет охота и время, то сделайте мне великое удовольствие, написавши несколько строчек. Будьте здорова, счастлива и не забывайте преданного вам И. Сеченова».

Ах так, он «скучать перестал»! Очень мило с его стороны. Ну, так и она постарается не скучать о нем, благо дел у нее сейчас много и энергию есть куда приложить.

Но уже через четыре месяца она поняла из письма Сеченова, что он именно скучает и очень хочет поскорей вернуться. Правда, за эти четыре месяца и ее письма стали немного менее сдержанными и нет-нет, а проскальзывало в них ее глубоко запрятанное чувство. Их переписка стала пространней и сердечней, и, что больше всего ее пленяло, он писал о своей работе охотно и подробно, будто она понимала что-нибудь в его науке и он каким-то образом мог ждать от нее мнения и считаться с этим мнением. Конечно, никакого мнения она не высказывала, радовалась только его успехам да поговорила с Петром Ивановичем — не похлопотать ли у Некрасова, чтобы работа, которую он сейчас пишет, была опубликована в «Современнике».

Сеченов чутко оценил эту заботу, хотя от печатания отказался.

«11 февраля (1863 г.), Париж.

Благодарю вас, Марья Александровна, за память, а Петра Ивановича за хлопоты по моим делам у Не-

красова. Условия, предлагаемые последним, я нахожу выгодными, но принять их еще не могу по следующим причинам.

Опыт показывает, что писать популярно я не умею. По крайней мере вещь, которая у меня имела быть популярною, вышла совсем не такою. Начал за здравие, кончил за упокой. Впрочем, я не теряю надежды выучиться этому искусству. Тогда мы и заведем речь с Некрасовым, а теперь пока дело должно приостановиться. Мне очень отрадно слышать, что вы не унываете, несмотря на пошленькие препятствия, которые вам делают для поступления в академию. Выгнать вас из нее не посмеют, и я думаю, что с терпением можно будет взять с боя вступление в студенчество. Во всяком случае, слабость не следует, потому что вы защищаете общее женское дело. Жду с нетерпением времени, когда у меня израсходуются деньги и я буду принужден вернуться в Россию. Тогда примемся за зеленый цвет. Теперь же я начинаю большую работу с животной теплотой, которой мне хватит, вероятно, на целый год. Дела, как видите, у меня будет в будущем году много, и едва ли хватит времени на занятия популярной физиологией. Тем не менее пренебрегать этим источником доходов не следует, потому что кто знает будущее...»

Письмо это пришло в Петербург в разгар польского восстания. Один за другим выходили из столицы царские полки на усмирение восставших поляков. Играя на шовинистических чувствах части общества, реакция сумела переманить на свою сторону значительное число вчерашних либералов, но и революционные деятели не сидели сложа руки: в феврале появилась прокламация тайного общества «Земля и воля» — тайное общество достаточно явно проявило свое существование. Прокламация была написана хорошим литературным языком, призывала к самоопределению наций, к помощи свободолюбивому польскому народу.

Польское восстание было потоплено в крови. Когда все уже было кончено, поляки усмирены и руко-

водители восстания были взяты в плен, Сеченову пришлось столкнуться с диким, варварским отношением русского царизма к борцам за национальную свободу.

«В Литве в числе взятых в плен польских повстанцев оказался подпоручик русской службы Малевич, — вспоминает Сеченов, — контуженный во время стычки в голову и привезенный в Вильну в бессознательном состоянии. По распоряжению Муравьева он был подвергнут в госпитале целому ряду испытаний на притворство; а когда пробы не дали ясного ответа, то вся история испытаний была прислана Муравьевым в медицинскую академию на рассмотрение и заключение. Рассмотрение всего дела академия поручила Балинскому, Боткину и мне.

По доставленному нам журналу испытаний они заключались в следующем:

За дверью комнаты, где лежал больной, денно и ночью дежурили посменно фельдшера, наблюдая за ним через маленькое отверстие в двери.

Больной не просил есть — и его не кормили.

Больной не выпускал мочи — и его не катетеризировали три дня, так что пузырь растянулся до пупка.

Больного неожиданно окачивали ледяной водой — ежился, дрожал, но не просыпался.

Ему подводили под верхнее веко закрытых глаз иголку и щекотали ею поверхность глаза — спазматически жмурился, текли слезы, но не просыпался.

На голое тело капали расплавленным сургучом — отдергивал руку, но не просыпался.

Не довольствуясь этим, Муравьев выписал из Кенигсберга тамошнего профессора хирургии Бурова на консультацию с госпитальными докторами. Профессор решил, что вопрос может быть только решен трепанацией черепа в месте контузии.

Не знаю, почему наш знаменитый государственный муж, удостоившийся даже памятника в Вильне, не решился на эту пробу; не знаю также, какое значение было придано им нашему решению и послал ли бог смерть больному Малевичу в госпитале или он выздоровел и был повешен по выздоровлении».

Испанская инквизиция в период своего расцвета могла бы позавидовать таким пыткам! Вся деятельность Муравьева, прозванного потомками Вешателем, показала с наглядностью, что он ни в чем не уступал рыцарям средневековых застенков.

В эту тревожную весну, когда одна часть мракобесов вопила на всю Россию «Бей поляков!», а другая избивала их, когда, с другой стороны, тайные кружки революционеров-демократов из глубокого подполья через печатное слово призывали народ к борьбе против шовинизма и мракобесия царского правительства, — в эту весну Сеченов вернулся из-за границы, полный своими открытиями, создавшими в дальнейшем русской науке мировую славу, желанием во что бы то ни стало осуществить, наконец, свой давний замысел — показать каждому мыслящему человеку материальную сущность его природы — и полный любовью к Марии Александровне.

Он съездил к родным в Теплый Стан, вернулся в Петербург и все лето просидел за писанием «Рефлексов головного мозга».

Приехав в столицу, он снял себе трехкомнатную уютную и хорошо обставленную квартиру в Эртелевом переулке, дом Шландера, № 2, что на углу Малой Итальянской улицы. И как раз напротив квартиры Боковых.

С деньгами стало полегче — подоспела Демидовская премия, полученная им в июне. Он мог позволить себе теперь обзавестись прислугой, обедать дома и не думать ежеминутно о хлебе на завтрашний день. И он с наслаждением отдался этому отдыху от нужды, увлеченно погрузился в писание своей гениальной работы.

Это не мешало ему каждую свободную минуту отдавать Марии Александровне.

После его возвращения ясно стало для обоих, что бороться далее бессмысленно, что они любят друг друга и нечестно скрывать это от себя и от Петра Ивановича.

Рассказать ему обо всем Мария Александровна не торопилась. Но из их теперешних отношений он

и сам мог сделать выводы. И, сделав их, он молча покорился.

Что за странный человек! Марии Александровне даже досадно было — до чего же он без борьбы отступился от нее. А ведь она знала, что безмерно дорога ему, знала, как больно ему все, что сейчас происходит, и не могла понять, не могла смириться ни с его покорностью, ни — вот уж нелогичность женская! — с его отношением к Ивану Михайловичу.

Казалось, не было на свете человека, кроме, конечно, Чернышевского, к которому Петр Иванович Боков относился бы с таким преклонением, как к Сеченову. Не будучи о себе высокого мнения, считая свою жену, доставшуюся ему нечаянно, намного умнее и тверже себя, он понимал, что если и есть в мире человек, способный подчинить ее своей воле, своему мужскому обаянию, так именно Сеченов. И не ему, простому лекарю, ничем не примечательному, бороться против силы и гения Ивана Михайловича. Он не переставал любить свою Машу, не переставал беспокоиться о ее жизненных удобствах и был, пожалуй, более всего уязвлен, когда она отказалась принимать от него деньги.

Однажды решив, что она порывает с мужем, Мария Александровна сознавала всю унижительность своей материальной зависимости от него и, отказавшись от этой зависимости, занялась переводами.

К этому времени относится начало новой «моды», возникшей среди русских издателей: переводы естественнонаучных сочинений иностранных авторов пользовались таким большим спросом, что петербургские издатели начали бурно выпускать их.

Занялся выпуском переводной литературы и Владимир Онуфриевич Ковалевский. Сеченов и Бокова предложили ему переводить немецких физиологов, и с этого началось их знакомство, перешедшее затем в дружбу на долгие годы, до самой трагической смерти Ковалевского.

Субботы, как и прежде, Сеченов проводил в мужской компании у Боткина.

Знаменитые теперь боткинские субботы начинались в 9 часов вечера и кончались иногда в 4—5 утра. Здесь бывали медики, писатели, артисты, музыканты. Здесь впервые встретились и сошлись Александр Порфирьевич Бородин и Милий Балакирев, бывший сначала у Боткина пациентом. Сюда заходил Владимир Васильевич Стасов и профессор физиологии Якубович. Постоянным гостем бывал тут профессор судебной медицины Е. В. Пеликан, основоположник русской токсикологии, бывший оппонентом Сеченова при защите им докторской диссертации и оказавший большое содействие в предоставлении молодому ученому кафедры физиологии в Медико-хирургической академии. В будущем ему суждено было сыграть некоторую роль в жизни Сеченова, которого он искренне любил и ценил.

Боткин, к тому времени уже профессор академии, снискал себе быструю и заслуженную славу гениального терапевта и диагноста. Особенно выросла его известность после 1863 года, когда он поставил редчайший прижизненный диагноз закупорки воротной вены. Было у Боткина множество завистников, всячески пытавшихся очернить его в глазах общества, но еще больше было друзей. И на боткинских субботах тех лет перебивал чуть ли не весь интеллигентный Петербург.

Осенью этого года Сеченов читал много публичных лекций, хотя и зарекался от популярной физиологии; лекции он читал в большинстве бесплатные, в пользу бедных студентов академии. Он был полон энергии, и его хватало и на то, чтобы одному или совместно с учениками заниматься опытами по физиологии нервной системы, читать курс лекций в академии, заниматься переводами с Боковой.

Судьба ее и судьба их отношений тревожила Сеченова. Мария Александровна сдала уже экзамен во 2-й мужской гимназии, но все меньше времени оставалось у нее на учебу: надо было зарабатывать на жизнь, потому что ее щепетильность и ее представления о человеческом достоинстве не позволяли ей пользоваться материальной помощью ни от свое-

го формального мужа, ни от любимого человека. Сеченов настойчиво требовал, чтобы она перестала надрываться над переводами, с охотой помогал ей умолял, чтобы она, ну, заняла бы у него денег, но она упорно отказывалась.

И вдруг — или не совсем вдруг — в начале 1864 года вышел запрет женщинам слушать лекции, как в академии, так и в университетах.

Снова, и теперь надолго, перед русскими женщинами захлопнулись двери высших учебных заведений.

Сеченов, утвержденный уже ординарным профессором, использует свои связи и хлопочет за обеих учениц. Хлопоты его остаются без ответа. Тем временем обе — и Бокова и Сулова — решают дать подписку, что по окончании академии готовы ехать в киргизские степи; тамошний губернатор, как стало известно, хлопотал о посылке в край женщин-врачей и акушерок, так как магометанки отказываются от помощи медиков-мужчин и смертность среди них невообразимо высока.

Убедившись, что хлопоты Сеченова ни к чему не привели, Мария Александровна написала прошение военному министру с просьбой допустить ее на третий курс академии в качестве своекоштной студентки, с тем чтобы в дальнейшем уехать в любое место, куда ее направит начальство.

26 мая 1864 года в ответ на это прошение президент Медико-хирургической академии Дубовицкий подписал следующий документ:

«От президента Императорской Медико-Хирургической Академии на поданное женою доктора Марией Боковой Военному Министру прошение о разрешении ей вступить в Медико-Хирургическую Академию своекоштною воспитанницей, по приказанию его Превосходительства, объявляется, что положением о Медико-Хирургической Академии не разрешено ей принимать лиц женского пола в число своих воспитанников и допускать к посещению лекций и что по новому уставу для университетов лица женского пола не принимаются также в число воспитанников,

а по утвержденным для каждого из университетов правилам оне не допускаются даже к посещению лекций в числе посторонних слушателей, а потому означенное прошение Боковой не может быть удовлетворено».

Это был удар, которого они смутно ждали, но к которому не были все-таки подготовлены.

Надежда Прокофьевна Суслова довольно просто решила вопрос: несколько месяцев углубленной домашней подготовки вдобавок к знаниям, приобретенным в академии, и в феврале 1865 года она уже писала Нефедову:

«Все читаю, учусь, все поумнеть хочу, очеловечиться и вот, покуда, все. Очень скоро я выезжаю за границу — доучиваться. Оттуда возвращусь года через 2—3. Тогда нужно будет начинать какое-нибудь дело посерьезней: мои симпатии и антипатии настолько определились, что я уже знаю в общих чертах свое будущее...»

В это время она уже была взята под надзор полиции «за открытое сочувствие нигилизму и за сношения с неблагонадежными лицами», в том числе и с Чернышевским. И она уехала за границу поступать в Цюрихский университет.

Что было делать Марии Александровне? Ее материальные дела целиком зависели от ее собственных заработков. Ее семейные дела... От чего зависели ее семейные дела?

Никто не знал о том, что произошло в ее семье. Менее всего знали об этом родители. И менее всего она хотела, чтобы они хоть что-нибудь заподозрили. Слишком много горя выпало на их долю за последние годы. Отца эти горести подкосили так, что, видимо, оправиться ему уже не удастся.

Она не могла причинять им еще большее горе — это значило убить стариков.

Летом, на даче, которую снял Сеченов на берегу Невы, они не раз говорили на эту тему.

Но что мог сказать Иван Михайлович? Он понимал, что наступила пора решать кардинальный вопрос: что же им дальше делать? И еще понимал, что

менее всего решение этого вопроса зависит от него.

Мария Александровна уже не была женой мужа, но еще не стала женой возлюбленного. Стать ею официально не было никакой возможности: развод мог быть разрешен только в том случае, если было бы доказано ее «прелюбодеяние». Но согласись она даже на все ужасы, связанные с этим, результатом было бы только церковное покаяние и запрещение вступать в новый брак.

Петра Ивановича, по-видимому, вполне устраивало то, что в глазах общества они все еще составляют единую семью. В душе он надеялся, что как-нибудь дело обойдется и Маша вернется к нему.

Сеченов был готов на все. Его здравый ум подсказывал, что из них троих он находится в лучшем положении: куда тяжелее тому, кого покинули, и трижды тяжелее той, которой предстояло сделать выбор.

Поездка за границу, где он мог бы работать, а она учиться, казалась ему лучшим выходом. И он написал об этом своему дорогому учителю Карлу Людвигу. Он писал, что готов выйти в отставку из академии, готов забросить свои ученые дела, готов работать кем угодно, хоть лаборантом, лишь бы женщина, ставшая для него всем, была хоть немного счастлива.

Людвиг ответил тотчас же:

«Дорогой Сеченов.

Спешу сообщить вам те сведения, которые мне удалось получить относительно акушерского института. Чтобы учиться на акушерку в Вене, необходимо поступить в институт, руководимый проф. Шпетом и состоящий при одном из отделений городской больницы. Желающие поступить должны явиться к 1—8 октября или к 1—8 марта. В другие сроки приема нет. Курс продолжается пять месяцев. По окончании его ученица сдает экзамены и получает диплом, за который уплачивает 35 фл. 53 к. Ученицы имеют право жить на частных квартирах; но на некоторое время (2 недели) они направляются в больницу и долж-

ны пребывать там круглые сутки... Мне очень жаль, что у вас запретили дамам учиться физиологии! Именно такие мероприятия могут вызвать в Петербурге специфические толки. Надеюсь, что на этот раз воля культурного общества будет сильнее, чем воля полиции. Когда общество серьезно чего-нибудь хочет, то немногочисленные чиновники не могут этому помешать, по крайней мере так бывало у нас. Еще больше меня огорчает то, что вы принимаете это так близко к сердцу и даже думаете покинуть академию. Вы там делаете полезное дело и должны держаться за свое место со всей энергией.

Сплетников здесь много, но это не должно служить препятствием, ибо на них найдется управа; и так как ваш приезд доставит нам только радость, то я надеюсь видеть вас здесь будущим летом.

Тысячу приветов г-ну и г-же Боткиным.

Ваш старый преданный К. Людвиг.

Вена, 2 ноября 1864 г.»

Получив такой ответ, Сеченов дал его прочесть Марии Александровне. Но она восстала. Не позволит она, чтобы он жертвовал своей научной карьерой ради нее! Она, которая стремится принести пользу своей родине, будет лишать эту родину ее научной гордости! И, наконец, что они будут делать дальше? Оставаться навсегда за границей? Ни он, ни она на это не могут согласиться. Значит, вернуться домой, и все пойдет так же, как и теперь, с той только разницей, что она будет не переводчицей, а акушеркой.

Сеченов страдал ее страданиями. Она продолжала жить в одной квартире с Боковым. Изредка к ней заезжал отец, который все еще надеялся исхлопотать помилование для Владимира, и эти дни были особенно мучительными, потому что нужно было создавать видимость полного семейного благополучия. Петр Иванович довольно легко вошел в новую роль, убедив себя, что, если бы брак его оставался фиктивным, положение было бы таким же, а он, собственно, шел на это, так что и роптать нечего. А то, что его Маша полюбила Сеченова,—что же тут удивительного?

Разве он не понимает, насколько эта пара больше подходит друг к другу и насколько более богат духовно его соперник?

Добр был Петр Иванович, недаром некоторые знакомые называли его «святым человеком». Но не слишком ли добр? Не эта ли доброта, не это ли отсутствие мужественности и желания бороться за свое чувство вконец оттолкнули от него Марию Александровну?

Что-то все-таки надо было предпринять. Дальше так не могло продолжаться. Мария Александровна худела и бледнела, впадала в хандру, и двое любящих ее людей с тоской и болью наблюдали за ней. Наконец Сеченов решился: хоть на время надо увезти ее отсюда, отвлечь от тягостных мыслей. Увезти в Италию, о которой она так страстно мечтает, уговорить Петра Ивановича согласиться. И если им обоим — Бокову и ей — это так необходимо, что ж, пусть поездка будет обставлена со всеми возможными соблюдениями приличия. Петр Иванович может, например, тоже куда-нибудь уехать, и пусть «общество» знает, что ездили они вместе с женой. Или можно сказать, что Мария Александровна больна и нуждается в лечении на водах. Да мало ли что можно придумать, но согласится ли Боков?

Совершенно неожиданно он согласился. Петр Иванович и сам размышлял о том, как бы это устранить с их пути, как бы не сделать женщину, доверившуюся ему и горячо им любимую, несчастной на всю жизнь. Он думал об этом по-всякому, искал такого выхода, при котором она наименее бы пострадала. Он не должен мешать им, иначе — иначе он просто болтун и все его идеи о равноправии женщины, об уважении к ней, идеи, которые он впитал в себя от великого своего друга Чернышевского, останутся простым пустословием.

Роман Чернышевского он знал наизусть. «Что делать?» стало его молитвенником. Что же, его учитель и тут указывает ему путь. «Перегнуть палку», по возможности устранить.

Как она обрадовалась, что может уехать, соблюдая все приличия и никого, кроме мужа, не посвящая в это дело!

«Муж» — вот ирония! И никто, кроме этого мужа, не знает... Вот путаница!

Она крепко поцеловала его на прощанье — это была благодарность, заставившая его прослезиться. Дружеское пожатие руки Сеченова — вторая благодарность. И самая большая — мысленно он представил себе, как одобрительно отнесся бы к его поступку Чернышевский.

«6 марта 1865 года.

...Конференция Академии, имея в виду, что г. Сеченов во время заграничного учебного путешествия своего может принять на себя труд по приобретению разных предметов для физиологического кабинета и осмотреть тамошние физиологические институты, постановила: командировать г. Сеченова с означенной целью за границу с тем, чтобы экзамен был из физиологии студентам 2-го курса произведен с половины апреля совместно профессорами Якубовичем и Сеченовым — каждым по преподаваемому им отделу и притом по смешанным вопросам из всей науки, и на время командировки г. Сеченова за границу с 1-го мая по 1-е сентября сохранить полный оклад его жалованья, получаемый им как по Академии, так и по госпиталю, на что и испросить разрешение высшего начальства установленным порядком».

19 марта командировка была разрешена, и в последних числах апреля Сеченов с Боковой выехали в первое совместное путешествие.

4

Восхитительной была эта свадебная поездка. В России деревья только еще набухали почками, а Германия, через которую они проезжали, утопала в цветах. На вершине перевала через С.-Готард в Швейцарии была снежная буря, а за перевалом зрела пшеница и продавались огромные черные вишни.

Из Генуи морем отправились в Неаполь. Едва пароход вышел из гавани, началась качка, и тут-то выяснилось, что Мария Александровна страдает морской болезнью. Она спряталась в каюту и почти всю дорогу пролежала в постели. А Сеченов все время сидел возле нее, страшно взволнованный и счастливый тем, что он, наконец, получил право заботиться о ней.

В Неаполе он бывал и прежде, но никогда этот красавец город не казался ему таким пленительным, как в этот раз. Да и сама жизнь была теперь пленительна и до невозможности счастлива, даже мысли о будущем не тревожили его: было совершенно ясно, что установившиеся в эту поездку отношения уже не прервутся и что Мария Александровна перестанет теперь метаться между ними двумя, даже когда они вернутся в Петербург.

В Неаполе, разумеется, начали с восхождения на Везувий. Доехали от Портичи верхом почти до основания вулкана. Множество проводников тут же начали предлагать свои услуги, наперебой восхваляли каждый себя и подняли такой крик, что Мария Александровна, смеясь, заткнула уши. От проводников отказались наотрез — истомленные вечным пребыванием на людях, они ловили каждую минуту, чтобы побыть вдвоем.

Шли медленно, жара размаривала, и через каждые несколько десятков шагов останавливались на отдых. Густой нагретый пепел лежал толстым слоем, ноги увязали в нем по щиколотку. Взбирались целый час. Сеченов пришел в умиление оттого, что Мария Александровна выдержала этот мучительный подъем без посторонней помощи.

Старый Везувий будто помолодел в тот год. То и дело из жерла его вырывались столбы дыма, большие камни выстреливались наружу. И всякий раз, когда такой камень показывался в воздухе, Иван Михайлович хватал руками голову спутницы, укрывал ее от ударов. Они подошли к самому краю старого кратера, хотя Сеченов охотно прекратил бы эту прогулку гораздо раньше, волнуясь за Марию Алек-

сандровну. Но она смело заглянула вниз, и они увидели, как на дне кратера образовывается новый конус, из которого исходит эта неистовая стрельба.

Смеясь и держась за руки, они сбежали к подножию вулкана. Отдав дань всем достопримечательностям Неаполя, побывав на Капри, в Лазоревом гроте, обойдя все окрестности, решили остальную часть лета провести в Сорренто.

Вилла, которую они сняли, была прелестна. Вокруг апельсиновый сад, подходящий вплотную к домику так, что ветви деревьев проникали за ограду террасы. На террасе они работали: Иван Михайлович кончал «Физиологию нервной системы», Мария Александровна переводила Брэма.

После обеда катались по морю на лодке, ездили по окрестностям на осле. Словом, жили тихо, ни с кем не общаясь, не придумывая себе особенных развлечений, совершенно счастливые обществом друг друга.

В один из обычных тихих дней уединение их было нарушено. На террасу вошли трое молодых людей; двое держались позади, один выступил первым и первым же обратился к Сеченову.

Это был молодой зоолог А. Ф. Стюарт, очень богатый человек, ставший затем доцентом в Новороссийском университете и крупным земским деятелем.

Двое других — будущие великие русские ученые — Александр Ковалевский и Илья Мечников.

Мечников давно уже слышал имя Сеченова и давно мечтал познакомиться с ним, но, крайне застенчивый, все не решался осуществить свою мечту. Узнав, что Иван Михайлович в Сорренто, Мечников не устоял перед соблазном и предложил своему другу А. Ковалевскому, вместе с которым жил в Неаполе, занимаясь изучением морских животных, отправиться к Сеченову. Ковалевский был не менее робок, чем Мечников, и поэтому они долго думали и колебались, удобно ли ехать к человеку, чье имя уже прогремело по всей Европе? И долго они бы еще колебались, если бы барон Стюарт не оказался самым смелым и не решил дело просто:

— Тотчас и поедем.

«Сеченов принял нас ласково, очень просто, без всяких лишних любезностей, — вспоминает Мечников. — Я сразу был поражен его замечательной наружностью. На широком, некрасивом, со следами оспин, очень смуглом лице несколько сглаженного монгольского типа блестели глаза необыкновенной красоты. В них выражался глубокий ум и особенная пронизательность, соединенная с необыкновенной добротой.

Разговор наш сразу принял деловой, научный характер и вращался вокруг злободневных для того времени вопросов знания. Сеченов стал посвящать нас в результаты его новейшей работы по физиологии нервных центров и прочитал статью, приготовленную им к печати.

Мы вышли совершенно очарованные новым знакомством, сразу признав в Сеченове «учителя». Но лично я не был удовлетворен тем, что не удалось побеседовать с ним с глазу на глаз и высказать ему некоторые мои сокровенные мысли. Среди физиологов в те времена до того господствовало убеждение, что разработка вопросов жизни должна производиться с исключительной целью сводить физиологические процессы на более простые физико-химические явления, что неследование этому направлению влекло за собой чуть не исключение из разряда биологов. Поощренный доброжелательным приемом Сеченова, я на другой день пошел к нему один, чтобы излить перед ним мои помыслы о научном значении исследований в области сравнительной истории низших организмов — отрасли науки, тогда только что зародившейся.

И на этот раз отношение Сеченова было очень симпатичным, что еще более, чем в первое посещение, привлекло меня к нему.

Он оказался вовсе не таким узким последователем нового направления физиологии, как большинство его соратников... Каждое слово Сеченова, прежде чем выйти наружу, подвергалось строгому контролю рассудка и воли. В то же время это был вовсе не су-

хой резонер, а в высшей степени сердечная, чувствительная натура».

«Чувствительная натура» особенно раскрылась в эти светлые дни в Сорренто, когда, казалось бы, все, о чем он мечтал, осуществилось.

По характеру своему Сеченов трудно сходилась с людьми, но однажды сойдясь, почти никогда не расходился. Так было с Боткиным, с Менделеевым, с Крыловыми и Филатовыми, так стало с Мечниковым. Дружба их прошла через горнила таких испытаний, сквозь которые далеко не всякая дружба может пройти. Казалось бы, чем большим испытаниям подвергались в жизни их отношения, тем крепче и неразрывней становились они.

Каникулы подходили к концу. Медовый месяц растянулся почти на четыре месяца — надо было возвращаться в Россию.

Посетив еще Рим и Флоренцию, молодая чета отбыла в Петербург.

И тут стало ясным: шила в мешке не утаишь. Слухи о том, что Бокова—эта женщина, вырывающаяся из среды «нормальных» женщин, выдумавшая себе медицинскую карьеру (очень хорошо, что из ее выдумок ничего не получилось!), эта выскочка, оказывается, бросила мужа и отправилась в весьма предосудительное путешествие за границу с этим материалистом Сеченовым,—эти слухи передавались из уст в уста, из гостиной в гостиную.

Как ни странно, Мария Александровна не слишком взволновалась: после проведенных с Сеченовым четырех месяцев неизбежность огласки была уже ясна — не сейчас, так позже. Она только боялась, чтобы слухи не дошли до Клипенино, и Петр Иванович поклялся, что перед родителями будет продолжать разыгрывать полное семейное благополучие. Именно потому, что мать и отец в любое время могли приехать в Петербург, Боковы не имели возможности разъехаться на разные квартиры. Но, в сущности, это было не столь уж важно: разделенная на две части их собственная квартира позволяла каждому жить

на своей половине и общаться только тогда, когда это представлялось необходимым.

Между тем слухи о треугольнике Боков — Бокова — Сеченов циркулировали в обществе не как простая сплетня. Они приняли необычное «литературное» направление.

Весной 1863 года, когда Сеченов еще был за границей, в третьем, четвертом и пятом номерах «Современника» вышел роман Чернышевского «Что делать?».

В эту эпоху, когда молодые люди искали выхода из мрачной действительности, в обстановке наступившей в России новой реакции; когда женский вопрос стал одним из самых важных, а жажда подвига, на который звали революционеры-демократы, достигла предела,— в эту эпоху роман Чернышевского звучал могучим откровением, волновал до слез, указывал путь, отвечал на трепетный вопрос, бывший на устах у всех передовых русских людей,— что делать?

Затрепанную книжку «Современника» доставали на прочтение «до утра», читали всю ночь напролет, чтобы успеть передать ее другому. Чистая любовь, чистые человеческие отношения, идея трудовой артели, коммуны пленили молодежь, звали ее к действию.

Студенты на вечеринках пели:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал.

Роман проник буквально во все уголки России.

«Мы читали роман чуть ли не коленопреклоненно,— вспоминает А. Скабичевский,— с таким благочестием, которое не допускает ни малейшей улыбки на уста, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально на наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя ее из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый».

«В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих сов-

ременников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых,—рассказывает Е. Водозова.— Покупали номера «Современника», в которых он был напечатан, и отдавали переплетать отдельной книгой. Самою страстною мечтой юноши, особенно молодой девушки, было приобретение этой книги: я знала нескольких продавших все наиболее ценное из своего имущества, чтобы только купить этот роман, стоивший тогда 25 рублей и дороже».

«Для русской молодежи,—пишет Кропоткин,— повесть эта была своего рода откровением и превратилась в программу... Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского, она сделалась своего рода знаменем».

«Студенчество 60-х годов kloкотало подавленным вулканом, и его прорывало в разных местах опасными неожиданностями. Внутри образованных кружков молодая жизнь кипела идеями Чернышевского. Ссылка его пролетела ураганом из края в край через университеты. Бурлило тайно все мыслящее; затаенно жило непримиримыми идеями будущего и верило свято в 3-й сон Веры Павловны» (Репин).

С другой стороны, реакционная критика называла «Что делать?» «отвратительной грязью» и «безобразнейшим произведением русской литературы», наводящим на порядочных людей «холод ужаса».

В эту «грязь» окунали людей, которых выгодно было «запачкать».

Бокова была женщиной, привлекавшей к себе недоброжелательное и настороженное внимание уже одним тем, что собиралась, вопреки традициям, стать медиком. То, что она оставила законного мужа и стала жить без церковного брака с человеком, занимающим такое видное положение и ненавистным многим, вызывало желание раздуть пикантный скандал.

Расчет был на то, что «литературная» сплетня подорвет необыкновенно выросший авторитет Сече-

нова, покажет его с никому не ведомой стороны соблазнителя и развратителя молодых женщин. И Бокова, Бокову, Сеченова стали называть прототипами романа «Что делать?».

Но расчет был неверен. Слухи, задуманные во вред «прототипам» героев романа, только повысили интерес к ним, вызвали подлинное преклонение перед женщиной, такой смелой и мужественной, такой чистой и честной; что касается Сеченова, то он, частично в результате этих слухов, был поднят в глазах молодежи на недосягаемую высоту и, любимый и раньше студентами и передовой русской публикой, стал теперь ее кумиром.

Мария Александровна, разобравшись, в чем, собственно, дело, пришла в ужас. Это было уже слишком! Она вознегодовала, когда узнала, что ее возвели в прототип Веры Павловны.

Сеченов хмурился, когда разговор заходил о его причастности к образу Кирсанова и тоже категорически отрицал эту причастность.

Петр Иванович Божов очень горячо возражал против версии Лопухов-Боков:

— Господа, уверяю вас, что это неверно! Чернышевский не выводил меня в романе! Ну, какой я, скажите на милость, герой романа?!

Но постепенно Петр Иванович и сам поверил, что это так — уж очень лестно было такое предположение и очень на нем настаивали его друзья. И в часы интимной откровенности с близкими людьми он уже признавался в своей близости к портрету Лопухова.

— Что-то, конечно, тут есть, — неопределенно говорил он, прося соблюдать полнейшую тайну.

А всего-то и было, что под влиянием романа Петр Иванович принял решение отойти с пути жены, не мешать устройству ее личного счастья, стать таким, каким учил быть Чернышевский.

Быть может, пример Веры Павловны помог Марии Александровне решиться на разрыв с мужем, бросив смелый вызов устоям современного ей общества. Быть может, Сеченову роман Чернышевского помог решиться на то, чтобы «разбить» чужую семью, стать

мужем чужой жены не столько ради себя, сколько ради Марии Александровны. И всем троим пример героев «Что делать?» помог в сохранении дружеских отношений на всю их дальнейшую жизнь.

Только в этом и может быть связь Сеченова, Бокова и Боковой с величайшим произведением русской литературы.



Великий ФИЗИОЛОГ

1

Дома, после возвращения из Италии, Марию Александровну ждали письма из Клипенино. В одном из них генерал Обручев писал дочери: «...С величайшим удовольствием узнал, что превосходный Иван Михайлович взлетел почти в седьмое небо, до которого достигали немногие ученые — и при том на скачке с большими препятствиями... Поздравь его от меня и мамочки с теми чувствами искренности и доброжелательства, какие только найдутся в симпатичной душе твоей...»¹.

¹ Письмо отца Обручевой хранится в Московском отделении архива Академии наук СССР. Публикуется впервые.

«Взлетел в седьмое небо» — точнее нельзя было выразиться. Что же так вознесло его?

...Год 1862. Золотая французская осень. Коллеж де Франс. Маленькая лаборатория великого физиолога. Рабочая комната по соседству с той, где работает хозяин лаборатории Клод Бернар. В комнате длинный стол для вивисекций. За этим столом молодой русский ученый занят своими опытами. Клод Бернар предоставил ему полную свободу и в общем совершенно равнодушен к его занятиям — у великого физиолога свои дела.

На вивисекционном столе небольшой деревянный штатив, к нему на нитке прикреплена за челюсть лягушка. Животное свободно болтается в воздухе, дрыгает лапками, реагирует на малейшее сотрясение стола, на звуки. Сеченов опускает лапку лягушки в слабый раствор кислоты.

В комнате тихо, слышны только удары метронома. Метроном успеваает отсчитать двадцать ударов, и лягушка вытягивает из сосуда лапку. Сеченов опять опускает ее в кислоту, лягушка снова подтягивает. Так повторяется несколько раз.

Налицо нормальный рефлекс — двигательная реакция на кожное раздражение. Налицо «нормальная» лягушка со всеми присущими здоровому животному реакциями.

Убедившись в этом, Сеченов обезглавливает лягушку. «Посмотрим, как будет она теперь реагировать на раздражения», — говорит он самому себе и опускает лапку лягушки в тот же раствор кислоты. Лапка отдергивается сразу. Ага, значит, пока у лягушки была голова, она отделялась от неприятных ощущений неторопливо, степенно; теперь же, когда голову сняли, животное утратило всякую медлительность — рефлекторная реакция наступает значительно быстрее...

Впрочем, для экспериментатора в этом факте нет ничего ни нового, ни удивительного: именно подобный опыт и вызвал предположение, что в головном мозгу лягушки существуют какие-то центры, которые задерживают отражательные движения.

Рефлекторные, или отражательные, движения известны с давнего времени. А вот факт торможения их обнаружен только недавно. Прежде считалось, что раздражение всякого нерва, кончающегося в мышце, непременно заставляет эту мышцу сокращаться — вызывает движение. И вдруг в 1845 году немецкие ученые братья Вебер произвели удививший всех опыт: они показали, что раздражение блуждающего нерва, от которого отходят ветви к сердцу, не только не усиливает деятельность сердечной мышцы, а, напротив, парализует ее; если же нерв этот перерезать, сердцебиение усиливается.

Это был чрезвычайно любопытный и необычный факт, вызвавший интерес у многих ученых. Опыт Веберов повторяли не раз, и всегда он кончался тем же, что и у первых экспериментаторов. «Что же из этого следует?» — задали себе вопрос физиологи. И решили: все дело в том, что блуждающий нерв не прямо кончается в мышечные волокна сердца, как в мышцах туловища, оттого и происходит такое ненормальное действие в результате его раздражения.

Но с годами то у одного ученого, то у другого в различных опытах стали обнаруживаться подобные результаты с раздражением других нервов, которые оказывали не только возбуждающее, но и тормозящее влияние на тонкие кишки, слюноотделение, дыхание. И физиологи пришли к мысли, что в теле животного могут существовать такие нервные влияния, в результате которых происходит торможение рефлекторных движений.

В теле животного, но где именно? Этим вопросом никто не задавался, не придавая ему, по-видимому, особого значения.

Между тем Эдуард Вебер высказал интереснейшую мысль: он считал, что по блуждающему нерву, очевидно из головного мозга, непрерывно идут слабые возбуждения, которые умеряют деятельность сердца; вот почему, если нерв перерезать, сердцебиение ускоряется. И еще Вебер, между прочим, заметил: те усиления спинномозговых рефлексов, которые на-

блюдаются в опыте с обезглавленной лягушкой, идут таким же путем — слабые тормозящие влияния от головного мозга у нормальной лягушки сказываются на рефлекторной деятельности спинного.

Мысль эта никем не была подхвачена, предположение так и осталось предположением, не вызвав в ученых ни интереса, ни желания доказать его прямым опытом.

А между тем, как пишет Сеченов, «...мы можем остановить произвольно дыхательные движения во все фазы их развития, ...воля может подавить, далее, крик и всякое другое движение, вытекающее из боли, испуга и пр. ...Зная все эти факты, могли ли современные физиологи не принять существования в человеческом теле — и именно в головном мозгу, потому что воля действует только при посредстве этого органа, — механизмов, задерживающих отражательные движения?». «Мысль эта не нашла, однако, работников, и шанс воспользоваться ею выпал на мою долю».

Для использования этого «шанса» Сеченов и начал свои совсем несложные, но очень остроумные опыты в лаборатории Клода Бернара.

Итак, уже один тот факт, что обезглавливание лягушки ведет за собой усиление отражательных движений, вполне наглядно показывает, что именно головной мозг играет в них роль тормоза. Но задача была другая: доказать наличие этого «тормоза» в головном мозгу путем прямых опытов.

Сеченов снова опускает лапку нормальной лягушки в слабый раствор кислоты, и метроном отсчитывает удары, покуда эта лапка не будет подтянута животным. Затем ученый обнажает у лягушки головной мозг и часть спинного и начинает перерезать сначала большие полушария, потом «ромбовидное» пространство, лежащее между ними и зрительными буграми, затем зрительные бугры и, наконец, продолговатый мозг, лежащий на стыке головного со спинным. Этим он сразу достигает двояких результатов: постепенно лишает лягушку различных частей головного мозга и одновременно механически раздражает

эти части. И если где-то здесь — а Сеченов в этом не сомневается — находятся центры торможения, то их удаление и их раздражение непременно скажется па рефлекторных движениях животного. Таким же образом он достигнет третьей цели: покажет, где именно находятся эти центры.

Оказывается, что угнетение рефлекторной деятельности происходит только после разреза мозга над зрительными буграми или разреза самих бугров. Раздражение, которое наносится разрезом, приводит в действие тормозящие свойства этих частей головного мозга.

Но, может быть, тут играет решающую роль потеря крови, вызванная операцией (она в самом деле значительна)?

«Для решения этого вопроса, — пишет Сеченов, — я произвел несколько прямых опытов и оказалось, что потерей крови не объясняется явление угнетения отраженных движений». Тогда, быть может, в этом повинно механическое раздражение нервных стволов при перерезке их в полости черепа? Опять-таки прямой опыт и доказательство, что причина не в этом.

Сеченов сам возражает себе и ищет другие причины, объясняющие угнетение рефлексов; например, боль, и она может быть виновата. Но нет, боль проходит гораздо быстрее, чем длится угнетение; а в том случае, когда он сознательно вызывает длительную боль, но не перерезает при этом мозг, угнетения движений почти не наблюдается. Значит, не боль.

Он повторяет свои опыты, раздражая мозг кристаллами поваренной соли, которые кладет поочередно на различные участки перерезанного мозга, потом электрическим током — результаты всегда одинаковы. Он еще приводит для себя ряд возражений и точнейшими экспериментами опровергает их.

И в результате всех этих опытов делает выводы:

«1) У лягушки механизмы, задерживающие отраженные движения, лежат в зрительных буграх и продолговатом мозгу;

2) механизмы эти должны быть рассматриваемы как нервные центры; наконец

3) один из физиологических путей возбуждения этих механизмов к деятельности представляют волокна чувствующих нервов».

Все это очень хорошо, но как же объяснить сущность этих тормозящих механизмов и их образ действия? Вот загадка, которую надо решить.

Чем обуславливается ослабление рефлексов — подавлением ли чувствительности, или угнетением движения (ведь самый рефлекс слагается из чувствования и движения)?

Как же это выяснить? Ясно, что не на лягушке, потому что не спросишь же у ней, притупилась ли чувствительность ее кожи. Значит, на человеке. И, верный своим традициям, Сеченов производит опыт на себе.

Известно, что если человек, скажем, хочет удержать крик боли или неистовый хохот от щекотки, вообще подавить в себе проявления, вызванные неприятными или болезненными ощущениями, он производит примерно такие движения: стискивает зубы, напрягает мышцы груди и живота, задерживая дыхание, так чтобы воздух остался в легких. Все эти сложные движения проделал Сеченов, одновременно опустив руку в слабый раствор кислоты. Он произвел их, как только начало появляться ощущение от действия кислоты. Удивительное дело, ощущение тотчас же исчезло! И боль не появлялась почти столько же времени, сколько существовало сделанное Сеченовым усилие.

Вывод напрашивался сам собой: деятельностью механизмов, задерживающих отраженные движения, отчасти притупляется сознательная чувствительность.

Замечателен вывод, сделанный из этих в общем простых опытов: «...присутствие в зрительных черточках лягушки нервных механизмов, угнетающих рефлексы при возбуждении, и отсутствие таковых в спинном мозгу».

Так он доказал существование тормозящих центров в головном мозгу.

Этот гениальный вывод является краеугольным камнем в современной физиологии нервной системы. До Сеченова почти все физиологи мира отрицали существование центрального торможения, но и после его открытия они не собирались сдаваться.

Сеченов сделал первое сообщение в «Медицинском вестнике», в России и во Франции, где по представлению Клода Бернара оно было опубликовано в трудах Французской Академии, и еще два года потратил на детализацию своего нового учения.

Он высказал предположение, а потом сам его подтвердил, что торможение можно получить не только раздражением зрительных бугров, но даже раздражением поверхности кожи. Он наносил слабые растворы кислоты и соли на поверхность кожи или на конец перерезанного седалищного нерва, раздражая чувствительные нервы, и выяснил: длительно поступающие в центральную нервную систему потоки импульсов ведут не только к двигательным актам, но и к периодическому их прекращению, когда движение сменяется покоем; после покоя снова наступает период движения и снова за ним период покоя.

Так он установил еще одну важную вещь: возникновение периодических явлений в центральной нервной системе под влиянием постоянного и длительного раздражения.

То же происходит и с длительным раздражением блуждающего нерва в опыте Веберов, который Сеченов повторил; сердце останавливается, затем снова начинает биться, снова тормозится, и опять восстанавливается нормальный ритм.

И так всегда: вся деятельность центральной нервной системы и всего животного организма носит циклический характер смены активности и покоя.

В 1864 году Сеченов опубликовал в «Медицинском вестнике» еще одну статью о торможении и уже ясно показал, что оно развивается в центральной части рефлекторной дуги, состоящей из нервных окончаний; проводника — нерва, по которому раздраже-

ние передается в мозг; и самого мозга, в котором заложены центры, синтезирующие, анализирующие и создающие ответную реакцию.

В том же году его вовлекли в дискуссию, которую начал сын Герцена и ученик известного физиолога Шиффа— А. А. Герцен. Он выступил против сеченовского центрального торможения, доказывая новозможность существования такового. Школа Шиффа отрицала наличие специально тормозящих центров, отрицала торможение как особое состояние и утверждала, что угнетение рефлекторных движений не что иное, как результат истощения нервной системы под влиянием сильного раздражения.

Сеченов охотно полез в «драку», — он был достаточно уверен в себе да и в помощниках не было недостатка: ученики — студенты и молодые врачи — с радостью пришли на помощь своему кумиру в его борьбе за новое учение.

В конце концов противники были разбиты. Но для этого понадобилось немало времени и труда. Да и вообще выпущенный из бутылки дух оказался не так-то прост: вот уже скоро столетие, как множество ученых и русских и иностранных вносят свой вклад в учение о центральном торможении, и до сих пор еще далеко не все тут ясно. Все еще есть в этой проблеме «проклятый вопрос», ответить на который никому не удавалось. Это вопрос взаимоотношений возбуждения и торможения. В самом деле, на основе каких же конкретных физиологических механизмов в головном мозгу от возбуждения вдруг возникает тормозной процесс?

Незадолго до своей смерти Павлов сказал: «Это проклятый вопрос — отношение между раздражением и торможением... С нашей стороны ничего не остается, как собирать экспериментальный материал. У нас его много. Невзирая на это — решение не приходит!»

Учение о центральном торможении — гениальное открытие, сделанное Сеченовым. Широкий круг ученых узнал об этом открытии, заинтересовался им, посвятил ему свои труды.

Широкий круг ученых все-таки был достаточно уз-

ким кругом людей. «В седьмое небо» вознесла Сеченова другая работа, созданная им на основе открытия центрального торможения.

И напрасно он сетовал, что не умеет писать популярно! То, что вышло на этот раз из-под его пера, было доступно пониманию любого грамотного человека, и множество этих грамотных русских людей прочло его сочинение. И не только прочло — у многих оно стало настольной книгой, оно привело в восторг всех передовых мыслящих людей и повергло в уныние, вызвало возмущение всех мракобесов и идеалистов. Оно сделало имя Сеченова известным народу, и с этих пор началась его настоящая слава.

В этот необыкновенный год — год 1863-й — передовое русское общество было потрясено дважды: когда весной в «Современнике» вышел роман Чернышевского «Что делать?» и когда осенью в «Медицинском вестнике» была напечатана статья Сеченова «Рефлексы головного мозга» (первоначально названная «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы»).

Любопытно, почему же Сеченов не понес эту статью в журнал «Современник»? Ведь по духу своему была она так близка идеям, защищавшимся этим журналом, она была продолжением и обоснованием «Антропологических принципов в философии», за три года до этого публиковавшихся в «Современнике».

Он и понес. Но правительство наложило свою лапу.

Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания в своем решении от 3 октября 1863 года записал:

«...1) что рассуждение «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы» направлено к отрицанию нравственных основ общества, к потрясению догмата о бессмертии души и вообще религиозных начал;

2) что хотя эти конечные выводы не выражены буквально в помянутой статье, но что они представляются неизбежным результатом того впечатления, которое должен испытать читатель по прочтении оной;

3) что помещение подобной статьи, противной § 1 высочайше утвержденных 12 мая 1862 г. временных цензурных правил, в журнале литературном, значительно распространенном в публике, послужило бы средством к пропаганде этих взглядов и

4) что ученый характер статьи и сдержанность тона не могут служить побудительными причинами для дозволения к напечатанию ее в «Современнике», ибо эти качества, не лишая статьи характера пропаганды, в случае помещения ее в подобном журнале, заключают лишь в себе возможность для помещения ее в каком-либо медицинском или другом специальном ученом издании, в котором она, теряя характер пропаганды, явилась бы выражением лишь одного из многообразных взглядов современной науки, доступных только немногочисленным сведущим и критическим ценителям, далеким от неосновательных увлечений.

Посему Совет полагал: воспретить помещение этой статьи в «Современнике» и дозволить напечатание оной в медицинском или другом специальном периодическом издании с соблюдением следующих условий: во-первых, чтобы изменено было заглавие статьи, слишком ясно указывающее на конечные, вытекающие из нее выводы; во-вторых, чтобы в заключительном пункте статьи (последние 11 строк) исключено было или переделано место «как человек вечно будет ценить и предпочитать хорошую машину дурной из множества однородных» и соответственно с сим изменены последующие строки; в-третьих, чтобы наблюдение за правильностью всех означенных изменений поручено было цензору, просматривавшему настоящую статью».

Так вместо «Современника» статья была помещена в «Медицинском вестнике» под новым названием — «Рефлексы головного мозга». Последние строки были выброшены, но Сеченов доставил себе удовольствие и восстановил их на экземпляре «Медицинского вестника», подаренном им Марии Александровне: «В заключение считаю долгом успокоить нравственное чувство моего читателя. Развитым пе-

ред этим учением нисколько не уничтожается значение доброго и прекрасного в человеке: основания для нашей любви друг к другу вечны, подобно тому как человек вечно будет ценить хорошую машину и предпочитать ее дурной из ряда однородных. Но эта заслуга развитого мною учения еще отрицательная, а вот и положительная: только при развитом мной воззрении на действия человека в последнем возможна высочайшая из добродетелей человеческих — всепрощающая любовь, т. е. полное снисхождение к своему ближнему».

Странно, что именно эти строки цензура сочла нужным уничтожить! И вполне понятно, почему в экземпляре Марии Александровны Сеченов сделал эту приписку о «всепрощающей любви к ближнему».

Сеченов писал свои «Рефлексы» летом 1863 года. Но задумал он этот трактат значительно раньше — это видно из тез к его докторской диссертации:

«...все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлективные» и «самый общий характер нормальной деятельности головного мозга (поскольку она выражается движением) есть несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием — движением».

Рефлекторные движения, или рефлексы, — это ответная реакция организма на чувственное раздражение. Понятно, что все произвольные движения, например ходьба, разжевывание пищи, любое трудовое движение, — те движения, которые являются сознательными и управляются волей, так же как и бессознательные, инстинктивные, произвольные движения, во всех случаях являются ответом на внешнее раздражение. Я жую, потому что попавшая в рот пища раздражает слизистую оболочку; я хожу, потому что подошвы моих ног касаются пола; я поднимаю и опускаю молоток, потому что держу его в руке.

А что такое несоответствие между возбуждением и движением? Если у лягушки отрезать голову, то есть если устранить влияние головного мозга, то всякое чувственное возбуждение, например действие кислоты на кожу, по силе своей будет равно вызванно-

му ими отраженному движению: слабое возбуждение — слабое движение; сильное возбуждение — сильное движение. Если же головной мозг лягушки цел, сила движения становится значительно слабее, чем сила раздражения.

Тезы эти писались в 1859 году, и с тех пор в голове Сеченова засела мысль развить их. Собственно говоря, его интересовало так называемое среднее звено рефлекторной дуги — мозг и то значение, которое он имеет при произвольных движениях.

Головной мозг — это орган психики; произвольные движения — движения сознательные, связанные с психикой человека, то есть явления психического порядка.

«...Мысль о перенесении психических явлений, со стороны способа их совершения, на физиологическую почву должна была бродить у меня в голове, — вспоминает Сеченов, — уже во время первого пребывания за границей, тем более что в студенчестве я занимался психологией. Нет сомнения, что эти мысли бродили в голове и во время моего пребывания в Париже, потому что я следил за опытами, имеющими прямое отношение к актам сознания и воли. Как бы то ни было, но по возвращении из Парижа в Петербург мысли эти, очевидно, улеглись в голове в следующий ряд частью несомненных, частью гипотетических положений:

в ежедневной сознательной и полусознательной жизни человек не может отрешиться от чувственных влияний на него извне через органы чувств и от чувствований, идущих из его собственного тела (самочувствия);

ими поддерживается вся его психическая жизнь, со всеми ее двигательными проявлениями, потому что с потерей всех чувствований психическая жизнь невозможна...

подобно тому как показания органов чувств суть руководители движений, так и в психической жизни желания или хотения суть определители действий;

как рефлексы, так и психические акты, переходящие в действие, носят характер целесообразности;

началом рефлексов служит всегда какое-либо чувственное влияние извне; то же самое, но очень часто незаметно для нас, имеет место и относительно всех вообще душевных движений (ибо без чувственных воздействий психика невозможна!);

рефлексы кончаются в большинстве случаев движениями; но есть и такие, которым концом служит угнетение движения; то же самое в психических актах: большинство выражается мимически или действием; но есть множество случаев, где концы эти угнетены и трехчленный акт принимает вид двучленного, — созерцательная умственная сторона жизни имеет эту форму;

страсти коренятся прямо или косвенно в так наз. системных чувствах человека, способных нарастать до степени сильных хотений (чувство голода, самосохранения, половое чувство и пр.) и проявляются очень резкими действиями или поступками; поэтому могут быть отнесены к категории рефлексов с усиленным концом.

Эти положения и составили канву, послужившую основой для написания мною небольшого трактата «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы».

Рассматривая психическую, сознательную, произвольную деятельность человека как высшую деятельность головного мозга, Сеченов впервые в истории науки поставил перед собой задачу дать анализ и объяснение психических явлений, исходя из нервных процессов.

С первых же слов трактата, опубликованного под названием «Рефлексы головного мозга», становится не только ясно, о чем будет идти в нем речь, но и то, почему он написан.

«Вам, конечно, случалось, любезный читатель, присутствовать при спорах о сущности души и ее зависимости от тела...» — так начинаются «Рефлексы головного мозга».

Сущность «души» и зависимость ее от тела — вот основа трактата. Ибо для Сеченова-материалиста никакой другой сущности «души», иными словами — со-

знания, кроме как функции головного мозга, не существует. А все акты сознательной жизни, равно как и бессознательной, «по способу происхождения суть рефлексы». Стало быть, эта часть деятельности головного мозга — сознание — также должно являться предметом изучения физиологии, как и все другие деятельности других органов человеческого и животного организма.

Внешние проявления мозговой деятельности бесконечно разнообразны, но сводятся они к одному явлению: мышечному движению. «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение».

А мышечные движения бывают двойные — невольные и произвольные. Какими путями развиваются они из головного мозга — вот что следует определить в трактате.

От простого к сложному, от понятного к труднообъяснимому ведет постепенно автор своего читателя. Проще всего наиболее знакомые эксперименты на лягушке со спинномозговыми рефлексами. Вот перед вами обезглавленная лягушка. Она сидит на задних лапках, странная безголовая фигурка, и будет сидеть так часами, до тех пор пока капля жизни останется в ее спинном мозгу. Ущипните ее, и она прыгнет, словно стараясь убежать от боли. Между тем боли она, конечно, не чувствует, и движение ее чисто отраженное: возбуждение чувствующего нерва отразилось на движущем через посредство спинного мозга, где и те и другие нервы связаны между собой нервными клетками. Движение это невольное, машинообразное по своему происхождению. То же самое и с лягушкой, у которой цела голова; внезапное раздражение чувствующего нерва, если это раздражение сильнее того, к какому привыкло животное в обыденной жизни, вызывает у него невольное движение.

Лягушка — это самое примитивное из того, о чем говорит Сеченов. То, что гонится для лягушки, может вовсе не быть обязательным для человека. Но оказывается, что в вопросе рефлекторного происхождения невольных движений и для обыкновенной лягушки и для высокоразвитого человека законы одни и те же. Однако раздражение, которое будет для человека ожидаемым, заставит его усилием воли, выраженным опять-таки в напряжении некоторых мышц, удержать ответное движение — наступит при этом торможение. Иногда же не наступит, потому что может оказаться, что раздражение одолеет силу торможения, и тогда движение все-таки произойдет, правда, оно будет не таким сильным, как в случае полной неожиданности.

Это легко себе представить: пусть кто-нибудь совершенно неожиданно вскрикнет над вашим ухом; вы непременно отшатнетесь, а если нервы у вас не в порядке — и сами в ответ вскрикнете. А вот если вас предупредят, что сейчас будут кричать, вы, может быть, сморщитесь от неприятного ощущения, но уж никак не сделаете такого резкого движения, как в первом случае.

«Итак, сомневаться нельзя — всякое противодействие чувственному раздражению должно заключаться в игре механизмов, задерживающих отраженные движения».

А вот случаи, когда происходит обратное явление: результат раздражения — сила движения — значительно превосходит силу самого раздражения. Скажем, при внезапном испуге. У медведей, как известно, самый незначительный повод — треск ветки, если он его испугал, вызывает известную «медвежью болезнь». А что такое звук треснувшей ветки? Раздражение чувствующего слухового нерва. Раздражение слабое, а результат не требует комментариев. С человеком происходят более сложные явления. Очень чувствительная женщина, например, может впасть в истерику, если вы внезапно хлопнете за ее спиной хлопнушкой. Известны случаи, когда человек, как говорится, с перепугу способен нести огромные тяже-

сти, какие ему в жизни не приходилось поднимать и какие в нормальном состоянии он даже с места не сдвинет. И все это от испуга. А испуг — это уж психический элемент, то есть элемент, при котором подразумевается деятельность головного мозга. И вот этот самый психический фактор нарушает соответствие между раздражением и получаемым от него эффектом, делая последний сильнее и выраженной первого.

«Начало явления есть раздражение чувствующего нерва, продолжение — ощущение испуга, конец — усиленное отраженное движение». «Таким образом, оказывается, что механизм в головном мозгу, производящий невольные (отраженные) движения в сфере туловища и конечностей, имеет там же два придатка, из которых один угнетает движение, а другой, наоборот, усиливает их относительно силы раздражения». «Перед вами, любезный читатель, первый еще случай, где психическое явление введено в цепь процессов, происходящих машинообразно».

«Но, — спросит читатель, — а как же, например, с такими невольными движениями, которые вытекают из чувственных наслаждений? Например, улыбка от приятного запаха вкусной еды или, наоборот, гримаса отвращения от еды, к которой в данный момент не хочется притронуться?»

«Положим, например, что центральная часть того аппарата, который начинается в носу обонятельными нервами, воспринимающими запах кушанья, находится в данный момент в таком состоянии, что рефлекс с этих нервов могут проходить преимущественно на мышцы, производящие смех; тогда, конечно, при возбуждении обонятельных нервов человек будет весело улыбаться. Если же, напротив, состояние центра таково, что рефлекс могут происходить только в мышцах, оттягивающих углы рта книзу, тогда запах кушаний вызовет у человека кислую мину. Допустите теперь только, что первое состояние центра соответствует случаю, когда человек голоден, а второе бывает у сытого — и дело объяснено».

Вот и получается, что даже те невольные движе-

ния, которые возникают от чувственного наслаждения, не что иное, как обыкновенные рефлексы. И так все решительно невольные движения, которые Сеченов разбирает в своем трактате в большом количестве и с самых разных сторон.

Значительно труднее было доказать рефлекторную сущность произвольных движений, то есть таких движений, которые зависят от человеческого сознания, от его воли, от мысли. Но поскольку «первая причина всякого человеческого действия лежит вне его», то и психическая деятельность, а с ней и произвольные движения невозможны без внешнего чувственного раздражения. Доказательство тому человек, заснувший «мертвым сном», — «психическая деятельность такого человека падает, с одной стороны, до нуля — в таком состоянии человек не видит снов — с другой, он отличается чрезвычайно резкой бесчувственностью к внешним раздражениям: его не будит ни свет, ни сильный звук, ни даже самая боль. Совпадение бесчувствия к внешним раздражениям с уничтожением психической деятельности встречается далее в опьянении вином, хлороформом и в обмороках. Люди знают это, и никто не сомневается, что оба акта стоят в причинной связи. Разница в воззрениях на предмет лишь та, что одни уничтожение сознания считают причиной бесчувственности, другие — наоборот. Колебание между этими воззрениями, однако, невозможно. Выстрелите над ухом мертво спящего человека из 1, 2, 3, 100 и т. д. пушек — он проснется, и психическая деятельность мгновенно появляется; а если бы слуха у него не было, то можно выстрелить теоретически из миллиона пушек — сознание не пришло бы. Не было бы зрения — было бы то же самое с каким угодно сильным световым возбуждением; не было бы чувства в коже — самая страшная боль оставалась бы без последствий. Одним словом, человек, мертво заснувший и лишившийся чувствующих нервов, продолжал бы спать мертвым сном до смерти».

Через много лет это положение Сеченова было подтверждено клиническими наблюдениями над человеком, у которого из всех органов чувств действовали

только один глаз и одно ухо. Стоило ему закрыть здоровый глаз и здоровое ухо, и тем самым исключить возможность какого бы то ни было внешнего раздражения, как человек этот немедленно погружался в сон — психическая деятельность его прекращалась.

Такие наблюдения впоследствии делались не однажды. Но если у человека сохранился хоть один из органов чувств — только зрение, только обоняние, только осязание, вкус или слух, он, связанный с внешней средой через эти органы, доступный для внешних раздражений, живет такой же психической жизнью, как и всякий другой человек¹.

Значит, «первая причина всякого человеческого действия лежит вне его», равно как в движениях невольных, так и в произвольных. И Сеченов доказывает, что в тех случаях, когда движения делаются сознательно, мышечное движение тождественно с деятельностью мышц при чистых рефлексах. И мышцы и двигательные нервы остаются теми же — никаких особых мышц и нервов для произвольных движений не существует. Разница же между первыми и вторыми движениями заключается всего лишь только «во внешних характерах мышечного сокращения, т. е. все дело сводится на более и менее быстрое сокращение одной мышцы и на большее или меньшее укорочение другой».

¹ У нас в стране есть школа для детей, лишенных слуха, зрения и речи. Основные органы чувств у них выключены. И тем не менее дети эти учатся, изучают ремесло, живут и в дальнейшем успешно работают.

Наиболее яркий пример представляет Ольга Скороходова — воспитанница и выученица известного профессора педагогики И. А. Соколянского. Когда Ольга маленькой девочкой, потерявшей чуть ли не в первые месяцы жизни зрение и слух, попала к нему, он был поражен дикостью ребенка — словно звереныш, лишенный малейших проблесков человеческого сознания, сидел перед ним. Но вот Соколянский начал развивать оставшиеся у девочки органы чувств, особенно осязание. И через много лет Ольга Скороходова стала образованным человеком, обходившимся почти без посторонних услуг. Она умеет все делать для себя в быту и написала две интересные книги о своем восприятии мира.

«Теперь по порядку будем искать начала произвольного движения, т. е. возбуждения чувствующего нерва. Потом посмотрим, участвует ли в произвольном движении отросток в головной мозг, задерживающий рефлексы, и как участвует. Исследуем то же самое относительно отростков, усиливающих рефлексы. И если этим рассмотрением исчерпываются все характеры наипроизвольнейшего из произвольных движений, то задача наша кончена».

Что же, собственно, намеревается опровергать автор? Какие тезисы выдвигает перед ним оппонент — несуществующая личность, которая излагает общепринятые взгляды образованных людей общества?

Сеченов вкратце сам формулирует их: берется человек с сильной волей; в основе движений такого человека не лежит ощущение чувственного возбуждения — такие люди не уклоняются от выбранного пути, заглушают в себе голос естественных инстинктов; движения его определяются самыми высокими психическими мотивами, например мыслью о благе человечества; этот человек может быть бесстрастным до предела — это в его воле; всякое внешнее проявление его деятельности лежит в его воле; иногда даже самые произвольные его движения идут наперекор чувству самосохранения; всеми его движениями управляет воля.

И один за другим кропотливо, внушительно и абсолютно доказательно Сеченов разбивает все эти доводы.

Произвольные движения даже самого что ни на есть волевого человека возникают из чувственного возбуждения.

Сеченов начинает издали — от колыбели ребенка. Ведь о характере человека судят по его деятельности, характер же развивается с самого раннего детства, «и в развитии его играет самую важную роль столкновение человека с жизнью, т. е. воспитание в обширном смысле слова. Произвольные движения имеют, стало быть, ту же самую историю развития».

У новорожденного младенца движения инстинктивны, притом их не так уж много: ребенок умеет откры-

вать и закрывать глаза, сосать, глотать, кричать, плакать, чихать и пр. Слушать, нюхать, осязать он не умеет, потому что не умеет еще управлять теми мышцами, которые для этих ощущений нужны. Однако со временем он этому выучивается. Например, чтобы выучиться видеть, надо суметь направить на предмет зрительные оси обоих глаз. И ребенок, которому нравится яркий свет или яркий предмет, чисто опытным путем, постепенно выучивается так направлять оси своих глаз, чтобы изображение этого предмета было наирезкое. Делает он это, разумеется, невольно. Движение мышц, управляющих глазом, невольно развивается в определенном направлении и превращается в конце концов в привычку — становится заученным. Сведение осей глаз на один какой-нибудь предмет дает ясное ощущение этого предмета, а поскольку в это ощущение входит уже и цвет и очертания предмета, ощущение превращается в представление о видимом предмете. Как видно из всего этого, процесс представления не зависит от воли. Через много времени ребенок выучивается щупать вещь, которую видит. Таким же невольным образом, от частых повторений раздражений на слуховой нерв, ребенок выучивается слышать. И постепенно рефлексy со слухового органа переходят на мышцы груди, губ, щек и пр., и ребенок начинает лепетать, пытаясь воспроизвести слышанные им звуки. Акт тоже бессознательный. К этому времени у ребенка уже развиваются многочисленные ассоциации, зрительно-осязательные и слуховые, тысячи раз повторенные на протяжении его короткой жизни. И тут он уже начинает осмысливать речь. Например, ребенок увидел колокольчик и схватил его. Кроме зрительного и мышечно-осязательного ощущения, возникает еще и раздражение звуком слухового нерва. Если весь процесс повторяется часто, ребенок начинает по ассоциации узнавать колокольчик уже по одному звуку. Затем, когда рефлексy со слуха переходят на мышцы языка, появляется и название колокольчика — «динь-динь». Так путем заучивания последовательного ряда рефлексов возникает полное представление о предмете.

Так же воспитываются в ребенке вкус и обоняние. И из сочетания бесконечного количества рефлексов возникают бесчисленные представления, которые служат материалом для всей остальной психической жизни.

Ребенку уже ведомо представление о пространстве — глаза умеют видеть все три направления — высоту, ширину, глубину; слух его улавливает протяженность звуков — и это дает ему представление о времени.

Не останавливаясь на показе развития ощущений и понятий о времени и пространстве, Сеченов вторгается со своими рефlekсами в святая святых психологии — он анализирует память и доказывает, что и она не что иное, как плод частого повторения одного и того же рефlekса, отчего ощущение становится яснее и в скрытом состоянии сохраняется нервным аппаратом; под действием длительных и часто повторяющихся впечатлений в нервных клетках происходит некое биохимическое изменение, и оно навсегда оставляет след в нервном аппарате «...память как свойство чувствующих аппаратов действительно заключается в разнообразной последовательной изменяемости нерва за действием внешнего раздражения».

Объяснив, что такое ассоциация — «непрерывный ряд касаний конца предыдущего рефlekса с началом последующего», Сеченов добавляет, что «конец рефlekса есть всегда движение; а необходимый спутник последнего есть мышечное ощущение». Так что ассоциация — непрерывное ощущение. А так как все дробные ощущения, повторяясь часто, оставляют каждый раз след в форме ассоциации, то сочетание их и выливается в нечто целое. Вот почему малейший внешний намек на часть влечет за собой представление о целом.

Вот и получается, что воспроизведение мысленное, по сущности своего процесса, такой же реальный акт возбуждения центральных нервных аппаратов, как и любое представление, вызванное непосредственным внешним влиянием, действующим в данный момент на органы чувств. Так что видеть перед собой действи-

тельно человека или вспоминать о нем — со стороны нервного аппарата одно и то же. А это значит, что между «действительным впечатлением с его последствиями и воспоминанием об этом впечатлении со стороны процесса, в сущности, нет ни малейшей разницы».

И вывод: «Все без исключения психические акты... развиваются путем рефлексов. Стало быть, и все сознательные движения, вытекающие из этих актов, движения, называемые обыкновенно произвольными, суть в строгом смысле огражденные».

Таким образом, вопрос, лежит ли в основе произвольного движения раздражение чувствующего нерва, решен утвердительно».

«В неизмеримом большинстве случаев характер психического содержания на $\frac{999}{1000}$ дается воспитанием в обширном смысле слова и только на $\frac{1}{1000}$ зависит от индивидуальности. Этим я не хочу, конечно, сказать, что из дурака можно сделать умного; это было бы все равно, что дать человеку без слухового нерва слух. Моя мысль следующая: умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся, со стороны психического содержания, от образованного европейца».

Можно себе представить, как «понравилось» это утверждение русским шовинистам и колонизаторам! За одно это Сеченова следовало «изъять из общества»! А если прибавить еще утверждение, что мысль — это всего-навсего «первые две трети психического рефлекса»; что мысль сама по себе вовсе не может быть побуждением к действию, ибо «первоначальная причина всякого поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении», без которого никакая мысль невозможна; что «страсть, с точки зрения своего развития, принадлежит к отделу усиленных рефлексов», что «все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы»; если учесть, что все это доказано с неумолимой логикой и просто невозможно ничего опровергнуть, станет ясным, почему благодаря своим «Реф-

лексам» Сеченов очень скоро попал в число «неблагонадежных лиц» и оставался таковым до самой своей смерти. Но в науке работа Сеченова имела неопределимые последствия. Она стала отправным пунктом для создания учения Павлова об условных рефлексах и о второй сигнальной системе — системе слова, абстрактного мышления и синтеза представлений, системе специально человеческой.

Сеченов был первым физиологом, который осмелился начать изучение «душевной» деятельности теми же способами, какими изучалась деятельность «телесная», более того — первым, кто осмелился свести эту душевную деятельность к тем же законам, каким подчиняется телесная. Он первый показал единство взаимной обусловленности психических и телесных явлений.

«Да, я рад, — говорил Павлов в 1934 году, — что вместе с Иваном Михайловичем и полком моих дорогих сотрудников мы приобрели для могучей власти физиологического исследования вместо половинчатого весь нераздельно животный организм. И это — целиком наша русская неоспоримая заслуга в мировой науке, в общей человеческой мысли».

«Рефлексы головного мозга» безжалостно расправились с философским дуализмом, и это отрицание специально душевной деятельности, это сведение «нравственных порывов» к влиянию внешних раздражителей и внешней среды, это «попираание высоких принципов» и обнаружение полной несостоятельности религиозных воззрений — все это вселило тревогу в правящие круги и в круги философов-идеалистов.

По поводу «Рефлексов», как некогда по поводу «Антропологического принципа в философии», в обстановке острой и упорной идейной борьбы вокруг всех вопросов науки, литературы, политэкономии и социологии возникла жгучая полемика между двумя передовыми журналами — «Современником», в котором друг Чернышевского Антонович продолжал высоко держать знамя своего учителя, и «Русским словом», возглавляемым Писаревым. Между этими двумя журналами, сыгравшими огромную роль

в формировании мировоззрения молодого поколения, существовало важнейшее разногласие: в понимании сущности материализма.

Полемику открыл в «Русском слове» И. Зайцев, ничего не понявший в сеченовских представлениях об источниках познания и потому отождествивший его взгляды со взглядами философа-идеалиста Шопенгауэра. Зайцев возражал против основного тезиса Сеченова: что психический акт не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения. Он говорил, что мысль может возникнуть и от внутреннего возбуждения. Тем самым в конечном счете утверждал обособленность «внутренней», «духовной» сущности человека.

Антонович едко ответил ему в февральском номере «Современника» за 1865 год. Он показал полное невежество Зайцева в вопросах философии и непонимание им элементарных истин. Он терпеливо разъяснял своему противнику, что тот ровно ничего не понял ни в «Рефлексах головного мозга», ни в материалистической философии. Он утверждал, что любое ощущение возникает только в результате внешнего возбуждения, но само это внешнее возбуждение подлежит дифференциации, смотря по тому, где помещается тот орган, который его испытывает, — на наружной стороне тела или внутри него. Если возбуждение, порождающее страх, начинается в сердце, то из этого вовсе не следует, что страх возникает в результате внутреннего «сердечного» возбуждения.

В любом отступлении от формулировок Сеченова Антонович видел лазейку для признания возможности самопроизвольного возникновения психических актов в сознании «без всякого повода и вызова».

Именно в этом кардинальное расхождение материалистов и идеалистов — в том, может ли у человека ни с того ни с сего, без всякого повода и причины явиться какая-нибудь мысль, или желание, или чувство, или не может.

Идеалисты отвечают: может, потому что признают самостоятельность и первичность сознания. Материалисты, а с ними и Сеченов, направивший всю

силу своей аргументации именно против такого утверждения, считают, что психические акты без определенной причины возникать не могут.

Зайцев вынужден был признать правоту доводов Антоновича. Не во всем, правда; он собирался ответить, в каких вопросах все еще продолжает стоять на своем, но цензура запретила дальнейшую дискуссию.

Цензура запретила и дальнейшее переиздание «Рефлексов головного мозга» отдельной книгой. Правда, это запрещение, по здравому размышлению, пришлось снять, но Сеченову вся эта история стоила немало нервов и горьких минут.

В 1866 году издатель Головачев, зная, с каким неслыханным успехом разошелся «Медицинский вестник» со статьей Сеченова, ставшей сразу же библиографической редкостью, решил издать ее отдельной книгой. Пользуясь тем, что «Рефлексы» были опубликованы в периодической печати, он решил на свой страх и риск набрать, сброшюровать и переплести книгу в трех тысячах экземпляров и только перед выпуском ее в продажу представил положенное количество экземпляров в цензуру.

К этому времени вышла уже «Физиология нервной системы», в предисловии к которой Сеченов писал:

«Написать физиологию нервной системы побудило меня главнейшим образом то обстоятельство, что во всех даже лучших учебниках физиологии в основу частного описания нервных явлений кладется чисто анатомическое начало... Этот способ описывать нервные явления имеет такие огромные недостатки, что уже с первого года преподавания нервной физиологии я стал следовать другому пути, а именно — описывал на лекциях нервные акты так, как они происходят в действительности».

А в действительности все нервные акты, в том числе и психические, происходят по типу рефлексов, иногда с заторможенным концом, иногда же с усиленным, и Сеченов в этом капитальном труде ни на шаг не отходит от своего взгляда на физиологическую науку.

Но «Физиология нервной системы» — бог с ней! —

по существу, это учебник, совершенно неинтересный для широкой публики. Цензура тут не вмешивается. А вот «Рефлексы головного мозга» особенно после их шумного успеха — нет, эта книга не должна увидеть света!

Как это издатель Головачев осмелился издать книгу бесцензурно?! Подать сюда издателя и автора, а заодно и книгу, судить их, арестовать их...

В цензурном комитете, и в Совете министра внутренних дел по делам книгопечатания, и в самом министерстве поднялась такая буря, какую не вызывала до того времени ни одна русская книжка.

7 апреля 1866 года из Главного управления по делам печати к С.-Петербургскому обер-полицмейстеру летит отношение о немедленном запрещении книги Сеченова, «к сему нужным считаю присовокупить, что, если таковое распоряжение не будет сделано до часа судя сего 7 апреля, Головачев может выпустить в свет книгу...»

Вслед за этим начальник Главного управления по делам печати сенатор М. Щербинин выражает свое беспокойство по поводу того, достаточно ли бдительно обер-полицмейстер наблюдает за арестованными экземплярами, и требует срочно и совершенно конфиденциально известить его о распоряжениях сделанных полицией по этому поводу. «Рефлексы головного мозга» лишили сенатора сна, он не может жить спокойно, пока эта книга физически существует на свете.

29 апреля Щербинин приказывает «означенную книгу... арестовать».

Можно было бы, конечно, совершенно конфиденциально дать предписание об уничтожении книги — почему бы, например, не сжечь ее на костре, как это делалось в доброе старое время в Европе?!. Но черт его знает, какие это может иметь последствия!

Надо все-таки как-то соблюсти закон. И сенатор Щербинин отдает распоряжение цензурному комитету о том, что сочинение Сеченова надо «подвергнуть... судебному преследованию». Не только сочинение — автора и издателя тоже, чтобы ни им, ни другим неповадно было.

9 июня того же года на основании распоряжения начальника Главного управления по делам печати цензурный комитет направляет прокурору С.-Петербургского окружного суда отношение:

«...Во исполнение сего С.-Петербургский цензурный комитет имеет честь обратиться к вашему высокоородию с покорнейшей просьбой о судебном преследовании автора и издателя книги «Рефлексы головного мозга» И. Сеченова и об уничтожении самой книги...»

Дальше приводятся основания к этим решительным мерам. Сеченов объясняет психическую деятельность головного мозга, сводя ее к мышечному движению, имеющему всегда источником внешнее материальное действие; все нравственные поступки и моральные качества, все глубокие убеждения и порывы души он объясняет многочисленным рядом психических рефлексов; он ниспровергает понятия о добре и зле и, «разрушая морально основы общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей; она (т. е. книга) не согласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведет положительно к развращению нравов...»

Впоследствии Сеченов писал:

«Из-за этой книги меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма... в наиболее резкой форме обвинение могло бы иметь такой вид:

всякий поступок, независимо от его содержания, считается по этому учению предуготовленным природой данного человека, совершение поступка приписывается какому-нибудь, может быть даже совершенно незначащему, толчку извне, и самый поступок считается неизбежным откуда выходит, что даже злой преступник не виновен в содеянном злодеянии; но этого мало, учение развязывает порочному человеку руки на какое угодно постыдное дело, заранее убеждая его, что он не будет виновным, ибо не может не сделать задуманного.

В этом обвинении пункт развязывания рук на всякое постыдное дело есть плод прямого недоразумения.

В инкриминируемом сочинении рядом с рефлексами, кончающимися движениями, поставлены равноправно рефлексы, кончающиеся угнетением движения.

Если первым на нравственной почве соответствует совершение добрых поступков, то вторым — сопротивление человека всяким вообще, а следовательно, и дурным порывам. В трактате не было надобности говорить о добре и зле; речь шла о действиях вообще, и утверждалось лишь то, что при определенных данных условиях как действие, так и угнетение действия происходят неизбежно, по закону роковой связи между причиной и эффектом. Где же тут проповедь распушенности?»

Никакой проповеди распушенности, разумеется, и не было. Не было и недоразумения в обвинениях — обвинители отлично понимали, о чем речь, и как раз понимание материалистической сущности объясненной Сеченовым психической деятельности и напугало их до смерти.

Но у прокурора судебной палаты, куда было передано дело из окружного суда, возникли серьезные сомнения: он, прокурор, должен точно придерживаться буквы закона, а не рассуждений о нравственности и религии, а где он возьмет такой закон, по которому можно было бы осудить книгу и ее автора? И прокурор, не желая ударить лицом в грязь по такому громкому процессу, вошел в министерство юстиции с представлением о том, что «упомянутое сочинение проф. Сеченова не заключает в себе, по его мнению, таких мыслей, которые могли бы быть подведены под точный смысл уголовных законов и за распространение коих сочинитель, на основании ныне действующих узаконений, мог бы быть признан подлежащим ответственности».

Машина дала обратный ход. Министр юстиции князь Урусов уведомил министра внутренних дел Валуева о затруднениях прокурора, согласился с его сомнениями в успешном окончании судебного преследования по этому делу и присовокупил от себя, что «...гласное развитие материалистических теорий при судебном производстве этого дела может иметь по-

следствием своим распространение этих теорий в обществе, вследствие возбуждения особого интереса к содержанию этой книги...».

Урусов советует быть осторожным и не давать дальнейшего хода преследованию книги Сеченова.

Министр внутренних дел внял умным советам и, хотя был убежден, что этот нигилист и материалист — человек более чем вредный для царской России, ибо на место «учения о бессмертии духа» он, Сеченов, выставил «новое учение, признающее в человеке лишь материю», — судебное преследование вынужден был приостановить.

31 августа 1867 года, через семнадцать месяцев после начала всей гнусной возни, арест с книги «Рефлексы головного мозга» был, наконец, снят.

Три тысячи экземпляров разошлись мгновенно. Это был полный триумф Сеченова и его учения. Но оставаться сейчас в России он не мог — его тянуло подальше от полицейского режима в науке, в спокойную тихую обстановку, где он мог бы, не отвлекаясь, заняться новыми, чрезвычайно интересными исследованиями. И он уехал в Швейцарию.

2

22 сентября Сеченов прибыл в Грац. Здесь профессорствовал старый друг, ученик Людвиг — Роллет. К нему Сеченов приехал вместе с молодым гистологом А. Е. Голубевым, который собирался в Граце готовить свою диссертацию.

На душе у Ивана Михайловича было беспокойно: оказалось, что и он подвержен некоторой страсти, которую так презирал в других.

Незадолго до отъезда из Петербурга он стал замечать за собой нехорошее: он ревновал. Ревновал Марию Александровну — нет, конечно, не к Бокову — к Владимиру Онуфриевичу Ковалевскому, их общему другу, чудному, милому человеку, который стал почти неприкрыто ухаживать за Машей.

Возможно, конечно, что ему только показалось,

я возможно — почему бы и нет? Почему Ковалевский должен был избежать того, чего не удалось избежать ему: почему он не мог влюбиться в Марию Александровну?

Но если он и влюбился, то не следовало ей поощрять эту влюбленность и не потому, конечно, что он, Сеченов, ей не доверяет, а просто не надо допускать ничего, что могло бы вызвать скандальные сплетни и ущемить ее самолюбие. Ведь именно из-за этого, из страха перед скандалом, он ради Маши согласился на неопределенное время скрывать их отношения. Хватит, что и о них слухи бродят в обществе, каково же будет, если еще узнают об ухаживаниях Ковалевского?..

«Расположения духа у меня нет никакого, — пишет Сеченов Марии Александровне, — пароксизмы, имевшие место в последние дни пребывания в Петербурге, разумеется, прошли, но не заменились еще ничем новым... Что-то вы подельваете, мое родное дитячко? Не мучьте себя слишком усиленным писанием, наймите стенографку и пишите с ней в день по пол-листа, а в свободное время учитесь английскому языку и географии... Целую ваши золотые ноженки...»

«Господь с вами, мое неоценимое золото, ходите по вечерам к П. И., ходите с ним кататься, ходите по театрам, приглашайте Ковалевского, только, ради бога, не очень скучайте, а главное — не наваливайте на себя от скуки слишком много работы. Кроме того, я требую от вас положительного обещания приехать сюда в декабре...»

Теперь это было проще: зимой прошлого года умер генерал Обручев; что касается Эмилии Францевны, то она после нескольких недель, прожитых у дочери в Петербурге, начала кое-что понимать. Она пристально наблюдала за отношениями «супругов», она не сводила глаз с постоянного их гостя Сеченова, и от ее испытующего материнского взгляда не ускользнули странные отношения между всеми тремя.

В тревоге вернулась она в Клипенино, а когда Сеченов уехал за границу и Маша стала проситься

вслед за ним, Эмилия Францевна написала зятю письмо, полное скрытой боли и откровенного волнения.

Петр Иванович, этот добрейший человек, жалел «бедную мать», и ответ, который он послал ей, был образцом душевной заботы о ее спокойствии и образцом редкой самоотверженности:

«18 декабря 1867 г.

Высокоуважаемая и дорогая Эмилия Францевна! Я много перед вами виноват, что не отвечал тотчас же на ваше письмо... чтобы сколько можно успокоить и утешить вас о нашей прекраснейшей жизни с Машей... Умоляю поверить мне, что мы с моей дорогой, неоценимой Машей живем, как только подобает самым милым супругам. Она, это «единственное существо», как вы ее называете в вашем письме ко мне, действительно есть «единственное существо», которое я ценю, люблю больше всего на белом свете. Уверяю вас, как честный человек, что мы живем с нею в самых лучших отношениях и если она по характеру сошлась более с удивительным из людей русских, дорогим сыном нашей бедной родины Иваном Михайловичем, так это только усилило наше общее счастье. Вы сами его видели, а я еще к тому прибавлю, что Иван Михайлович, конечно, не говоря уже об уме и таланте его, принадлежит к людям рыцарской честности и изумительной доброты. И вы можете представить, до какой степени наша жизнь счастлива, имея членом семьи Ивана Михайловича.

Говорю вам по совести, что если бы мы лишились его, то это было бы огромное несчастье, равносильней которого трудно себе представить.

Теперь я пользуюсь случаем, чтобы умолять вас полюбить Ивана Михайловича, как родное детище, коим считаю себя уже с давних пор сам, и умоляю не отказать мне в этом.

Послушайте меня, Эмилия Францевна, я вижу в моей дорогой Маше многие черты вашего характера, и это сходство делает из нее женщину, конечно, не простую из смертных, а с «искрою божьей в голове», как говорится. Это могут вам засвидетельст-

воват не я и не Иван Михайлович, а многие из людей, к ней, нам и вам посторонние, и это обстоятельство породило меня с вами с первых дней нашей встречи...

Не прибавляя никакого эпитета к имени моей доброй подруги, я так много чувствую, произнося имя Маша! Многое связано с этим именем в прошлом, настоящем и, без сомнения, будущем и самого дорогого и прекрасного...»¹.

Бедный Петр Иванович! Он все-таки был обыкновенным человеком, пусть с очень доброй душой: зная, что Маша собирается ехать к Сеченову, и зная, что только приезд матери может удержать ее, он умоляет Эмилию Францевну приехать к ним.

Мать не приехала. Поверила ли она этому письму? Она была достаточно умна, чтобы прочесть в нем и то, что было несказанного: Сеченов стал членом семьи, потерять его для них катастрофа, и она, мать, должна полюбить его «как родное детище».

Все это трудно укладывалось в голове. Одно она поняла: если муж, а в любви его к своей дочери она ничуть не сомневалась, если любящий муж мог смириться с вторжением в его жизнь и в его любовь другого человека, а смирился он опять-таки для счастья Маши, то может ли она, мать, стать поперек дороги к этому счастью?

Поплакав и повздыхав и в душе подумав — как хорошо, что отец до этого не дожил! — она решила больше ни во что не вмешиваться и ничему не препятствовать: пусть Маша едет за границу, она разрешает.

Это была первая разлука Марии Александровны с Сеченовым после 1865 года, если не считать тех нескольких недель в году, когда она уезжала к матери в Клипенино. Обоим эта разлука давалась тяжело. Письма Сеченова полны любви, нежности и заботы, он называет ее «моя беллина»², а себя «старой нянь-

¹ Подлинники писем Бокова хранятся в Московском отделе архива Академии наук СССР. Публикуются впервые.

² *Bellina* (итал.) — красивая, милая, дорогая.

кой» и «арапкой», он умоляет не тосковать, не утомляться работой и не ревновать его к Сусловой.

Надежда Прокофьевна окончила Цюрихский университет и приехала в Грац 25 сентября готовить свою докторскую диссертацию. Она была так счастлива снова встретиться со своим дорогим учителем, что, когда эта встреча произошла, разревелась, и Сеченов — по своей «...коровьей природе разнюнился вслед за ней».

Целый вечер просидели они за разговорами — о Цюрихе, о Петербурге, о том, что Сулова по-прежнему мечтает ехать в степи, так как считает, что главной цели нужно принести в жертву все свои стремления.

Ах, вот как? Значит, появились какие-то новые стремления? Краснея, она призналась в своей любви к одному совершенно необыкновенному человеку — профессору Цюрихского университета и социал-демократу Федору Федоровичу Эрисманну.

Сеченов убеждал ее, что нелепо идти наперекор физиологическим законам, что любовь — неизбежное зло в жизни человека, что лучше всего выйти замуж за своего необыкновенного швейцарца. Сулова негодовала на эти уговоры, а Иван Михайлович только посмеивался про себя: «Ничего, придет время, я ей напомню этот разговор!»

Сулова начала работать в квартире у Сеченова в те часы, когда он уходил в лабораторию Роллета, и в те часы, когда он работал вместе с ней над ее диссертацией.

Третьим в их компании бывал Голубев, но этот с приездом Сусловой стал мрачен и нелюдим, и Иван Михайлович, не терпевший, чтобы выставляли напоказ свои настроения и сам всегда прятавший их, раздражался и становился резким с Голубевым. До тех пор, впрочем, пока не понял, в чем дело.

Просто поветрие какое-то — этот тоже, оказывается, влюбился, и в кого бы вы думали? В Сулову! Значит, Сулова в Эрисманна, Голубев в Сулову, а Мария Александровна ревнует его тоже к Сусловой — вот путаница-то!..

Э, распутывать некогда — само по себе все станет на места. Надо работать. Одно удовольствие помогать Сусловой — она так углублена в свои опыты, так много придает им значения, так горячо относится к каждой удаче и неудаче! Банку с лягушками она называет лазаретом, свежих, только что добытых лягушек — молодежью. Работается им весело и донельзя успешно.

Сулова выбрала своей темой лимфатические сердца лягушки — крохотные «моторчики», дающие движение лимфе по телу лягушки, подобно тому как кровяное сердце дает движение крови.

«Как раз для тонких женских рук», — отметил Сеченов.

Опыты ее должны были доказать, что центральное торможение, открытое Сеченовым, распространяется не только на спинномозговые рефлексy, но и на лимфатические сердца.

Параллельно с ее работой Сеченов вел подобные опыты и над центральным торможением кровяного сердца.

Сеченов увлекся этими экспериментами, как, впрочем, увлекался всяким новым исследованием. Уже первые опыты с замечательной яркостью показали правоту ученого — центральное торможение одинаково действенно для целого ряда реакций организма.

Вскоре он убедился: во-первых, раздражение спинного и продолговатого мозга усиливают и учащают движение лимфатических сердец; во-вторых, раздражение кожи приводит к их остановке. Когда они непосредственно раздражали нижние отделы центральной нервной системы — спинной мозг, лимфатические сердца бились втрое-вчетверо быстрее, чем при обычном состоянии. А раздражение кожи останавливало сердце ничуть не хуже, чем раздражение блуждающего нерва в опыте Веберов кровяное сердце.

Вывод очевиден: раздражение с кожи передается в головной мозг и приводит в действие тормозящие центры, они-то и останавливают движение лимфатических сердец. Самое яркое доказательство тому было обезглавливание лягушки: как только лягушке

отрезали голову, остановки сердца от раздражения кожи не происходило.

Удивительно, как бескорыстно относился Сеченов к своей работе! Он, собственно, даже самому себе говорил, что работа эта не его, а Суслевой. И на вопрос Марии Александровны, какие из опытов идут в диссертацию Суслевой, а какие будут напечатаны за его именем, он отвечает:

«Я отдал Суслихе все, что было сделано до 31 октября включительно. Только при этом условии могла в самом деле ее диссертация получить блеск, соответствующий важности события...»

31 октября исследования Суслевой были закончены.

Блистательное подтверждение сеченовской теории центрального торможения! И Сеченов поспешил поделиться своей радостью с Марией Александровной.

Редкостные были у них отношения. Он писал ей, как равный равной, он делился с ней каждым успехом и каждой неудачей в своей научной работе; их духовная близость была так велика, что не существовало мысли, которую они не поспешили бы высказать друг другу. Завидная участь — редко кто мог похвастаться подобным в супружестве.

«Поздравьте меня, мое милое, дорогое, благородное дитяtko, сегодня утром все здание лимфатических сердец и задерживательных механизмов увенчано блистательным образом. Я получил на четырех лягушках при раздражении поперечного разреза *thal. opt.*¹ (того места, откуда происходит по моим прежним опытам задерживание рефлексов) диастолическую остановку всех 4-х лимфатических сердец, такую же остановку кровяного сердца и вместе с тем, разумеется, угнетение спинномозговых рефлексов. Я задохнулся было от радости, потому что этими опытами, вы понимаете, завершается весь вопрос о существовании задерживательных механизмов в головном мозгу. Если они существуют, как принято всеми, для кровяного сердца, то, следовательно, и пр. ...

¹ *Thalamus opticum* (лат.) — зрительный бугор.

Кроме того, в утешение Шиффу и К^о — найден еще другой, не менее значительный факт: вы помните, я вам писал, что если лягушке перерезать все задние спинномозговые корешки, то лимфатические сердца на очень долгое время останавливаются в диастоле. Оказывается, что это состояние есть эффект тонического рефлекторного задерживания именно, если приготовленной сказанным образом лягушке перерезать с одной стороны все сообщающие ветки между симпатической цепью и спинным мозгом, то сердце соответствующей стороны начинает биться, а на противоположной остается в покое. Рядом с этим найдено, что электрическим раздражением сообщающих ветвей возможно вызвать остановку сердца. Теперь я понимаю, зачем судьба толкнула меня за границу и зачем привела в Грац Суслову: решился вопрос, к которому я всегда относился страстнее, чем ко всем прочим в физиологии, и который сидел у меня в голове с тех самых пор, как я в первый раз прочитал мысль Вебера, что усиление рефлексов при отрезывании головы зависит, может быть, от удаления механизмов, тонически ослабляющих рефлексы.

Отчего вас здесь нет, мое золото, чтобы мне можно было поделиться сегодня моим счастьем; с вами я, вероятно, квакал бы от радости. На Суслиху же этот факт произвел прекурьезное впечатление. Сегодня после обеда прихожу к ней веселый, радостный, сообщаю ей об моем счастье и показываю опыты, которые удались. На радостях требую устройства чаев, весело хлопочу, болтаю и вдруг замечаю, что Суслиха грустна. Спрашиваю, почему. После долгих недоговорок оказывается, что ей стало грустно видеть, что я могу воспламеняться фактами из лягушечьей жизни и как мало отдаю своего сердца человеческим интересам, то есть что я уклоняюсь от общественной деятельности (об этом были разговоры и прежде, и она всегда оставалась недовольной мной в этом отношении).

Как ни мало я был расположен к печали, но ее размышления испортили мне настроение духа, и я успокоился только тогда, когда распек ее (разумеется,

дружеским образом) за этот проступок против 31 октября».

9 ноября Сулова, счастливая удачным окончанием диссертации, уезжала из Граца.

И в этот же день пришло письмо от Марии Александровны, в котором она рассказывала, что Боткин собирается уходить из Медико-хирургической академии из-за неприятностей со студентами. Письмо это подействовало на чуткого и преданного Сеченова прескверно — страшно жаль было Боткина, жаль академию, которая так много потеряет от его ухода.

Мелькнули грустные мысли: для кого же тогда работать, сидеть за границей, вдали от родины, от всего дорогого, если уж сами студенты не ценят этого?

«Но потом я одумался, — писал Сеченов в ответном письме, — и положительно осуждаю Боткина... Ведь сам же он говорит, что студенты не наибольшее зло в академии, а начальство. Что касается до моей собственной особы, то мне выйти из академии теперь нельзя уже потому, что в сентябре будущего года она (Сулова) будет держать там экзамены на доктора... Притом нельзя мне отказаться от попытки ввести психологию в круг медицинского образования.

К этим мотивам, из которых Суловой был сообщен, разумеется, только последний, она прибавила от себя следующее: хорошему человеку нужно стараться не в такие места, где людям хорошо, а где им гадко, чтобы можно было спасти кого-нибудь...»

Очень последовательный человек эта Сулова, хоть и молодая совсем; очень она порывиста, но зато как умеет сдерживать свои порывы. Очень целеустремленная и — вот уж кто обязательно добьется своего!

«...Как бы то ни было, а в Суслихе я приобрел вторую родную доченьку, которая принесла мне много счастья. Экой я в самом деле счастливец, беллина, живу, собственно говоря, спустя рукава, без усиленного труда, а между тем все мои мечты сбываются. Такое счастье не сходит с рук даром...»

Он ждет приезда Марии Александровны в нетерпении и тревоге: а вдруг что-нибудь помешает, и она

не придет? Он мечтает «утащить» ее весной в Бразилию, просит не хандрить: «что толку думать постоянно о вещах, от которых болит душа, лучше убежать каким-нибудь образом от этих мыслей».

А душа, в самом деле, болит. Это тайное супружество, постоянные опасения, «как бы не вышло скандала», эти встречи урывками... Вот и теперь, если она и придет на месяц — месяц промелькнет совершенно незаметно. «В этом обстоятельстве, как хотите, чрезвычайно много безобразного, особенно если принять в соображение, что мы живем врозь, собственно говоря, с прошлого мая...»

Наконец она приехала, и день ее рождения, как это и мечталось ему, они провели вместе. И месяц, как он и думал, промелькнул безобразно быстро, и снова расставание, снова одиночество... Таким вот одиноким он будет еще много лет, одиноким, неухоженным холостяком, имеющим жену и не имеющим ее.

И тоска по ней долгие годы будет точить его душу...

Во всем остальном удача действительно улыбалась ему.

Он продолжает изучать закономерности явлений центрального торможения рефлекторным путем, то есть путем раздражения чувствующих нервов. Он раздражает нервы лягушки химически и при помощи электричества. И «...сны, которые виделись мною, когда я писал рефлексы головного мозга, осуществляются...».

Он пропускает через седалищный нерв лягушки слабый индукционный ток — лягушка не реагирует; он повторяет раздражение — опять нет реакции; но на какой-то последующий раз животное вдруг делает скачок.

Что же это за явление? Почему каждый слабый удар тока не действовал, а сумма нескольких ударов вызывала реакцию? Сумма, именно сумма — вот оно объяснение, абсолютно новое явление, которое еще никто не наблюдал. Он повторяет опыты множество раз, и догадка его подтверждается.

Взволнованно формулирует новое открытие — действительно счастливейший человек: что ни опыт, то открытие! — «способность нервных центров суммировать чувствительные, по одиночке недействительные раздражения... до импульса, дающего движение, если эти раздражения достаточно часто следуют друг за другом».

Появляется новое слово — «суммация», слово, навсегда вошедшее в физиологию.

А что такое суммация? Это значит, что всякое раздражение вызывает какие-то изменения в нервных клетках высших отделов нервной системы; суммируясь от незначительных раздражений, эти изменения способны уже давать реакцию. В свою очередь, это значит, что нервная система способна «заряжаться» энергией, что «нервные центры играют тут роль аккумуляторов для поступающих в них раздражений».

Те изменения, которые происходят в нервных клетках, заряженных энергией, остаются навечно.

И Сеченов первый обнаруживает одно из основных свойств процесса возбуждения: оставлять «след» в нервной системе. След, который никогда не исчезает.

В чем же выражается этот след в жизни человека и животного?

...Собаке устроили «музыкальное кормление». Под звук ноты «ми» кормушку наполняли вкусной похлебкой; под ноту «соль» вливали в рот кислоту; нота «си» сопровождалась электрическим током, который пускали собаке в лапу.

Животное с удовольствием лакало похлебку, жалобно визжало и скалило пасть, когда в рот к нему попадала кислота, и неистово скулило и дрожало от электрического тока. Эксперимент продолжался в течение некоторого времени, потом его прекратили.

Пес оправился, забыл о всех неприятностях, которым его подвергали, и жил себе своей нормальной собачьей жизнью. Не совсем, впрочем, нормальной — по ночам, во сне, собака вдруг начинала вздраги-

вать, скалить пасть и визжать, совсем как это было во времена кислоты и электрического тока.

...Человек попал в психиатрическую клинику, хотя на вид был совершенно здоров. Болезнь его проявлялась только во сне: он вдруг начинал страшно браниться, что-то кому-то приказывал, кричал, отдавал команды, словом — становился невменяемым.

Прежде человек этот был военным; точно так вел он себя на фронте, в момент наибольшего напряжения боя.

...Женщина в раннем детстве, до четырех лет, жила в Польше и говорила на польском языке. Когда она попала на операционный стол в больницу, ей было сорок четыре года, и сорок лет она прожила в России, ни разу не слыша польской речи, и никогда больше не разговаривая по-польски сама. Но под наркозом она вдруг быстро и внятно заговорила на польском языке.

Вот что такое «след» в жизни. Механизм этого явления простой: в подкорковых центрах головного мозга сохраняются следы сильных страданий или других длительных и сильных чувственных раздражений; как только кора ослабляет свой контроль — а это бывает во сне, под наркозом, в бреду, — угнетенные силы воскресают и начинают тревожить живое существо.

На этом свойстве головного мозга основана память, ассоциативное мышление, условные рефлексy, открытые много времени спустя Павловым.

Пять лет назад в «Рефлексах головного мозга» Сеченов сделал гениальную догадку о существовании следа, он рассказал о нем как о чем-то, что должно быть и что, несомненно, существует. Теперь он доказал существование следа — этого основного свойства процесса возбуждения, впервые в истории науки доказал его экспериментально.

Огромная научная удача. Сон, который ему когда-то привиделся.

Другие сны не сбываются: Бразилия, Лондон, весеннее путешествие вдвоем с Марией Александровной...

Все это разбито единым махом, одним письмом, полученным 3 марта 1868 года: Мария Александровна решила ехать в Цюрих учиться.

Почему вдруг, что случилось с ней? Неужели лавры Сусловой, восторженно встреченной передовыми людьми после ее приезда в Россию, Сусловой, ставшей уже доктором медицины, — неужели это не дает ей покоя?

Она способна, конечно, воспринимать знания, но мало способна систематически изучать вещи. Ум у нее капризный и не может долго сосредоточиваться на одном предмете — мешает страстность.

И почему медицина? Ведь он-то знает, что медицину она не любит. Значит, действительно это решение — результат того, что раньше они с Сусловой шли рядом, а теперь между их положением такая разница.

И, не задумываясь, он выкладывает ей все это в письме.

Та предельная честность между ними, за которую он так любит свою «беллину», заставляет его с грубой откровенностью высказать ей все свои мысли и сомнения.

И еще он пишет:

«Вывод отсюда таков: при систематическом изучении медицины вы, наверное, выучитесь ей и, может быть, даже полюбите какую-нибудь отрасль ее (хоть, например, офтальмологию); последнюю будете знать хорошо, но не глубоко».

От всего этого у него болит сердце, но он мирится — понимает, что в ее жизни должен же быть кризис, не этот, так другой.

Через несколько дней Сеченов успокаивается.

Это ее решение, ее воля, ее будущее — он не смеет расхолаживать.

И следом за первым идет новое письмо, в котором он утешает, что, в случае если не пройдет отвращение к медицине, она сможет заняться, например, геологией, зоологией или ботаникой, с тем чтобы стать учительницей.

Так что ехать учиться, конечно, надо, а раз это невозможно в России, что ж, Цюрих — отличное место. Он только просит ее заехать сначала в Грац, пожить у него, потом он проводит ее в Цюрих, а летом она приедет на каникулы в Петербург.

Впрочем, он может даже подождать конца летнего семестра и уехать домой вместе с ней.

Одну шпильку он все-таки подпускает:

«С вашим отъездом Ковалевский, я думаю, закроет свою лавочку и тоже отправится в Цюрих учиться медицине. Если это сбудется, что скажете тогда?»

В этом он ошибся — «лавочку» Ковалевский действительно закрыл, только уехал он за границу не вслед за Марией Александровной: Ковалевский протянул руку помощи молоденькой девушке, жаждавшей учиться и вырваться из семьи, сочетался с ней фиктивным браком, ставшим в те годы распространенным явлением. Прелестная Софья Круковская выбила из его головы какие бы то ни было мысли о других женщинах. И в будущем жертва была оправдана: Софья Ковалевская стала гордостью и славой русской науки.

В начале апреля 1868 года, когда Суслова уже сдала экзамены на право практики в России, Мария Александровна отправилась вместе с ней в Вену, где у Сусловой была назначена встреча с Эрисманном (ставшим ее официальным женихом).

Оттуда Мария Александровна выехала в Грац к Сеченову.

Последние дни вдвоем, последние часы, последние минуты...

Поезд увозит их в Цюрих: ее — к осуществлению давней мечты, его — к новому одиночеству.

20 апреля Мария Александровна получает на руки свою путевку в жизнь.

«Соизволением властей и народа Цюрихского по закону № 528, сентября месяца, 1832 г. Ректор и ученый совет Цюрихской Академии выражают свой привет.

После того как Петербургская медицинская студентка Мария Бокова дала священное обещание, что она будет подчиняться установлениям и Академии и Цюрихской общины и будет в своей жизни проявлять такие высокие нравственные качества, какие приличествуют студентке, занимающейся благородными науками, и прежде всего никогда не будет замышлять ничего дурного, что могло бы нанести вред и ущерб нашей Академии, она принята в число членов Цюрихской Академии и получила все права, которыми пользуются ее члены.

В доказательство этого настоящее удостоверение скреплено подписью Ректора и печатью Академии.

Дано в Цюрихе 20 февраля 1868 г.»¹.

Новая студентка Цюрихского университета осталась там изучать науки, Сеченов же, пробыв с ней некоторое время, уехал в Россию.

И тут узнал, что в конце мая 1868 года его провалили на выборах в Академию наук.

Сеченова это не очень потрясло — можно пока работать в другой академии.

3

Но и в другой академии не пришлось долго оставаться.

Иван Михайлович страшно тосковал без Марии Александровны. Только и забывался в своей лаборатории, за любимым делом, в кругу любимых учеников.

Иногда по вечерам он заходил к Бокову и даже заставлял его дома, что теперь довольно редко случалось с Петром Ивановичем.

Человек не может долго питаться безответной любовью. Тем более такой человек, как Петр Иванович Боков. Одним словом, доктор Боков влюбился. Любовь эта была не такой сильной и глубокой, как

¹ Подлинник на латинском языке хранится в Московском отделении архива Академии наук СССР, ошибочно числясь как «Диплом М. А. Боковой». Публикуется впервые.

к Марии Александровне. Но достаточно глубокой, чтобы предложить своей возлюбленной связать с ним судьбу, настолько сильной, что Петр Иванович решился на рискованный шаг и увез ее из дома законного мужа. Боков твердо знал, что Чернышевский на его месте поступил бы точно так же: Татьяна Петровна — новая любовь Бокова — была бесконечно несчастлива в супружестве.

И вот в один из зимних дней 1869 года над головой статс-секретаря Государственного Совета Измайлова разразился неслыханный скандал: его жена, урожденная баронесса д'Альгейм, бежала с врачом Боковым.

Измайлов метал громы и молнии, чуть не с полицией искал беглецов. Но Боков надежно запрятал баронессу в одном из московских переулков, и бешенство Измайлова не нашло себе выхода. Заручившись рекомендательным письмом от Боткина, Петр Иванович довольно скоро приобрел в Москве обширную врачебную практику.

У Сеченова сжалось сердце, когда он узнал об отъезде Бокова. Надо же, чтобы как раз теперь Мария Александровна на три года отбыла за границу! О разводе он, конечно, не стал бы разговаривать — вряд ли она когда-нибудь согласится на эту гнусную процедуру. Но ведь теперь можно было хоть поселиться вместе, пренебрегая сплетнями. Настроения так называемого общества переменчивы, как погода: быть может, сейчас, когда сам Боков открыто пошел на разрыв с женой, общество перестанет осуждать Марию Александровну.

После ухода Якубовича из Медико-хирургической академии Сеченов остался там единственным физиологом и весь курс лекций читал один. Из-под пера его одна за другой выходили научные статьи — что ни статья, то прибавление к прежним открытиям. Писал он их и со своими учениками, всячески при этом стараясь сгладить свою роль и выдвинуть молодого талантливого ученого. Авторитет его возрос необычайно, он был уже избран почетным членом С.-Петербургского университета. В числе новых работ одна

была наиболее интересной: об электрической активности мозга — первый случай применения электрофизиологического метода в оценке состояний центральной нервной системы.

Жить в Петербурге стало веселее: приехала Сулова с мужем Эрисманном, и, кроме традиционных боткинских суббот — теперь уже на новой, вместительной квартире у Пяти Углов, — Сеченов частенько бывал у них.

Очень хотелось повидаться с Мечниковым, чутким и умным другом, но Мечников в то время находился в Италии, куда повез свою больную жену.

Когда в Медико-хирургической академии открылась вакансия на только что организованную кафедру зоологии, Сеченов и Зинин предложили кандидатуру Мечникова.

После знакомства в 1865 году Сеченов виделся с Ильей Ильичом дважды: когда Мечников в 1867 году защищал в Петербургском университете магистерскую диссертацию, и в Граце, куда Илья Ильич заезжал на несколько дней по пути на Средиземное море. Этих двух непродолжительных встреч оказалось достаточно, чтобы два замечательных человека, два выдающихся ученых сердечно привязались друг к другу.

«Мы провели несколько дней в постоянном общении, — пишет Мечников о своем пребывании в Граце, — причем становилось все более очевидным, что мы пришли друг другу по душе».

Еще в 1867 году Сеченов предлагал профессору Глебову пригласить Мечникова в Медико-хирургическую академию на место прозектора при кафедре сравнительной анатомии — тогда Мечников был еще только кандидатом наук, и его будущая работа не определилась.

В письме к Глебову Сеченов писал:

«...Его сочинения показывают отличные дарования и прилежание к наукам (никто не станет спорить, что доказательств в пользу того и другого у г. Мечникова несравненно больше, чем у другого конкурента)...»

Письмо это осталось без последствий, и в апреле

того же года Мечников уехал в Одессу, где был избран доцентом зоологии в Новороссийском университете.

Через год Мечников перевелся в Петербургский университет. Женился на племяннице профессора Бекетова, Людмиле Федорович, и вскоре уехал с ней за границу.

Положение Мечникова в университете было непрочным. Целый ряд видных профессоров собирался привлечь на его место своего кандидата, профессора зоологии Казанского университета Н. П. Вагнера.

Кроме того, жалование Илье Ильичу платили маленькое; болезнь жены, поездка для ее лечения за границу требовали денег, и материальные дела Ильи Ильича были отчаянными.

Сеченов решил написать Мечникову, что университетские профессора были бы рады его уходу с кафедры зоологии и вообще из университета, и предложил ему занять освободившуюся после выхода со службы академика Ф. Ф. Брандта кафедру в Медико-хирургической академии. Мечников с радостью согласился.

Сеченов и Зинин выдвинули Мечникова, группа других профессоров — прозектора академии А. Брандта, сына и ученика знаменитого академика. Этот единственный конкурент Мечникова, по сути дела, не мог даже быть его конкурентом, настолько незначительным он был ученым: диссертация, три небольшие статьи и заметка — вот и весь вклад А. Брандта в науку. Тогда как Мечников к тому времени опубликовал более двадцати работ, сделал массу важных и интересных открытий, особенно в области эмбриологии и отчасти анатомии низших животных.

Все это было отмечено специальной комиссией, которой поручили рассмотрение ученых трудов обоих кандидатов.

В комиссию входили виднейшие профессора академии: Зинин, Грубер и Равич; заключение их было более чем благоприятным для Мечникова.

«Статьи г. Мечникова настолько превосходят статьи г. Брандта числом, трудностью исполнения,

полученными результатами и научным значением, что между ними не может быть никакого сравнения.

Статьи г. Брандта достаточны, чтобы служить основанием для оставления его пока на занимаемом месте.

Статьи же г. Мечникова важны настолько, что заставляют добиваться приобретения его Медико-хирургической академией на место профессора».

После такого заключения конференции Медико-хирургической академии ничего уж не оставалось делать, кроме как баллотировать кандидатуру Мечникова на место ординарного профессора.

Баллотировка состоялась 15 ноября 1869 года. А на другой день Сеченов писал Мечникову:

«Пишу вам, милый, добрый, хороший Илья Ильич, со страшно тяжелым чувством: с одной стороны, я все-таки чувствую себя перед вами виноватым, что втянул вас в дело, которое кончилось неудачей, а с другой — все еще не могу прийти в себя от чувства негодования и омерзения, которое вызвала во мне вчерашняя процедура вашего избрания. Дело происходило следующим образом.

Я предложил вас, как вам известно, в ординарные; комиссия, разбиравшая ваши труды, тоже предложила вас в ординарные, а когда отчет ее был прочитан, я снова заявил Конференции, что вы желаете баллотироваться только в ординарные.

Вслед за этим по закону и разуму следовало бы пустить на шары вопрос о вашем избрании, а между тем президент академии, а вслед за ним Юнге и Забелин... потребовали вдруг предварительного решения следующего вопроса: «Нуждается ли вообще наша академия в преподавателе зоологии в качестве ординарного профессора?»

Это подлое и незаконное заявление, в связи со слухами, начинавшими доходить до меня в последнее время (об этих слухах я вам расскажу после), сразу выяснило для меня положение вашего дела: достойная партия молодой академии не желала вас принять в свою среду, но вместе с тем не хотелось положить на себя срама забаллотировать вас.

Под влиянием этой мысли я стал протестовать против незаконности и неуместности (так как мое предложение вас в ординарные не встретило ни малейшего возражения) предложения президента сколько во мне было сил и при этом руководствовался следующими соображениями: уж если гг. профессора решили не пускать вас в академию, то пусть они по крайней мере публично позорят себя, провалив вас на баллотировке. Так как предложение президента было в самом деле незаконно, то и пущено было на шары ваше избрание.

Все положили шары в ящик, доходит очередь до Юнге: он начинает кобениться, говоря, что при этой баллотировке смешаны разом два вопроса. Ему возражают, что все, кроме него, решили баллотировку, стало быть, ему одному кобениться нечего; тогда он встает и произносит следующий торжественный спич:

«По научным заслугам г. Мечникова я признаю его не только достойным звания ординарного профессора, но даже звания академика, но, по моему убеждению, нашей академии не нужно зоолога — ординарного профессора, а потому кладу ему черный шар».

И вообразите себе злую насмешку судьбы — его-то именно шар и провалил вас, потому что он был 13-м черным против 12 белых!

Верьте мне или не верьте, но вслед за этой подлой комедией меня взяло одну минуту такое омерзение и горе, что я заплакал. Хорошо еще успел вовремя закрыть лицо, чтобы не доставить удовольствия окружающим меня лакеям...

Простите же меня еще раз, что я позволил себе ошибиться, как ребенок, насчет моральных свойств большинства моих почтенных товарищей, но вместе с тем посмотрите, в какую помойную яму попали бы вы, будучи избранным. Говорить перед этим собранием о том, чтобы вы читали по крайней мере по пайму, я не имел положительно слов и, признаюсь вам откровенно, не возьмусь и впредь, потому что отныне нога моя не будет в конференции.

После заседания на вечере у Боткина Якубович

старался доказывать мне, что я проиграл оттого, что вел дело не практически и не заискивал в вашу пользу у таких господ, как герр Цабелин и К°. Может быть, он и прав, но вы, конечно, не обвините меня в том, что я не насиловал ни своей совести, ни своих убеждений ради доставления победы вашему делу; да признаюсь, до самого последнего времени мне и в голову не приходило, чтобы вас могли провалить...

Ради бога, напишите мне скорее ответ, чтобы я уверился, что вы не сердитесь на меня...»

Мечников ответил сразу теплым, дружеским, успокаивающим совесть Сеченова письмом.

Он писал, что получил предложение от ректора Новороссийского университета занять в Одессе кафедру зоологии и что был бы безмерно счастлив переташить туда и Сеченова.

Перспектива соблазнительная, ибо для Ивана Михайловича было ясно, что в среде этих «лакеев» ему не ужитья. Он перестал ходить на заседания конференции, потому что там «часто приходилось бы подписывать свое имя под очень некрасивыми документами» (как писал он Мечникову), он был бы счастлив выйти из сотоварищества с такими лицами, как Забелин, с которыми ему после 15 ноября просто тошно было встречаться.

Ему все яснее становилось, что выйти из Медико-хирургической академии рано или поздно придется и что лучше сделать это рано — сберечь нервы и не тратить дорогое время на разного рода неизбежные неприятности, вместо того чтобы заниматься научной работой.

К великой радости Мечникова, Иван Михайлович ответил на его предложение согласием. Он писал, что твердо решил выйти в отставку, чтобы не быть хотя и невольным участником погружения академии в болото, но что шансов на его утверждение в Одессе немного, так как «министр народного просвещения меня недолюбливает».

Министр просвещения недолюбливал не только Сеченова — все, что было прогрессивного среди русской интеллигенции, не пользовалось симпатиями

графа Д. А. Толстого, принимавшего, между прочим, всякую пропаганду материалистических воззрений как личное оскорбление. Первым «общественно полезным» шагом, который предпринял Толстой, став министром просвещения, было устранение знаменитого Пирогова от руководства подготовкой к профессуре молодых русских ученых, занимавшихся за границей на казенный счет. Толстой признал эту «затею» вредной, Пирогова — человеком лишним. Знаменитого ученого, принесшего так много своими трудами мировой медицинской науке, он уволил в отставку, не дав даже обещанной пенсии.

Народное просвещение, доверенное такому человеку, ничего, кроме вреда, не могло принести России. Этот жандарм от просвещения, ставший жандармом по должности (он занял затем посты министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов), немало бесславных дел натворил за время своего пребывания у власти. Это он опротестовал выборы в Академию наук историка литературы профессора А. Н. Пыпина, потому что Пыпин был двоюродным братом Чернышевского; это благодаря его грязным интригам русская академия запятнала себя несмываемым позором, забаллотировав на выборах великого Менделеева; это он, будучи уже президентом Академии наук, не допустил к работе в ней Мечникова. И он же вместе с другими реакционерами создал новый университетский устав, имевший целью изгнание из университета не только передовых профессоров и студентов, но и самой науки.

Так что Одесса для Сеченова остается пока только мечтой, вряд ли осуществимой.

Но чем больше проходит времени, тем навязчивей становится эта мечта. Одесса — приморский город, чем-то он ему будет напоминать любимую Италию. Тепло и юг помогут избавиться от проклятого радикулита и прочих болячек, заработанных сидением в лаборатории над сырым погребом. И главное, в Одессе нет еще медицинского факультета, значит нет и медицинских профессоров и тех интриг, которые гонят его из Петербурга.

Хорошо бы поработать в Одессе! Может быть, Мария Александровна согласится, наконец, жить там открыто, одной семьей.

Мария Александровна в Цюрихе. Учится успешно, мечтает о будущей деятельности глазного врача. Что-то из этой деятельности выйдет?

Сеченов спешит известить ее о том, что выбран в члены-корреспонденты Академии наук. Все-таки выбрали. А впрочем, к чему их обязывает его членство-корреспондентство? Будут печатать его труды?

Велика важность — их напечатали бы и в других изданиях. Правда, с некоторых пор профессор Зинин снова заговорил с Сеченовым о том, что его, быть может, изберут в действительные члены, но Иван Михайлович не очень-то надеялся, зная, что в Академии наук, как писал он Мечникову, «выбирают не люди, а партии».

Тем не менее разговоры эти нарушили его душевное равновесие: Зинин соблазнял квартирой при академии, хорошим жалованьем и, главное, отдельной самостоятельной лабораторией и ежегодной тысячей рублей для научной работы. Соблазны эти, хоть и не казались реальными, все же заставили Ивана Михайловича заколебаться и повременить с переездом в Одессу.

Был он донельзя утомлен всеми перипетиями в Медико-хирургической академии, чувствовал слабость и головокружение, вернулась к нему и его старая хворь, мучило одиночество и неопределенность, и настроение у него в то время было как нельзя хуже. На лето он уехал к родным в Теплый Стан.

А в конце июля в Петербург приехала Мария Александровна, и Сеченов ожил. С Академией наук все еще было неясно, и Иван Михайлович все больше привыкал к мысли, что поедет в Одессу.

Он написал Мечникову, что готов взять место тотчас после выхода в отставку, но при условии, чтобы ему дали год на отдых. Денег он заработал себе публичными лекциями, значит может некоторое время пожить в свое удовольствие, тем более что к весне 1871 года Мария Александровна закончит курс

в Цюрихе, защитит докторскую диссертацию и тогда они смогут переехать вдвоем.

Мария Александровна вернулась в Петербург готовиться к докторским экзаменам, целые дни зубрила до умопомрачения, и долгое время Иван Михайлович не решался заговорить с ней о своих планах новой супружеской жизни в Одессе. Наконец заговорил.

Нет, она не собирается следовать за ним. Она намерена после окончания курса поселиться в Петербурге. А в Одессу, пожалуйста, придет в гости, хотя бы для того, чтобы полюбоваться морем.

Так, значит снова мечты не сбудутся. Снова, значит, холостяцкая жизнь, с редкими наездами друг к другу. Снова одиночество и нелепое положение — не то женат, не то не женат.

Впрочем, он надеется, что она еще передумает, сейчас ее лучше не трогать: человек готовится к экзаменам, естественно, нервничает, и незачем раздражать его.

И, успокаивая самого себя, он пишет Мечникову, что «вопрос этот нельзя считать законченным».

Мария Александровна пробыла недолго — уже в следующем письме, 12 октября 1870 года, Иван Михайлович пишет Мечникову:

«...Вот вам, мой милый, и все новости дня. Если к этому прибавить, что Марья Александровна уже уехала, что у меня теперь в квартире тихо, как в могиле, что в моей судьбе все еще царствует неопределенность, то вы поймете, что я не особенно приятно провожу время».

Неопределенность с Академией наук, неопределенность с отставкой, с переходом в Одессу, неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне, ибо может случиться и так — отставку он получит, в академию его не изберут и лаборатории не дадут, а в Одессу министр не утвердит.

Постепенно все начало определяться. И почти все так, как он и опасался.

Прежде всего рухнула лаборатория в Академии наук: начальство, мол, заявило, что денег на устрой-

ство лаборатории нет. Сеченов даже обрадовался, что, наконец, наступила хоть в чем-нибудь ясность: «Стало быть, — пишет он Мечникову, — я в самом деле ваш, если министр утвердит».

Разрешился и вопрос с отставкой: после положенного количества визитов профессоров с просьбой не покидать Медико-хирургическую академию, после такого же количества со стороны Сеченова благодарностей за внимание и категорических отказов 28 ноября 1870 года конференция Медико-хирургической академии постановила ходатайствовать перед начальником академии об удовлетворении просьбы Сеченова.

На свое место Сеченов рекомендовал профессора Петербургского университета Илью Фаддеевича Циона, бывшего ученика Карла Людвига, у которого Сеченов и получил самые лестные отзывы о талантах молодого физиолога.

Зная, как скуп Людвиг на высокие похвалы таланту, Сеченов, не задумываясь, предложил Циона как единственного достойного кандидата на кафедру физиологии Медико-хирургической академии.

Какую грубую, непростительную ошибку совершил он! Восхваляя Циона, исходя только из его качеств как физиолога!

Вокруг этого имени с самого начала возникла борьба, и длилась она не один год. Виднейшие профессора, в том числе Грубер и Зинин, дали Циону резко отрицательную характеристику, называя его человеком нечистоплотным в научном отношении, прямо-таки научно-литературным вором; они писали, что ему «абсолютно невозможно поручать руководство юношеством».

Конференция большинством голосов забаллотировала Циона, но Цион выступил в печати в защиту своего научного имени. Кроме того, он пожаловался военно-медицинскому инспектору Н. И. Козлову, и тот, собрав мнения видных заграничных профессоров, представил военному министру Д. А. Милютину доклад о необходимости назначить Циона. И вопреки решению конференции академии Цион приказом был

назначен заведующим кафедрой физиологии на место ушедшего в отставку Сеченова.

С первой же лекции Цион «отблагодарил» Сеченова: он заявил что репутация Ивана Михайловича дутая, что у него нет никаких научных заслуг, что открытое им центральное торможение — чистейший вздор!

Возмущенные студенты дали Циону отповедь, и это было началом раздора между новым профессором и его слушателями, раздора, который кончился чуть ли не студенческим бунтом и забастовкой: студенты требовали избавить их от подобного «учителя».

Но Цион, чувствуя за собой поддержку Козлова и самого Милютина, не стеснялся в своем поведении. Со свойственным ему самомнением он на лекциях высмеивал профессоров, расхोдившихся с ним во взглядах, называл Сеченова виновником нравственного разложения молодежи и заражения ее революционными идеями, вел неприкрытую борьбу против дарвинизма. Правда, у дверей аудитории он просил поставить полицейского, потому что поведение студентов на лекциях не на шутку пугало его — бывали случаи, когда студенты срывали лекции, вслух выражали свое возмущение, а однажды забросали ненавистного профессора тухлыми яйцами.

И вдруг Цион узнал, что просчитался: министр Милютин предложил ему уйти из академии. Беспорядки в военном учебном учреждении порочили деятельность военного министра, и он решил пожертвовать профессором-реакционером, чтобы сохранить престиж академии.

Цион вынужден был прекратить чтение лекций и уехать за границу.

Кончил свои дни этот «ученый», как и следовало от него ожидать: стал в Париже агентом русского самодержавия по разным темным политическим и финансовым делам.

Несколько лет спустя, когда Сеченов узнал об этом, он только руками развел и смущенно сказал самому себе: оказывается, талант еще далеко не все; нравственные качества человека и его мировоз-

зрение — вот что определяет лицо настоящего ученого.

Итак, неопределенность с отставкой тоже проявилась. Оставалось теперь выяснить свои отношения с Новороссийским университетом и, главное, с министром просвещения.

Новороссийский университет, переживавший пору своего младенчества — он был открыт в 1865 году, — с радостью согласился пополнить кадры профессоров таким ученым, как Сеченов.

Своим существованием Новороссийский университет обязан был Николаю Ивановичу Пирогову. Когда в 1856 году Пирогов был назначен попечителем Одесского учебного округа, он поднял вопрос о преобразовании Ришельевского лицея в Новороссийский университет. 20 января 1857 года Пирогов представил министру народного просвещения докладную записку о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений и прежде всего Ришельевского лицея в университет.

В тот год лицеисты, покоренные обаянием и эрудицией Пирогова, нарисовали на него дружеский шарж. Для Пирогова-то он был дружеским, а для второго лица — просто карикатура: Пирогов, трепанирующий череп директору Ришельевского лицея Максимовичу; из черепа он вытаскивает бесчисленные пуки соломы. Подпись: «Округ должен благодарить бога, что попечителем его назначили искусного хирурга...»

Карикатура произвела шум, вряд ли укрепивший положение Пирогова. Правительство не было склонно к радикальным преобразованиям, не нравились министру и критика работы учебных заведений, и вообще лучше было бы убрать Пирогова из Одессы — южная молодежь так темпераментна, кто знает, к чему приведет пребывание ее под руководством такого крамольника и реформатора! Летом 1858 года Николай Иванович Пирогов был переведен в Киев, но дело создания университета не заглохло: новый попечитель, не терявший связи с Пироговым, добился-

таки разрешения властей, и 1 мая 1865 года Новороссийский университет был торжественно открыт.

К 1871 году там уже собрались видные ученые-профессора: ботаник Л. С. Ценковский, искусствовед Н. П. Кондаков, зоолог Мечников, физик Н. А. Умов, предполагалось, что в скором времени откроется медицинский факультет, и заполучить к себе Сеченова начальство университета считало весьма выгодным.

Сеченов не был зоологом, и физико-математический факультет Новороссийского университета, по представлению Мечникова и Беренштейна, срочно присвоил ему степень доктора зоологии.

19 августа 1870 года Совет Новороссийского университета избрал Сеченова ординарным профессором зоологии и 16 сентября представил попечителю Одесского учебного округа его кандидатуру на утверждение.

Стало быть, кончилась и эта неопределенность — избран профессором университета в Одессе. Не тут-то было!

Сеченов знает, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!

И, хлопоча о том, чтобы ему разрешили в качестве ассистента взять с собой в Одессу своего ученика, талантливого физиолога П. А. Спиро, он одновременно сидит за «денежными писаниями», «потому что на всякий случай принужден рассчитывать, что вовсе останусь без места».

Чуть было так и не случилось: величайший русский физиолог, один из величайших физиологов мира, ученый с европейским именем, Иван Михайлович Сеченов, возможно, так и не был бы утвержден профессором Новороссийского университета и вовсе остался бы без места, если бы не чистая случайность, не честность и порядочность профессора Пеликана.

Официального извещения о переводе Сеченов не получал долго, и это не на шутку начинало тревожить его. С 20 декабря он уже не будет в Медико-хирургической академии, жалованья нигде не будет получать; это бы еще полбеды — он мог рассчитывать на заработки публичными лекциями и статьями;

но Сеченов органически не мог сидеть без научной работы, его тянуло к приборам, в лабораторию, к опытам. И он обратился к своему старому другу профессору Менделееву с просьбой разрешить некоторое время поработать в его лаборатории.

«Шансы мои, любезный друг Дмитрий Иванович, на Одесский университет почти = 0; откладывать выход из Академии уже нет причины, а недели через 2 я становлюсь совершенно свободным. Если мое присутствие у вас в лаборатории и обучение меня химии в самом деле не стеснит вас, то напишите два слова. (Эртелев пер., дом Шландера, кв. 22.)

Ваш И. Сеченов».

Двери менделеевской лаборатории при Петербургском университете гостеприимно открылись для Сеченова, и он, получив от своего великого друга тему, на сорок втором году жизни принял «обучаться химии».

19 февраля 1871 года он пишет Мечникову:

«Своей настоящей жизнью я доволен донельзя: работаю больше, чем во время профессорства, и вместе с тем учусь. Понятно, что об скуке нет и помину. Дела в лаборатории двигаются, хотя и медленно, но все-таки двигаются вперед, и я успел уже научиться многим техническим мелочам. Жаль только, что по вечерам у меня не остается времени для чтения, а то я уже был бы готов с повторением химии.

Рядом с этими занятиями у меня идут теперь публичные лекции. Поучительного для меня они в себе, конечно, ничего не заключают, но зато обеспечат мне существование на всю будущую зиму в случае, если я не попаду в Одессу, и, следовательно, дадут возможность подготовиться к новой форме существования...»

Но попасть в Одессу ему очень хотелось. Так хотелось, что он, не дождавшись утверждения в обычные профессорские, написал, что согласен быть экстраординарным, а не дождавшись и этого, — согласился быть доцентом.

Ответа от ректора не последовало. Мечников по-

советовал поговорить с Пеликаном, который так хорошо и уважительно относился к Сеченову, попросить его помощи. Но Иван Михайлович наотрез отказался.

Протекция! До чего она ему была отвратительна! А ведь был случай, он мог легко прибегнуть к протекции, притом очень «высокой особы».

Сеченов, необыкновенно чуткий к нуждам своих студентов, узнал, что один из его слушателей по Медико-хирургической академии, бедный студент, сын сельского священника, тревожился о судьбе единственной сестренки, девочки умной и способной, но лишенной средств к образованию. Недолго думая, Сеченов решил, что девочку надо устроить на казенный счет в Институт благородных девиц.

«Я попросил хлопотать об этом, — вспоминает Сеченов, — товарища по академии, профессора Эйхвальда; дело сладилось, и девочка была принята в институт, когда я уже вышел из академии. Эйхвальд хлопотал от моего имени, и мне пришлось благодарить высокую особу за оказанное милостивое внимание к моей просьбе. Пошел я с единственной мыслью благодарить, и первыми моими словами было, конечно, изъявление благодарности, но затем меня спросили о немецких профессорах, у которых я учился, специально о Брюкке; заметили мимоходом, что я напрасно напечатал «Рефлексы головного мозга», на что я ответил (разговор происходил на немецком языке): «Нужно иметь смелость высказывать свои убеждения». А в заключение я был спрошен, знаю ли лично г. Делянова и в каком положении находится вопрос о моем переселении в Одессу. Высокие лица, конечно, привыкли к тому, что к ним приходят очень часто с просьбами, если не в кармане, то на душе, и этот вопрос был, вероятно, сделан с доброжелательной целью — облегчить выход затаенной в душе просьбы наружу. Но мне и в голову не приходило просить о получении места, и на этот вопрос я ответил: «В эти обстоятельства я совершенно не посвящен».

Тем свидание и кончилось».

В лаборатории Менделеева дела было немало, особенно в марте, перед каникулами. Сеченов спешил покончить со своими химическими делами до закрытия лаборатории, с тем чтобы в мае уехать за границу. В это время он писал Мечникову: «Вы все еще питаете надежды на мое утверждение в Одессу, я же, признаться откровенно, почти уверен в противном. Прежде я верил по крайней мере в возможность ехать туда в качестве доцента, так как ваш ректор писал мне, что попечитель готов утвердить меня своей властью, но теперь, разузнав кое-что об отношениях вашего попечителя к министру, не придаю никакого значения и этому обещанию... Мне даже становится неловко перед вашим университетом, что у него из-за меня целый год остается кафедра пустой...»

Сеченов решил ехать в Лейпциг, где дожидаться известия о том, что Мария Александровна защитила диссертацию: она просила его не присутствовать на защите, чтобы не нервничать перед своим великим другом. Встретиться они должны были в Мюнхене, а оттуда отправиться вместе на Комское озеро. Тут-то как раз и удобно будет съехаться с Мечниковым, все еще находящимся за границей.

Он досмерти соскучился об Илье Ильиче, этом неизменном и деятельном друге. Казалось бы, неудача с избранием Мечникова в академию, в которой до некоторой степени Сеченов считал себя повинным, еще больше сблизил их.

Позабыв на время об одесских неприятностях, в ожидании встречи с любимой женой и другом, Сеченов в отличном настроении выехал из России.

Между тем одесская неудача разрешилась совершенно неожиданно: в то время когда Иван Михайлович выезжал из Петербурга, вопрос о его переводе в Одессу был уже решен.

Тянулась вся эта история несколько месяцев. Тянулась не случайно, не в силу обычного бюрократизма, не потому, что у министерства финансов не было денег на оплату ординарного профессора физиологии в Новороссийском университете.

Повинен в этой волоките был сам Сеченов — автор «Рефлексов головного мозга», возмутитель спокойствия молодого поколения, личность «политически неблагонадежная», подозрительная.

21 октября 1870 года замещавший министра просвещения Толстого И. Деянов послал письмо попечителю Одесского учебного округа С. Голубцову, прошившему об утверждении Сеченова в должности профессора:

«Прежде дальнейшего движения сего представления, считаю долгом сообщить, что г. Сеченов имеет репутацию отъявленного материалиста, который старается проводить материализм не только в науке, но и в самую жизнь. Не будучи специалистом по части физиологии, я не смею судить об ученых достоинствах г. Сеченова, которые и оставляю в стороне, так как они признаны учеными корпорациями, но вменяю себе в обязанность обратить внимание вашего превосходительства на вышеозначенную сторону репутации г. Сеченова и покорнейше прошу вас сообщить мне: можете ли вы иметь уверенность, что преподавание г. Сеченова в Новороссийском университете и близкие его отношения к юношеству не будут иметь вредные последствия на его нравственное развитие и не повлияют вредным образом на спокойствие в университете...»

Вот бы обрадовалась Суслова, если бы могла прочесть это знаменательное письмо! Стало быть, по мнению г. Деянова, а с ним и всех власть имущих, Сеченов придает значение не только опытам на лягушках; то самое равнодушие к общественной жизни, в котором она его так часто упрекала, оказывается вовсе не равнодушием, просто учитель ее избрал иной путь — путь борьбы за материалистическую науку. Что этот путь имеет непосредственное касательство к людям, подтвердилось устами врагов и Сеченова и Сусловой, да и тем фактом, что царские чиновники и министры боялись допустить Сеченова до воспитания юношества.

Но ни Суслова, ни Сеченов, ни даже профессора Новороссийского университета не знали об этом

письме. Письмо Делянова было послано совершенно конфиденциально. И конфиденциально же Голубцов переправил его ректору университета Ф. Леонтовичу.

Леонтович, однако, оказался не так «дальновиден»; в своем ответе Голубцову он писал, что влияние Сеченова будет сказываться только на незначительную часть студентов по отделению естественных наук, и влияние его как ученого с мировым именем не может быть для них не полезным, равно как бесспорно полезной будет преподавательская деятельность Сеченова для самого Новороссийского университета.

Кроме того, «чисто научное влияние университетской среды на молодежь всегда будет у нас господствующим. У нас нет почвы для тех посторонних, чуждых университету и науке влияний, которым легко поддается молодежь в столицах, и поэтому влияние одного лица, не встречая поддержки в общем настроении умов, ограничится только тою стороною, которая не может нарушить общего господствующего направления».

Ошибался Леонтович: в скором времени студенты Новороссийского университета показали, что не так уж далеки их настроения от настроений столичных университетов.

Тем временем вернулся из отпуска министр Толстой, тем временем Сеченов дал согласие на должность экстраординарного профессора, чтобы не было лишних хлопот о дополнительном кредите, и попечитель Одесского округа Голубцов, внявший уверениям ректора университета, написал письмо министру народного просвещения об утверждении Сеченова в должности экстраординарного профессора.

Граф Д. Толстой наложил на это письмо резолюцию: «Настоящее письмо оставить без последствий».

Вот тут-то вскоре и помог Сеченову случай.

Весной 1871 года в Константинополе собиралась Международная комиссия по борьбе с холерой.

Профессор Пеликан, как директор медицинского департамента, отправился туда делегатом от России. Путь его лежал через Одессу.

Встреча с попечителем учебного округа Голубцовым — медиком по образованию, и потому с особым почтением относившемуся к директору медицинского департамента, сыграла решающую роль в одесском деле Сеченова.

В разговоре с высоким медицинским начальством Голубцов, которому не хотелось терять для своего университета такое научное светило, как Сеченов, заговорил о нем.

— Вы ведь, я слышал, Евгений Венцеславович, знаете профессора Сеченова по Медико-хирургической академии. Какого вы о нем мнения?

— Отличного, — не задумываясь, ответил Пеликан. — Человек высокого образования, талантливейший ученый. Россия еще будет гордиться им.

— К сожалению, мы вынуждены отказаться от такой соблазнительной перспективы, как иметь его профессором нашего университета, — в Петербурге Сеченова считают человеком вредных взглядов, и наше ходатайство об утверждении его профессором не получило благоприятного разрешения.

— Бредни! Абсолютно безвредный человек! Кроме своей науки, знать ничего не знает. Вот еще музыку без памяти любит. Смело можете добиваться его назначения, если надо, сошлитесь на мое мнение.

Голубцов воспрянул духом — теперь уж он мог спокойно поручиться, что Сеченов не будет вредно влиять на юношество.

В Петербург, в министерство просвещения, полетело спешное письмо.

Имя Пеликана возымело свое действие. И 14 апреля 1871 года министр народного просвещения подписал приказ об утверждении Ивана Михайловича Сеченова ординарным профессором Новороссийского университета с 22 марта того же года.

Письмо ректора Леонтовича об этих событиях Сеченов получил в Вене. Свое пребывание за границей он решил использовать — закупить для будущей лаборатории оборудование и аппаратуру.

Университет выделил Сеченову пятьсот рублей в возмещение его расходов на переезд в Одессу, но Се-

ченев отказался от них, предназначив на внутреннее устройство физиологической лаборатории.

В конце августа Сеченов со своим ассистентом Спиро выехал в Одессу.

Мечникова не было, когда Иван Михайлович приехал туда. Но, как и было договорено, Сеченов снял квартиру по соседству с квартирой Ильи Ильича на Херсонской улице, у домовладелицы Соколовской.

Одесса сразу же пленила его. Море, бульвары, много зелени, разноречивый говор — итальянцы, французы, греки. И страшная, ни с чем не сравнимая пыль. Широкие улицы, засаженные акациями, становились туманными, как только с моря поднимался хоть маленький ветерок. Зеленые листья деревьев превращались в серые, а человек, осмелившийся выехать за город, возвращался оттуда черным, как негр, от пыли, поднимавшейся над всем взморьем. Благоустройством Одесса не отличалась: не хватало воды, колодцы высыхали, приходилось бегать по городу с ведром или покупать полведра за пятьдесят копеек у местного архиерея.

Одесса представляла собой огромный постоянный двор. По городу бегали туристы, осматривая его достопримечательности. Сами одесситы предпочитали на лето снимать дачи под Москвой или в Крыму, подальше от одесской пыли и гомона.

Сеченова все это ничуть не смущало — тут было главное: море. И еще тут можно было спокойно работать. Впрочем, спокойствие было относительное: первое, с чем столкнулся Сеченов в университете, запутанная и нечистая интрига против химика А. А. Вериги; первый, с кем познакомился Сеченов, был знаменитый профессор ботаники Л. С. Ценковский, покидавший университет из-за этой истории.

Сеченову Ценковский понравился, по его же словам, «как редко кто». Он сразу же попытался отговорить ученого от отставки, но Ценковский пресек эти разговоры. Затем Сеченов познакомился с самим

Вериго — героем всей шумной истории — и близко сошелся с ним.

История была такова. Весной 1871 года на открывшуюся кафедру химии физико-математический факультет избрал доцента А. А. Вериго, поляка по национальности. Совет университета, точнее — его шовинистическая часть во главе с ректором Леонтовичем, это избрание не подтвердил. Факультет вторично избрал Вериго, и вторично на Совете его забаллотировали. Возмущенный интригами Совета Лев Семенович Ценковский, любимец одесского студенчества, замечательный ученый и педагог, подал в отставку.

В заявлении своем Ценковский, не стесняясь в выражениях, клеймит правую группу Совета университета за бесстыдство и инсинуации. Мечников из-за границы поддерживает Ценковского.

Сеченов моментально включается в борьбу с единственной целью — провести избрание Вериго и не допустить ухода Ценковского.

По городу циркулируют слухи, что Сеченов и Мечников тоже подадут в отставку. Назревает скандал. Дело выходит за пределы университета: местные газеты с тревогой констатируют, что университету грозит опасность остаться без лучших своих профессоров, и обвиняют в этом большинство Совета. Правое крыло профессуры пускает в ход старое испытанное средство — клевету; сторонников Вериго обвиняют в личной заинтересованности, в незаконных действиях, в запугивании. Вслед за этим появляется опровержение, и университетские шовинисты выводятся на чистую воду. Ценковский, человек высоких нравственных качеств, не желает больше дышать этим отравленным воздухом и покидает университет.

Сеченов, пользуясь общественным мнением, которое явно на стороне Вериго, и своими личными связями с крупными учеными-химиками, твердо ведет свою линию — в защиту Вериго.

Он шлет телеграммы Менделееву и Бутлерову с просьбой дать отзыв о научных заслугах Вериго. И тот и другой отвечают быстро, и характеристика, которую они дают молодому ученому, великолепна.

Все это вместе взятое: отзывы знаменитых ученых, общественное мнение и скандальная репутация, которая грозит Совету университета, настойчивость Сеченова, которого Леонтович с таким трудом заполучил, — приводит к тому, что в ноябре Совет вынужден подтвердить избрание Вериго экстраординарным профессором кафедры химии.

Сеченов ликует — первая борьба окончилась успехом. Он пишет Мечникову:

«...Мне удался подвиг проведения Вериго в экстраординарные профессора. На сей конец я получил от Менделеева очень лестный для Вериго письменный отзыв об его работах, который и послужил основанием для моего представления, и, кроме того, одобрительные отзывы от Бутлерова, Бекетова, Гарницкого и Марковникова. Но, конечно, все эти доводы не повели бы ни к чему, если б в среде Совета не произошло раскола по поводу студенческой истории...»

Профессор Богишич, преподававший историю славянских законодательств, славился своим грубым обращением со студентами. Студенты долго терпели, но, наконец, не выдержали: однажды, когда на лекции Богишича один из студентов положил голову на скамью, профессор грубо окликнул его: «Вы не в кабаке, здесь не место спать!» Студент поднялся, чтобы вежливо объяснить, что спать он не собирался и просто пристроился, чтобы удобней было слушать лекцию, но профессор не дал ему говорить; расшвыряв, он крикнул: «Вон!», да еще в придачу затопал ногами. Студенты подняли шум и свист. Богишич покинул аудиторию. Студенты перестали посещать его лекции, требуя, чтобы профессор извинился.

Быть может, эта история и не имела бы таких последствий, если бы не было в среде студентов крепкого организатора, считавшего, что подобный случай весьма удобен для боевого крещения студенчества. Таким организатором был слушатель юридического факультета А. И. Желябов, известный впоследствии как один из вождей партии «Народная воля», один из организаторов в 1881 году убийства Александра Торого.

Желябов и другой студент, Белкин, поддерживали в студентах бунтарский дух; агитировали не сдаваться и добиться своего, чтобы, наконец, заставить реакционных профессоров считаться с человеческим достоинством русского студенчества.

Напуганная новым скандалом администрация университета предложила Богишичу внять требованиям студентов и принести свои извинения. Богишич согласился.

В назначенный день чуть ли не весь университет собрался в аудиторию, где профессор Богишич должен был извиняться. Но профессор не явился.

Тогда возникла студенческая сходка, требовали удаления Богишича из университета. Налицо был бунт, надо было принимать срочные меры, было ясно, что миром теперь уже не обойдешься.

Меры были приняты: университет закрыли, главных агитаторов — Желябова и Белкина — исключили из университета и выслали из Одессы.

Когда Желябов и Белкин уезжали, на пристани собралась толпа молодежи, пели запрещенные песни, кричали «ура». Но на этом бунт окончился — студенчество недостаточно было организовано, главные вожди движения высланы. Беспорядки улеглись, но Богишич вынужден был на время уехать из Одессы.

Когда же в следующем году он вернулся, на его лекции почти никто не ходил. Богишич, на этот раз навсегда, покинул университет, в котором студенты осмеливались требовать к себе уважения.

Раскол же в среде университетского начальства произошел потому, что «в суде над студентами, — как рассказывает Сеченов, — сидели все противники теперешнего начальства, т. е. ректора и проректора, желающие занять их места. С этой целью они в судебном приговоре всю вину в этой истории свалили не на грубость Богишича, а на нераспорядительность начальства.

Последнее, а с ним, конечно, и поборники, воспы-
лало гневом, и началась смертельная вражда. Так как партия у теперешнего начальства больше, чем число противников, так как притом и я очень сильно протес-

товал в Совете против выгораживания Богишича и обвинения начальства в его желании покончить дело домашним образом, то понятно, что мой кандидат Вериго прошел и в Совете».

Так Сеченов попал «с корабля на бал» — и в первых же столкновениях с интригами и несправедливостью остался верен себе, чем сразу завоевал расположение студенчества.

Первое время Сеченов жил одиноко, по нелюдимости не сходясь с местными профессорами. Мария Александровна была в Петербурге, «терзалась на экзаменах» в Медико-хирургической академии на право заниматься практикой в России — докторского диплома, полученного ею в Цюрихе летом 1871 года, для этого было недостаточно.

Сеченов устраивал лабораторию — провел газ и воду, с удовольствием занимался ее оборудованием. Но в свободное время было тоскливо: «Одного нет — близких людей, — писал он Голубеву, — но в наши годы это уже роскошь, и я пока обхожусь без оной удовлетворительно, сидя в лаборатории и по вечерам».

В лаборатории он сидел, правда, не один: профессор Вериго частенько помогал Сеченову и его ассистенту Спиро в устройстве нового помещения. Еще в Медико-хирургической лаборатории, где Сеченов всегда работал в окружении учеников, они все частенько певали хором, и голос Спиро отличался замечательной звучностью и природной постановкой. В Одессе же, где Спиро получил в свое распоряжение огромную комнату с великолепным резонансом, он проявил свои таланты всюю.

Здесь, в новой лаборатории, началось многолетнее качание газов из крови. Позже кто бы ни приезжал в Одессу и ни спрашивал Сеченова — ответ он получал всегда стереотипный: «Иван Михайлович качает у себя в лаборатории».

Первое, с чего начал Сеченов, — с установки абсорбциометра, сконструированного им еще в бытность у Людвига. Тогда же, работая над докторской диссертацией, он обратил внимание на состояние газов в крови животных в нормальных условиях и при

алкогольном опьянении. Эта, казалось бы, частная работа настолько заинтересовала ученого, что проблема химизма дыхания, транспортной роли крови и ее дыхательной функции стала одной из основных тем его многообразной и разносторонней деятельности. Этой теме он посвятил с перерывами почти двадцать лет.

Человек выдыхает углекислого газа в десять раз больше, чем вдыхает его из атмосферного воздуха. Кислорода же, наоборот, выдыхает на четыре процента меньше, чем вдыхает. Каковы пути прохождения этих газов в организме и зачем они вообще нужны живому существу?

Мышцы грудной клетки при дыхательном движении расширяются, и в легкие попадает определенное количество атмосферного воздуха, состоящего, как известно, из смеси газов. Кислород из легких проходит в артериальное русло, отсюда попадает в капилляры, которыми пронизаны все ткани организма, в капиллярах артериальная кровь отдает свой кислород для питания тканей и насыщается углекислым газом, полученным в результате биохимического обмена в тканях. Отсюда углекислый газ по венозному руслу выводится в легкие и выдыхается наружу.

Для того чтобы кислород попал в артерии и в капилляры, а углекислый газ из капилляров — в вены и в легочные альвеолы, а затем в воздух, нужно одно очень важное условие: определенное парциальное давление каждого из этих газов.

Воздух, как мы уже сказали, это смесь газов. Окружающая нас атмосфера имеет свое давление — семьсот шестьдесят миллиметров ртутного столба. Но в атмосфере, в этой смеси газов, каждый газ в отдельности обладает своим собственным давлением — оно-то и называется парциальным. Например, кислород, которого содержится в воздухе приблизительно двадцать один процент, имеет парциальное давление, равное двадцати одному проценту от общего давления атмосферы.

Для того чтобы кислород воздуха проник в артерии, его парциальное давление должно быть выше

внутриартериального, в противном случае кислород, содержащийся в артериях, попросту «не впустит» его в сосуды. Из артерий кислород может проникнуть в капилляры опять-таки только в том случае, если его парциальное давление будет выше, чем в этих микроскопических сосудиках. С углекислым газом дело обстоит наоборот: его давление в капиллярах должно превосходить давление в венах, его парциальное давление в венах должно быть выше, чем в легочных пузырьках, а в легочных пузырьках выше, чем в атмосфере; только при этих условиях он может быть выведен из организма.

Если давление кислорода в воздухе равно давлению его в артериях, то есть в том случае, если воздух разрежен и кислорода в нем меньше, чем в нормальном, этот жизненно важный газ не сможет проникнуть в организм, и наступит кислородное голодание. А если парциальное давление кислорода окажется ниже, чем в сосудах, запасы кислорода крови будут беспрепятственно вылетать в атмосферу, и смерть наступит почти мгновенно. То же с углекислым газом: если его парциальное давление в крови равно атмосферному, он не сможет выводиться из организма и будет постепенно отравлять его; если же оно окажется ниже атмосферного, отравление произойдет очень быстро.

Получается любопытная картина: как бы ни был разрежен воздух, легкие все равно будут наполняться им; но кислород в артерии, а стало быть, и в ткани организма, в частности в мозг, не попадет, потому что его парциальное давление в разреженном воздухе ниже нормального. И, значит, кислородное голодание, с ним потеря сознания, а часто и смерть неизбежны.

Все это не было изучено до Сеченова. Все это и заинтересовало его, когда он в самых ранних своих исследованиях поразился своеобразной зависимостью содержания в крови угольной кислоты от ее парциального давления. Уже тогда, работая над диссертацией, он узнал многое: общее количество кислорода и угольной кислоты в артериальной и венозной крови, изменения, которые происходят в содержании этих

газов при различных условиях. Но это было только началом — теперь он хотел знать все: в каком состоянии углекислый газ находится в крови, в каком виде он связан с ней, чем определяется своеобразие связи, так легко разрушающейся при отдаче кровью этого газа в альвеолярный воздух и так легко возобновляющейся при «зачерпывании» его в тканях.

Этим он и занялся в Одессе. Начал с изучения отношения различных составных частей крови к угольной кислоте, чтобы узнать, в каком состоянии она находится в крови. Но кровь слишком сложная жидкость для детального изучения, и, так как она представляет собой не что иное, как сложный солевой раствор, Сеченов для упрощения дела заменил ее более простыми растворами солей, способными вступить в химическое воздействие с углекислотой.

Почему он начал с угольной кислоты? Во-первых, потому, что ее более всего изучил при работе над своей диссертацией; во-вторых, потому, что угольная кислота и ее поведение в организме играют чрезвычайно важную роль для жизнедеятельности этого организма. В сутки человек выдыхает приблизительно восемьсот граммов углекислоты. Она образуется в результате окислительных процессов в тканях тела и оттуда попадает в кровь. Для того чтобы выходить затем через легкие в воздух, угольная кислота должна каким-то образом связываться с другими составными частями крови, потому что одного растворения ее в воде недостаточно. Как и с какими составными частями крови она вступает в связь—это и стал определять Сеченов при помощи своего абсорбциометра.

Уже в Одессе ему удастся доказать громадное поглощение этого газа гемоглобином крови и измерить величину поглощения. Результаты были настолько неожиданны, что Гоппе-Зейлер, отлично знавший и ценивший Сеченова, услышав о них, все-таки усомнился. Но опыты Сеченова отличались безупречностью: было совершенно очевидно, что гемоглобин соединяется в капиллярах тела с образующейся в его тканях углекислотой и что он отдает ее в легочный воздух, когда на это непрочное соединение воздействует

кислород. Стало быть, гемоглобин, о котором было известно, что он переносит по артериальной системе кислород, одновременно переносит по венозной системе углекислоту из тканей. И чем больше углекислоты образуется в тканях, как, например, при усиленной мышечной работе, тем большую роль в ее переносе играет гемоглобин.

Пять лет в Одессе и длинный ряд лет в Петербурге затратил Сеченов на эти опыты.

В первые месяцы пребывания в Новороссийском университете работа в лаборатории не отнимала еще много времени и внимания, и Сеченов с радостью уехал на рождество в Петербург, где Мария Александровна благополучно сдала в Медико-хирургической академии экзамены на право врачебной практики.

10 декабря она получила разрешение на медицинскую практику как доктор медицины, хирургии и акушерства, что значилось в дипломе Цюрихского университета.

Свидание супругов и на этот раз продолжалось недолго: в январе 1872 года Мария Александровна уехала в Вену специализироваться в глазных болезнях. Сеченов вернулся в Одессу.

За границей Марии Александровне жилось несладко. «Надоело шататься по белу свету, — писала она весной 1872 года из Вены В. О. Ковалевскому, — но делать нечего — надо выпить чашу премудрости до конца».

Видно, трудно давалась ей эта чаша! При всем ее мужестве и силе характера ее тянуло к дому, к семье, к настоящей семье, которую не надо было бы прятать. Она жила двойной жизнью: на людях держалась независимо, усвоив себе иронический тон в обращении, всем своим поведением показывала, что вполне довольна избранной ею участью. Наедине сама с собой чувствовала себя неуютно, неприкаянно, старалась не бывать в семейных домах, где больно ощущала разницу между своим положением и положением других женщин.

Особенно остро почувствовала она ложность своего положения в Лондоне, куда ездила с Иваном Ми-

хайловичем и где осталась на некоторое время после его отъезда. В Лондоне тогда жил В. Ковалевский. Позже, когда она уехала в Киев, в клинику известного офтальмолога Иванова, она писала в письме к В. О. Ковалевскому:

«Хожу в клинику, читаю, перевожу, но никогда не вздыхаю о муже. А он процветает, творит чудеса в Москве. Хороший он человек, только мы не созданы друг для друга... Но в Англии, где фальшивое положение, под которым я должна была путешествовать, не раз разрывало мне душу, я не раз искренне жалела, что не переломила в себе разных разностей и не осталась в семье. Знакомых у меня мало, мне еще скучнее, когда я бываю в гостях, все знакомые мои люди семейные, и моя бездомность резче всплывает в моем сознании в этой атмосфере. Уж лучше сидеть скорпионом, пока не удастся завестись домом в Питере и зажить по-человечески... Мой аспид ужасно плачется на меня за свое вечное одиночество, и потому я решила ехать к нему на целый месяц... Мечников остается его верным спутником, а со мной всегда ведет войну. Ему хотелось бы, чтобы я, бросив все (т. е. работу) и высшие стремления, переселилась в Одессу».

Она заполняла свое время как могла плотнее. И потому, что съедала тоска, и потому, что нужны были деньги, — деньги, которых никогда не было вволю ни у нее, ни у Сеченова. Она занималась переводами, которые присылал ей Ковалевский.

Клиника, операции, переводы... И тоска, смертная тоска. Зачем нужно было обрекать их обоих на эту тоску, на вечное одиночество? Почему она, женщина волевая и решительная, не смогла пренебречь своим «фальшивым» положением?

Да, она была мужественной и волевой, но все-таки оставалась обыкновенной женщиной, болезненно реагирующей на всякого рода пересуды и толки, в которых упоминалось ее имя. Она не выносила разговоров ни о чем интимном из своей жизни. В конце концов она сломилась в себе и эту боль и эту ненависть, в конце концов она смирилась и зажила «нас-

тоящим домом, по-человечески». Но это случилось позже, уже в Петербурге, после перенесенного потрясения, когда ей стало ясно, что и Сеченов, всего лишь человек — великий, сильный, талантливый, бесконечно добрый и честный, но человек, нуждающийся, как и она, в присутствии близкого, как и она, не могущий больше вытерпеть невыносимого одиночества.

Это было несколько лет спустя, в Петербурге. Но не в Одессе. Здесь она не могла выдержать ни фальшивости, ни сплетен, в тесном кружке провинциальной интеллигенции, где всякий знал все друг о друге и всякий считал своим долгом перемывать косточки друг друга. Не потому ли в Одессе, в каждый свой приезд, она производила такое неприятное впечатление не только на людей, враждебных ей и Сеченову, но и на друзей, даже на Владимира Онуфриевича Ковалевского?

Профессор Кондаков вспоминает, что всякий приезд Марии Александровны особенно интересовал дам, а самое ее называет фальшивой, хотя и умной женщиной, с иронией относящейся к Сеченову и часто подшучивающей над ним. А В. Ковалевский, приезжавший в Одессу, пишет: «Застал Ивана Михайловича худым и изможденным, а Марию Александровну толстою и повелительною, — нет у него бедного мамаша, чтобы защитить его от мучений и нападок».

«Мамаша» — это был Илья Ильич. Как и Сеченов, вынужденный жить одиноко в Одессе, пока жена лечилась за границей, Мечников весь свой запас любви, всю потребность в нежности и заботе изливал на Ивана Михайловича. Жили они по-холостяцки, душа в душу. Вместе отправлялись в университет, читали лекции, занимались со студентами практическими занятиями, работали в лабораториях. По целым часам из лаборатории Сеченова слышался периодический шум воздушного насоса. По вечерам Сеченов сидел за писанием статей, а Мечников писал возле него письма к жене, на далекую Мадеру. Иногда вместе они бывали у профессора физики Николая Алексеевича Умова, где царила его молоденькая жена, Елена

Леонардовна, привлекательная, искренняя и порывистая, впоследствии «милая кума» Сеченова.

Этот семейный дом был обетованной землей для двух одиноких людей — Сеченова и Мечникова в те полные душевных тревог дни. У Мечникова не было иллюзий о здоровье своей бедной жены, он понимал, что недолго она протянет; Сеченов же тосковал по Марии Александровне, звал ее в Одессу и тоже не обольщался по поводу результатов своих просьб.

Оба отдыхали душой в доме Умовых. Центром их маленького кружка был Илья Ильич — неистощимо остроумный, разносторонне образованный, страстно любивший музыку, как и сам Сеченов.

«Насколько он был продуктивен в науке, — пишет Сеченов о Мечникове, — уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя, — настолько же жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе».

Превосходный имитатор, Мечников до слез смешил друзей копированием знакомых лиц, их голосов, походки, манеры говорить, движений; он не был злым насмешником, но умел подмечать комическое и передавал это так талантливо, что становился неузнаваемым в образе представляемого человека; он был сердечен и даже несколько сентиментален и оттого не любил ходить на трагедии, хотя и был страстным театралом: на трагедиях он неудержимо плакал; он никогда не жаловался на свою судьбу, хотя жаловаться было на что.

Ранней весной 1873 года Мечников срочно выехал из Одессы — пришло письмо о том, что умирает жена. 20 апреля она скончалась. Илья Ильич, на руках которого она умерла, был близок к самоубийству. Потрясенный этой смертью, разбитый и больной, он вернулся в Одессу. В довершение всего у него прогрессировала болезнь глаз, и он мнительно предчувствовал близость слепоты.

К концу декабря в Одессу приехала погостить и Мария Александровна. Мечникова она застала с завязанными глазами, но в состоянии куда лучше, чем он был за границей. Мысли о самоубийстве не воз-

вращались больше, и Илья Ильич, хоть и больной, снова стал утешением для своего старого друга.

На этот раз Мария Александровна пробыла дольше обычного. Затем она поехала в Уфу, куда был переведен брат Владимир (ради того, чтобы скопить денег на эту поездку, она и Сеченов отказали себе в запланированном отдыхе в Крыму), оттуда к матери в Клипенино — и осела в Петербурге.

«Медицинской практики я боюсь, как огня, — писала она В. Ковалевскому, — и решила от нее отделаться... или устроюсь в больницу, или буду век переводить, если не возьмусь за сочинение романов. Сил нет никаких выходить на новую борьбу!»

И с горечью добавляет: «мое зелье» работает весело, живется ему хорошо в Одессе...

Не так уж весело и хорошо жилось ему.

В начале 1874 года одесский кружок друзей пополнился еще одним милым человеком, а Новороссийский университет — еще одним замечательным ученым: после почти целого года хлопот пришло, наконец, утверждение Александра Онуфриевича Ковалевского профессором зоологии. Сеченов до этого встречался с ним дважды: в Сорренто, куда он приезжал вместе с Мечниковым, и в Петербурге, когда Ковалевский приходил к нему в Медико-хирургическую академию, где в лаборатории у Сеченова произвел несколько интересующих его опытов.

А. Ковалевский был немного бирюком и потому не скоро сошелся с сеченовским кружком, но зато сразу же проявил себя как блестящий профессор и завоевал уважение и любовь студентов.

К науке он относился с самоотверженной любовью и очень ревностно. Так как ему для преподавания необходимо было знание студентами гистологии, а кафедры гистологии в университете не было, А. Ковалевский по собственному почину засадил своих слушателей за микроскопы и ежедневно скрупулезно занимался с ними.

Начало его работы в Новороссийском университете не обошлось без анекдота. В то время профессором богословия был молодой священник, понимавший свои

обязанности так, что он должен следить за чистотой преподавания господами профессорами естественных наук. С этими намерениями он посетил вступительную лекцию А. Ковалевского. В какой ужас пришел бедный священник, когда убедился, что новый лектор — махровый еретик. Вся лекция его была проникнута идеями Дарвина, и сам он держался как завзятый дарвинист. Батюшка заявил, что пошлет протест министру просвещения с требованием изгнать крамольника из стен университета. Насилу уговорили его, что теперь, мол, все зоологи заражены дарвинистской ересью и университет рискует вовсе прекратить преподавание этого предмета.

По-прежнему собирался кружок по вечерам то у Умова, то у Мечникова. По-прежнему пел превосходным голосом Спиро, по-прежнему играли иногда в карты, особенно в ералаш, до которого Сеченов был большим охотником.

Нового только и было — очередной провал Сеченова в Академии наук.

Имя Сеченова в научном мире было не менее популярно, чем имя Чернышевского в литературном. Но, к сожалению, не менее «популярно» и у правительства.

20 ноября 1873 года, по представлению шести академиков, в том числе Ф. Ф. Брандта и Ф. Д. Овсянникова, Сеченов баллотировался на заседании физико-математического отделения в адъюнкты академии по физиологии. Длинный перечень трудов и открытий Сеченова был так внушителен, выдвигавшие его академики столь авторитетны, а большинство физико-математического отделения настолько хотело, наконец, пробить брешь в стенах академии и заполучить в свою среду большого русского ученого, что на заседании отделения Сеченов был избран четырнадцатью голосами против семи.

Но стена оказалась непробиваемой: через месяц состоялось общее собрание Академии наук, и Сеченов недобрал двух голосов: два голоса — это была привилегия президента академии.

Двери академии были закрыты для Сеченова.

Как закрытыми оказались они и для Менделеева, Ценковского, Лебедева, Столетова, Мечникова, Тимирязева — лучших представителей русской науки, передовых ученых, известных во всем научном мире.

4

«Не верьте слухам об избрании И. М. в Академию...» — пишет Мария Александровна В. Ковалевскому.

«О неудаче в Академии я сожалею, — пишет Сеченов Менделееву, — но, конечно, не в смысле оскорбленного самолюбия, а потому что придется на старости лет ломать жизнь...»

Ничего, впрочем, удивительного в неизбрании Сеченова не было. С точки зрения реакционной части ученых-академиков человек, написавший «Рефлексы головного мозга», направо и налево пропагандирующий «этого английского революционера» Дарвина, издавший под своей редакцией русские переводы его сочинений, вступивший в спор с господином К. Д. Кавелиным по поводу его «такой милой» книжки «Задачи психологии», материалист и крамольник, не мог рассчитывать на сидение в кругу «бессмертных».

Это было, разумеется, неосторожным — откликнуться на предложение Кавелина обсудить его книжку! Того самого Кавелина, которого В. И. Ленин назвал «подлый либерал Кавелин» за его отвратительную роль в деле Чернышевского.

Но что поделаешь — Сеченов смолоду славился своей неосторожностью там, где речь шла о защите научных принципов. И смолоду он мечтал объединить, наконец, изучение двух наук — физиологии и психологии, поскольку весь его опыт ученого подтвердил, что «Человек, есть определенная единица в ряду явлений, представляемых нашей планетой, и вся его даже духовная жизнь... есть явление земное».

В книге либерала публициста Кавелина содержалось немало нападок на материалистические взгляды Сеченова, высказанные им в «Рефлексах голов-

ного мозга»; много и пространно говорилось о трех философских течениях: идеализме, ложность которого теперь уже ясна каждому, материализме, который доживает свои последние дни, и дуализме, который и представляет собой истинно научную философию. Человек состоит, по Кавелину, из души и тела, отличных друг от друга, самостоятельных начал, которые, однако, тесно связаны между собой и могут быть рассматриваемы как видоизменения одного и того же начала.

Сеченов резко и нелюбезно разоблачает фальшивые взгляды Кавелина, со свойственной ему прямой критикует философский дуализм.

Кавелин напал на психологическую веру Сеченова, веру, претерпевшую коренные изменения со времени студенчества Ивана Михайловича, когда он, увлеченный идеалистическими воззрениями, осмеливался даже вступать в спор с профессорами-психологами, высказывая свои метафизические взгляды.

Тогда это было студенческое увлечение неоперившегося птенца, покоренного туманными понятиями и красивыми фразами философов-идеалистов. Как только Сеченов начал всерьез приобщаться к науке, детское увлечение как рукой сняло, и последовательным материалистом он оставался до конца.

Психология как наука, находящаяся в плену идеализма и метафизики, нуждалась в критическом пересмотре, в приобщении к ней физиологии, и Сеченов еще в Граце, после сделанного им открытия — центрального торможения, стал мечтать о выполнении этой задачи: «Притом, что ни говорите, — писал он из Граца Марии Александровне, — а закончить официальную деятельность актом, логически вытекающим из всего предшествующего, все-таки крайне приятно. Вы понимаете, что под этим я разумею мою лебединую песнь — медицинскую психологию. Так как вся моя душа сидит на ней, то понятно, что производить я могу только в этом направлении... Размышления о психологических вопросах после вечернего чтения так волнуют меня, что мешают часто спать».

И вот час его пробил. Написав «Замечания на кни-

гу г. Кавелина» и отправив их из Одессы в Петербург редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, Сеченов в письме от 2 октября 1872 года пишет ему, что начал вторую часть на эту же тему, но не знает, когда закончит ее, так как страшно занят газами крови и очень нуждается в деньгах, а потому приходится много читать публичных лекций. Но, раз начавши, он уже не может оторваться.

Вторая часть, а по существу, вполне самостоятельная статья, называлась «Кому и как разрабатывать психологию» и вошла в книгу «Психологические этюды», увидевшую свет в 1873 году.

Десять лет прошло с момента опубликования «Рефлексов головного мозга», десять лет формировались взгляды Сеченова на «медицинскую психологию» после того, как он впервые осмелился покуситься на «душу» и утверждать ее материальность в первой своей статье. Это были теперь вполне устоявшиеся взгляды философа-материалиста; с неопровержимой логичностью и доказуемостью он и высказал их в новой статье.

Прежде всего Сеченов доказывал, что решительно все главнейшие стороны психической деятельности могут и должны быть аналитически изучены. «Мысленно мы можем отделять свое тело и свою духовную жизнь от всего окружающего, подобно тому как отделяем мысленно цвет, форму или величину от целого предмета, но соответствует ли этому отделению действительная отдельность? Очевидно, нет, потому что это значило бы оторвать человека от всех условий его земного существования.

А между тем исходная точка метафизики и есть обособленность духовного человека от всего материального — самообман, упорно поддерживающийся в людях яркой характерностью самоощущений».

Бессмысленны утверждения психологов-идеалистов, разделяющих душу от тела и утверждающих, что человек как существо телесное подчинен законам материального мира, а как существо духовное стоит вне этих законов. Как же можно представить себе деятельность головного мозга — а никто не отрицает,

что психическая деятельность без головного мозга невозможна, — как можно себе представить психическую деятельность мозга существующей раньше, чем появился самый мозг?!

А раз это невозможно, раз совершенно ясно, что без головного мозга не может существовать психическая деятельность, и раз деятельность головного мозга, как уже доказано, подлежит физиологическим экспериментам и изучению, стало быть, и психические процессы, развивающиеся в мозгу, можно изучать физиологическими методами.

Освободить психологию от пут метафизики, сделать из нее «положительную науку» может только физиология, «так как она держит в своих руках ключ к истинно научному анализу психических явлений». «Научная психология по всему своему содержанию не может быть ничем иным, как рядом учений о происхождении и психических деятельностей».

Об этом Сеченов писал уже в «Рефлексах головного мозга», сейчас, развивая и вновь подтверждая свои прежние выводы, он ставит задачу исторически проследить развитие психических процессов как в индивидуальном развитии человека, так и в эволюции всего животного мира.

Психические проявления у человека значительно сложнее, чем у животных, но как ни сложны они, их нельзя оторвать от материальных процессов и для более детального изучения надо расчленить на простейшие явления.

Именно поэтому «исходным материалом для разработки психических фактов должны служить как простейшие психические проявления у животных, а не у человека». Сравнительное изучение психологических проявлений у животных и человека могут многое дать для раскрытия природы человеческой психической деятельности, такое изучение «было бы особенно важно в деле классификации психических явлений, потому что оно свело бы, может быть, многие сложные формы их на менее многочис-

ленные и простейшие типы, определив, кроме того, переходные ступени от одной формы к другой».

Но центральный вопрос сущности психических явлений у человека — субъективная их сторона, сознательный элемент. Поэтому, как ни важен сравнительно психологический метод, он только облегчает задачу, но не исчерпывает аналитического изучения психических явлений. И Сеченов излагает свои воззрения с присущей ему негибкой логикой:

«1) самые простейшие из психических актов требуют для своего происхождения определенного времени и тем большего, чем сложнее акт (см. учебник физиологии);

2) психическая деятельность требует для своего происхождения анатомио-физиологической целостности головного мозга (общеизвестно).

Примечание к пункту 2: Сопоставив 1-й и 2-й пункты, выходит, что психическая деятельность, как всякое земное явление, происходит во времени и пространстве;

3) зачатки психической деятельности или по крайней мере зачатки психической деятельности, с которыми рождается человек, развиваются, очевидно, из чисто материальных субстратов, яйца и семени (общеизвестно);

4) через посредство этих же материальных субстратов передаются по родству очень многие из индивидуальных психических особенностей и иногда такие, которые относятся к разряду очень высоких проявлений, например наследственность известных талантов (общеизвестно);

5) ясной границы между заведомо соматическими, т. е. телесными, нервными актами и явлениями, которые всеми признаются уже психическими, не существует ни в одном мыслимом отношении;

6) физиология, оставаясь на своей почве, т. е. изучая явления в теле в связи с устройством последнего, доказала в новейшее время тесную связь между всеми характерами данных представлений и устройством соответствующих чувствующих снарядов или органов чувств (см. учебник физиологии)».

«Физиология представляет целый ряд данных, которыми устанавливается родство психических явлений с так называемыми нервными процессами в теле, актами чисто соматическими». А что такое нервный процесс? Это «недоступный нашим чувствам частичный (молекулярный) процесс в сфере нервов и нервных центров». А нервные явления? Это внешние проявления нервной деятельности, выражающиеся в движении. Вот почему «мысль о психическом акте как процессе движения, имеющем определенное начало, течение и конец, должна быть удержана как основная».

Чем же должен заниматься будущий психолог?

«1) Психология должна изучать историю развития ощущений, представлений мысли, чувства и пр.,

2) затем изучать способы сочетания всех этих видов и родов психических деятельностей друг с другом, со всеми последствиями такого сочетания (при этом нужно, однако, наперед иметь в виду, что слово сочетание есть лишь образ) и, наконец,

3) изучать условия воспроизведения психических деятельностей».

Явления, относящиеся во все три группы, издавна рассматриваются во всех психологических трактатах; но так как в прежние времена «психическим» было только «сознательное», т. е. от цельного натурального процесса отрывалось начало (которое относилось психологами для элементарных психических форм в область физиологии) и конец, то объекты изучения, несмотря на сходство рамок, у нас все-таки другие. История возникновения отдельных психических актов должна обнимать и начало их, и внешнее проявление, т. е. двигательную реакцию, куда относится между прочим и речь. В учении о сочетании элементов психической деятельности необходимо обращать внимание и на то, что делается с началами и концами отдельных актов. Наконец в третьем ряду задач должны изучаться условия репродукции опять-таки цельных актов, а не одной середины их».

Стало быть, разрабатывать психологию надлежит психологам-физиологам и разрабатывать ее с материалистических позиций физиологическими методами.

Кавелин не остался равнодушным ни к «Замечаниям» Сеченова, ни к его же статье «Кому и как разрабатывать психологию». В «Вестнике Европы» он напечатал «Письма», в которых снова повторил свои воззрения, изложенные в «Задачах психологии», ничего нового к ним не прибавив, ничем, в сущности, не пытаясь опровергнуть взгляды Сеченова.

Ивану Михайловичу стало ясно, что спорить дальше бесполезно, и он пишет Стасюлевичу весной 1874 года, что пришел к выводу: с Кавелиным ему не сговориться.

Еще бы! Полемика Сеченова с Кавелиным не осталась полемикой только между ними — весь лагерь идеалистов-метафизиков всполошился после выхода в свет книги Сеченова «Психологические этюды». Сеченов покусился на святая святых! Могли ли господа кавелины найти с ним общий язык? Да ведь это значило признать материализм единственно правильной философией, а физиологию — единственной положительной наукой, способной изучать психические явления! Это значило начисто отказаться от своих теорий и перейти в противный лагерь, столь неугодный правительству и религии.

В. И. Ленин в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» изобразил подходы и взгляды психологов-метафизиков: «Метафизик-биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, не объяснив в частности психических процессов: прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы»¹.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 126—127.

Но фактов-то метафизики и боялись как огня, факты, неумолимые факты, как это показал Сеченов, работали не на них. И они продолжали прятаться как раз за философские построения и общие теории, которые не позволяли поставить изучение психологии на научную почву.

Полемика с Кавелиным подняла на ноги всех психологов кавелинского ряда; множество статей и высказываний последовали друг за другом, и первым среди «возмущенных» был зсолог Страхов, тот самый Страхов, который в 1860 году выступал против материализма Чернышевского.

И тут «в собственном доме» произошла драка: Страхов, опровергая Сеченова-материалиста, однако, признает, что, разбивая Кавелина, тот во многом «бывает победоносно прав». Кавелин насмерть обиделся на Страбова. В защиту Кавелина выступили представители духовенства, и статьи посыпались одна за другой, и во всех сквозила тревога по поводу того, что нет человека, способного «достойно» разоблачить безбожника Сеченова.

А безбожник не собирался умолкать. Статья, вызванная появлением книги Кавелина, статья о «медицинской психологии» не была его лебединой песнью: через пять лет он опубликовал работу «Элементы мысли», а в 1890 году «Впечатление и действительность».

В «Элементах мысли» Сеченов развивает свой эволюционный подход к анализу сложных психических процессов. Он говорит об огромном значении учения Дарвина для материалистической трактовки этих процессов и утверждает, что все стороны органической жизни, включая психическую деятельность животных и человека, не что иное, как «результаты параллельных превращений или развития соответствующих им субстратов».

«Великое учение Дарвина «О происхождении видов» поставило, как известно, вопрос об эволюции или преемственном развитии животных форм на столь осязательные основы, что в настоящее время огром-

ное большинство натуралистов держится этого взгляда.

Этим самым то же самое огромное большинство натуралистов поставлено в логическую необходимость признать в принципе и эволюцию психических деятельности».

А представление о предмете, объективно существующем независимо от нашего сознания, складывается в сознании человека благодаря сигнализации ряда органов чувств, то есть опять-таки есть явление вполне материального ряда.

«Элементы мысли» привлекли к себе внимание Ленина, который, как известно, не раз возвращался к проблеме теории познания. В 1903 году Ленин из Женевы писал М. А. Ульяновой:

«Дорогая мамочка!.. Я прошу... купить мне некоторые книги. О русско-французском словаре я писал. Добавлю еще Сеченова «Элементы мысли» (недавно вышедшая книга)»¹.

«Работа Сеченова «Элементы мысли» имеет то первостепенное значение, что она впервые на строго научной основе поставила вопрос о формировании, становлении так называемого отвлеченного мышления в процессе развития человека. Она показала физиологические корни этого процесса и поставила вопрос о формировании мысли человека в процессе его активного столкновения с предметами внешнего мира» (Коштоянц).

Покончив с Кавелиным и книгой «Психологические этюды», куда вошли также и «Рефлексы головного мозга», Сеченов снова углубился в газы крови. В каждое свое пребывание в Петербурге, куда он ездил к Марии Александровне обычно на рождественские каникулы, он консультировался по этим вопросам с Менделеевым, переписывался с ним и из Одессы. Весной 1874 года, собираясь с Марией Александровной в Крым, он писал Менделееву о новых опытах, сделанных по совету Дмитрия Ивановича

¹ В. И. Ленин. Письма к родным. Партиздат, 1934, стр. 292.

для проверки. «До лета я уже не успею сделать ничего более, так как на Страстной неделе уезжаю в Крым, но зато беру с собой на лето массу книг и с сентября примусь за дело уже иначе. Будьте другом, не откажите в совете и впредь, когда понадобится...»

В этот год случился кризис в отношениях Ивана Михайловича с Марией Александровной. Сказалось душевное одиночество, холостяцкая неустроенность, отсутствие «близкой души», к которому, оказалось, даже в его возрасте не так просто привыкнуть. Сказалась и нервозность самой Марии Александровны, отчего возникали у них трения, неприятные разговоры, вызывающие взаимное раздражение; ее упорное нежелание переехать в Одессу, хотя «высокая» цель была тут ни при чем: Мария Александровна так и не смогла посвятить себя медицинской практике и, сидя в Петербурге, занималась переводами.

Сидела за писанием с утра до ночи, худела и бледнела, и единственное утешение находила в дружбе с Сусловой и Голубевым, который, переехав в Петербург, снова не отходил от Надежды Прокофьевны, как некогда в Граце.

А Сеченов в Одессе тем временем увлекся своей ученицей — он давал ей частные уроки математики и физики. Молодая, привлекательная, умная женщина чем-то напоминала ему далекую юношескую любовь — киевскую Ольгу Александровну — и не на шутку взволновала его воображение. Понимая, что увлечение это неглубокое и недолговечное, Сеченов, однако, терзался им, в душе обзывал себя подлецом, вслух издевался над собой. «Все это от приливов крови к продолговатому мозгу», — говорил он Мечникову.

Он не смел скрыть этого от Марии Александровны. И хотя в письмах были только полунамекы, она сразу почувствовала неладное. Первым ее ощущением была обида. А потом страх. Страх потерять своего великого друга, бесконечно любимого человека, которому она — она это знала — причиняла так много

страданий. И впервые сдержанность изменила Марии Александровне: она написала ему горькое письмо, сетовала на свою судьбу, на свой несговорчивый характер. К тому же она еще и захворала, то ли от пережитых волнений, то ли от переутомления.

Иван Михайлович с болью читал эти запоздалые строки, вызывал в своем сердце жалость к ней и, к ужасу своему, не находил!

Что же это — неужели конец? Да нет, он никогда не допустит, никогда не уйдет от своей «беллины»! Пусть только потерпит немного, он знает, увлечение скоро пройдет.

Молодая женщина уехала из Одессы. Уроки прекратились. Несозревшее, робкое чувство было пресечено в самом начале. Но Сеченов продолжал быть мрачным, совсем сторонился людей и только с Мечниковым охотно проводил вечера, впрочем в полном молчании.

В сентябре 1874 года он написал Голубеву:

«До сей минуты я был настолько скверен, что жил исключительно своими горестями; но письмо М. А. с описанием ее болезни и глухие жалобы на ее душевное настроение, наконец, проняли меня. Дай бог, чтобы я удержался на этом повороте — ее больной душе, я знаю, я нужен. Но куда я принес бы ей своей особой очень мало, потому что внутри происходит все еще сильный кавардак. Продолжайте, ради бога, быть с ней добрым и ласковым, из ее писем видно, что она находит в этом утешение. Что вам сказать о себе? Благодаря тому, что живу постоянно усталым физически, опасные мечтания посещают меня редко и теперь я не боюсь в будущем за голову; но в настоящее время она у меня положительно деревянная — как ни силюсь писать разбор Спенсера, нейдет, и только. Деревянный же я в работе с CO_2 — качаю абсорбциометр изо дня в день, но к тому, что он мне дает, остаюсь совершенно равнодушен. Беда в том, что я не умею найти, на чем или на ком согреть бы мне здесь душу, — уж больно привык сидеть пауком у себя в лаборатории и слишком долго устра-

нял себя от всего, что делается за ее стенами. Когда п как все это кончится, и придумать не могу — верно только то, что я совсем выбит из рельсов. Не пишу вам, Александр Ефимович, больше, потому что сказал в самом деле все, что есть...»

Кончилось это летом 1875 года. Сеченов приехал в Клипенино, и там состоялся капитальный разговор с Марией Александровной. Договорились на том, что по переезде в Петербург они, наконец, заживут неразлучно, настоящим семейным домом, о котором, в сущности, всегда мечтали оба.

Это была последняя зима, проведенная врозь: весной Мария Александровна приехала в Одессу, а в апреле 1876 года Сеченов был переведен в Петербург.

В Новороссийском университете в то время было довольно трудно заниматься химическими проблемами — не хватало лабораторного оборудования и реактивов, не было таких профессоров, у которых можно было бы постоянно консультироваться по чисто химическим вопросам. Кроме того, в Одессе все еще не открылся медицинский факультет, на естественном же студентов было крайне мало, и Сеченов не имел возможности создать там свою школу.

Поэтому он уже давненько подумывал о переходе в столицу; теперь же, когда был пережит такой кризис в его отношениях с Марией Александровной, переезд в Петербург становился жизненно необходимым.

На этот раз Сеченову повезло: во-первых, постоянные донесения попечителя учебного округа министру народного просвещения не содержали в себе никаких упреков в адрес Сеченова; во-вторых, сам министр приехал в Одессу и милостиво говорил с Иваном Михайловичем — значит, можно было надеяться, что переводу его не будут препятствовать.

В феврале 1876 года Совет физико-математического факультета С.-Петербургского университета единогласно избрал Сеченова профессором физиологии, а в апреле последовал приказ по министерству

народного просвещения о назначении его сверхштатным ординарным профессором.

«Приезд из Одессы в Петербург, — вспоминает Сеченов, — памятен мне тем, что на другой день по приезде был тот единственный майский мороз в 6° по всей России, до Кавказа и Крыма включительно, которым задержалась древесная растительность чуть ли не до половины лета. Приехал я с юга, конечно, в летнем платье, остановился у зятя Михайловского и, имея на другой день представиться министру, принужден был ехать туда в енотовой шубе зятя.

Университетское начальство приняло меня любезно и дало отпуск на каникулярное время. Лето я прожил в имении жены, и с этих пор наша семейная жизнь стала, наконец, оседлой, без временных разлук и переездов с места на место. Поселились мы на Васильевском острове, этой милой университетской части города, благо все наши родные и друзья... жили там же».

5

...В квартире дочери декабриста Ивашева, Марии Васильевны Трубниковой, на Б. Конюшенной улице, собралось необычное общество: группа женщин и сорок три виднейших петербургских профессора — Бекетов, Овсянников, Менделеев, Сеченов, К. Н. Бестужев, Глебов, президент Медико-хирургической академии Наронович и другие.

За длинным столом по одну сторону сидели профессора, по другую — учредительницы: Трубникова, Надежда Васильевна Стасова, Евгения Ивановна Конради и еще двадцать семь женщин.

Председательствовавший Наронович, самый старший из присутствовавших, седой, почтенный профессор, сказал маленькую задушевную речь. Сеченов, избранный секретарем заседания, после речи Нароновича сразу же засыпал женщин вопросами:

— Что и как намерены вы устроить? Разработан

ли у вас план? Есть ли надежда, что ваша затея найдет поддержку в официальных кругах?

— Мы хотим поднять женское образование, — ответила Трубникова, — довести его до такого уровня, до какого доведено оно у мужчин. Мы хотим, чтобы у женщин не было пробелов по всем отраслям науки. Но в деле составления планов и программы мы неопытны и просим у вас, уважаемые профессора, помощи.

Поднялся Менделеев.

— Я становлюсь с самого начала на практическую почву — поднимаю вопрос о деньгах. По сей час выслушанному вашему желанию дело идет об учреждении самого широкого женского университета. Это мысль великолепная, к которой давно следовало бы приступить, и все вы, здесь присутствующие, — а вас тридцать женщин, — задавшись целью осуществить эту мысль, достойны глубокого уважения. Я думаю, что мы все, кому вы сделали честь пригласить на обсуждение этого вопроса, должны вас благодарить, что вы пожелаете иметь нас сотрудниками. И я первый вас благодарю.

Менделеев низко поклонился и продолжал:

— Но, приступая к обсуждению приведения в исполнение этого дела, первое, что представляется: а где деньги? Квартира, так как в университете это немыслимо; вся обстановка — мебель, кабинеты, оборудование; содержание прислуги и главный расход — плата профессорам?

— У нас ничего нет, — ответила Стасова, — единственный наш источник дохода — плата за слушание лекций. Мы намерены брать по пятьдесят рублей в год, и вот уж подписалось с лишком четыреста человек.

Слова эти вызвали улыбку на лицах умудренных опытом мужчин. Кто-то воскликнул:

— Как, вы затеваете миллионное дело, а у вас предвидится всего несколько тысяч в год?!

Другие возражали: можно начать и с малого, а там что-нибудь придумается.

Тогда Стасова решилась спросить:

— А сколько надо будет платить профессорам?

На этот раз никто не улыбнулся: профессора в замешательстве переглядывались друг с другом, каждый чувствовал себя сконфуженным, и никто не решался ответить на этот щекотливый вопрос.

Поднялся Сеченов.

— Давайте решим закрытой баллотировкой.

Быстро нарезали сорок три листочка бумаги и роздали их. А когда записки были прочтены, в каждой из них оказалась одна и та же фраза: «Первый год даром».

Потрясенные женщины долго не могли прийти в себя, кто-то неприметно утер батистовым платочком слезы.

Значит, самый главный расход сведен пока к нулю, значит, можно все-таки начинать миллионное дело, почти не имея денег в кармане!

Еще более смущенные профессора решительно отклонили всякое проявление благодарности, и совещание вернулось к деловому обсуждению.

Это было в 1868 году. Десять лет продолжались хлопоты женщин, прежде чем курсы, наконец, были разрешены.

Учредителем был назначен профессор К. Н. Бестужев, под именем которого и известны Бестужевские курсы, и в сентябре 1878 года начались первые лекции. Сначала не раз приходилось менять помещение, а затем было решено построить специальный дом. Двести двадцать семь тысяч рублей собрали так быстро, как никто не ожидал. Суммы стекались со всех концов России, из самых отдаленных уголков ее, и даже из Китая, от русских, живущих там. Через два года на 10-й линии Васильевского острова был выстроен дом Бестужевских курсов.

Сеченов с радостью взялся за преподавание на женских курсах. Не раз потом он говорил, что «барышни» не только не отстают от его студентов-мужчин, но во многом превосходят их.

«Это был женский университет, — вспоминал Сеченов, — о двух факультетах в настоящем смысле слова, возникший из частной инициативы и поддер-

живавшийся почти исключительно своими средствами. Это было в то же время крайне оригинальное учебное заведение, в котором начальница — хорошая, добрая, честная Надежда Васильевна Стасова — и ее помощницы работали даром, вкладывая в дело не только всю свою душу, но и собственные карманы, и поддерживали дисциплину в заведении не строгостями и наказаниями, а любовным отношением к воспитанницам, уговором и лаской. Что это был университет, доказательством служит систематичность 4-летнего курса, читавшегося профессорами, доцентами университета и даже некоторыми академиками. Я читал на курсах то же самое и в том же объеме, что в университете, и, экзаменуя ежегодно и там и здесь из прочитанного, находил в результате, что один год экзаменуются лучше студенты, а другой — студентки. Помню даже, что за все мое более чем сорокалетнее профессорство самый лучший экзамен держала у меня студентка, а не студент... Да, это была заря высшего женского образования в России, и студентки учились прямо-таки с увлечением — и я не раз был свидетелем, как они занимались в стенах своего университета (здание курсов в 10-й линии Васильевского острова) в послеобеденное время. Да и могло ли быть иначе: немногие шли туда от скуки или из моды, а большинство стремилось сознательно и бескорыстно к образованию как высшему благу — говорю «бескорыстно» потому, что оно не давало курсисткам тогда никаких прав, а впоследствии даже лишало их таковых».

Именно потому, что женщины в огромном своем большинстве шли на курсы не от скуки, а ради получения образования; потому, что на курсах этих были передовые по своему времени женщины; из опасений, чтобы женский университет не стал рассадником «крамолы» и слушательницы не передавали свои «вредные» взгляды, почерпнутые ими из лекций профессоров, среди которых много было «неблагонадежных», — правительство приняло меры пресечения подобного «пагубного влияния». Распоряжение исходило от министра просвещения, недоброй славы

И. Д. Делянова. Того Делянова, который уволил известного русского ученого профессора прав М. М. Ковалевского из Московского университета за слова, сказанные им на лекции студентам: «Я должен вам читать о государственном праве, но так как в нашем государстве нет никакого права, то что же я вам буду читать?» Делянова, который провел знаменитый реакционный университетский устав и написал циркулярное письмо о том, чтобы в гимназии не допускались кухаркины дети. Делянова, изгнавшего из Московского университета основателя кафедры гигиены и известного общественного деятеля Ф. Ф. Эрисманна. Этот же гонитель народного просвещения поторопился «обезопасить» государство от образованных женщин.

Петербургский обер-полицмейстер Грессер затребовал из канцелярии курсов аттестаты зрелости всех курсисток; когда аттестаты вернули, на них стояла печать: «Предъявительница сего есть бестужевка». Печать эта явилась клеймом бестужевок: одновременно по всей сети школ было дано указание не принимать в учительницы лиц, на удостоверениях которых стояли такие печати.

А в 1889 году состоялся последний выпуск — министерство народного просвещения закрыло Бестужевские курсы.

Сеченов горячо принимал к сердцу дела женского университета. Он любил своих «барышень», ценил их отношение к делу, жалел за бесперспективное будущее. Редкое письмо к жене, отправляемое Сеченовым из Петербурга, обходилось без упоминания об этих курсах. Даже выпускные вечера он иногда устраивал у себя на квартире, приглашая самых близких своих друзей.

Однажды на такой вечер попала и молоденькая Вера Пыпина, племянница Н. Г. Чернышевского, только что окончившая гимназию. С семейством А. Н. Пыпина Сеченов особенно подружился в этот период своего возвращения в Петербург. Александр Николаевич и его жена Юлия Петровна были желанными гостями в доме Сеченовых, живших довольно

замкнуто и редко кого приглашавших к себе. Мария Александровна, хоть и свыклась со своим «фальшивым» положением, все-таки избегала широкого общества, особенно женского, слишком памятливы были ей сплетни и пересуды одесских, лондонских да и всяких других дам. Но Пыпины были люди передовые, близкие Чернышевскому и обаятельные по натуре, с широкими взглядами.

— Приходите к нам на бал, — пригласил Иван Михайлович как-то Юлию Петровну, — да захватите с собой Верочку. Она хоть и юна, но ей это полезно — пусть посмотрит на моих слушательниц. Есть у меня такие умницы.

Пыпины, мать и дочь, пришли на 4-ю линию Васильевского острова, в дом на углу Большого проспекта, где недавно поселились Сеченовы, в уютную квартирку, заботливо обставленную Марией Александровной.

В зале, за большим столом, заставленным разными яствами, на «председательском месте» сидел сияющий Иван Михайлович, а вдоль всего стола его «барышни» — молодые, нарядные, одухотворенные. Верочка, вчерашняя гимназистка, сконфуженно примостилась у края стола, сидела тихонько, как мышь, и изумленными глазами смотрела на собравшихся. Будто все это была одна семья, так просто и хорошо чувствовали себя девушки, так ласков был с ними Иван Михайлович и так радушно угощала их Мария Александровна, умиленно глядевшая на это новое пополнение серьезных работниц.

Бестужевские курсы были местом отдохновения Ивана Михайловича и действительно его семьей. Он любил атмосферу серьезности, которая царила здесь, любил сердечность и дружественность между слушательницами и их начальством, установившуюся усилиями Надежды Васильевны Стасовой, любил ту жадность, с какой слушали его лекции по физиологии эти молодые женщины, отлично понимавшие, каких трудов стоило устроителям создание их университета. Приятно было сознавать, что и он вложил в организацию курсов свою долю участия, что его любят

и ценят здесь — в этом месте, где нет ни интриг, ни склок и где все и каждый служат одному-единственному делу: святому делу эмансипации женщины.

Он так умело организовывал свое время, что успевал читать лекции у бестужевок и в университете, заниматься со студентами практическими занятиями и выступать с публичными лекциями для населения и, как всегда, массу энергии тратить на научную работу.

Петербургский университет тех лет представлял собой средоточие лучших научных сил: Менделеев, Бутлеров, Овсянников, Чебышев, Бекетов, вскоре избранный ректором университета, — вся эта коллегия жила дружно и могла служить примером редкого единодушия во всех насущных вопросах университетской жизни. За одиннадцать лет пребывания Сеченова в университете ни на одном заседании факультета или Совета ему не приходилось наблюдать ни одного враждебного столкновения.

Между тем университет, как и все русские университеты, переживал трудные времена. Правительственная реакция бушевала вовсю, вновь введенные суровые полицейские меры были направлены не только на поведение студентов в университете, но и на их быт. Студентов же, замешанных в каких бы то ни было университетских беспорядках, лишали права поступления на государственную службу.

Студенты из всех университетских городов, переодевшись в крестьянское платье, шли в народ — переходили из деревни в деревню, из села в село, пропагандируя борьбу с самодержавием. Их вылавливали и десятками сажали в застенки, но на место арестованных шли новые сотни. Пропагандистов-народников судили показательными процессами, а студентов — откуда черпался резерв на место арестованных — преследовали всеми возможными способами. В зданиях университетов сидели переодетые полицейские, «гороховые пальто» — тайные агенты полиции — сновали по улицам и переулкам близости от учебных заведений и возле домов, где жили «подозрительные» студенты и профессора. Ва-

Сильевский остров — этот университетский район — кишел «гороховыми пальто».

1 марта 1881 года народовольцам удалось брошенной бомбой убить Александра Второго. Реакция после этого приняла невиданные размеры. Любое постановление университетского начальства проверялось и могло быть отменено высшими властями, арестовывали и «виновных» и тех, кто никакого отношения не имел к политике. Положение в университетах стало невыносимым. В воздухе носился будущий кабальный университетский устав 1884 года.

Петербургские профессора не могли безучастно смотреть на гибель университета, из которого изгонялись лучшие, талантливейшие студенты. Совет профессоров почти весь, за исключением двух человек, постановил вмешаться в дело, когда была исключена группа студентов. Написали докладную записку и передали ее Делянову. Делянов ответил на это злобным выговором всей университетской коллегии и потребовал, чтобы впредь профессора не вмешивались не в свое дело, предоставив заботу о судьбе студентов высшему начальству.

Но профессора вмешивались. Однажды в осенний вечер Сеченов заметил, как один из агентов, днем и ночью дежуривших на всех линиях Васильевского острова, обосновался на чердаке их дома и отсюда повел наблюдение за домом напротив. Дом этот, как понял Иван Михайлович, давно уже интересовал полицию. Между тем именно в этом доме жил один из талантливейших учеников Сеченова. В своих автобиографических записках Сеченов называет его В.¹ В. жил с братом, кончавшим университет и двумя сестрами, одна из которых была бестужевкой. Это семью и взяла под подозрение полиция, и в одну из ночей обоих братьев В. и сестру-бестужевку после тщательного обыска в квартире арестовали.

Как только Иван Михайлович узнал об этом, он,

¹ Есть основания предполагать, что это был будущий продолжатель сеченовских работ и член-корреспондент Российской Академии наук Николай Евгеньевич Введенский.

не раздумывая, написал письмо в защиту своего ученика и явился с этим письмом на прием к обер-полицеймейстеру Грессеру. Полицеймейстер немало был удивлен смелостью известного профессора, однако выслушал его, прочел записку и обещал выяснить дело дня через два. Сеченов пришел через два дня, говорил еще смелее и настойчивее и добился-таки своего — под его поручительство всех троих выпустили из-под ареста, прочитав предварительно нотацию о необходимости соблюдать высокую нравственность и не вмешиваться ни в какие беспорядки. Сеченову же обер-полицеймейстер «по-дружески» посоветовал не очень доверяться молодежи, которая вся теперь заражена крамолой.

У Сеченова это предупреждение вызвало скрытую улыбку: кто-кто, а он-то хорошо знает цену молодежи. Только с ней — с молодежью, со студентами и учениками — сходитесь он по-настоящему в университете. Двое из них — В. П. Михайлов и Н. Е. Введенский — уже угаданы им как будущие ученые. Он не мешает их инициативе, не навязывает не интересующих их тем; но они сами заражаются страстью учителя: один к физиологической химии, второй — к электрофизиологии. Они уже пишут самостоятельные работы, заслуживающие не только одобрения Сеченова, но и признания научной общественности.

Ну, а сам Сеченов? Он все качает.

Лаборатория в Петербурге куда хуже, чем в Одессе, — две небольшие комнатки и почти никаких приспособлений. Но университетское начальство, особенно заведующий кафедрой физиологии профессор Овсянников, охотно идет навстречу Сеченову в его нуждах, и вскоре лаборатория приобретает все необходимое.

Новый, усовершенствованный абсорбциометр — всю жизнь Сеченов добивался идеальной конструкции этого аппарата — он заказал отличному мастеру, петербургскому механику, содравшему с него пятьсот рублей, почти двухмесячное жалованье. Но Сеченов никогда не останавливался перед расходами, когда это нужно было для дела. Зато инструмент оказал-

ся очень точным, так что, работая им, можно было подмечать куда более тонкие вещи, чем в Одессе.

Еще в Одессе Сеченову стало ясно, что углекислый натрий играет огромную роль в поглощении углекислого газа сывороткой крови; однако сыворотка поглощает углекислый газ совсем по-иному, чем чистый раствор углекислого натрия, представляющего собой соль угольной кислоты (иначе — соль слабой кислоты). Надо проделать множество опытов и выяснить, как соли других слабых кислот поглощают углекислоту. Сеченов работает с одной, другой, третьей солью, и постепенно перед ним вырисовываются интересные и совершенно оригинальные закономерности. И чем яснее становятся эти закономерности, тем большего количества экспериментов они требуют: здесь может выявиться закон, общий закон для растворения растворами солей угольной кислоты. Это, правда, уже имеет отдаленное отношение к физиологии, это больше химия. Физиологи и так упрекают его за отход от физиологии. Но Сеченов не собирается оставлять дело на полпути. Тем более, что химики вовсе не намерены так легко и просто принимать его закон — для них, для химиков, закон может играть роль только в том случае, если речь пойдет не об одной только угольной кислоте — о поглощении соляными растворами всех других газов.

Значит, с одной стороны, различные растворы солей, с другой — поглощение ими различных газов. Поистине сизифов труд!

С великой радостью Сеченов приходит к выводу, что принцип поглощения углекислого газа различными растворами солей одинаков. Но надежды вывести общий закон для всех газов нет никакой: это потребовало бы целой жизни при том методе исследований, который тогда представлялся ему единственно возможным. Сеченов впал в уныние: труд многих лет терял свой главный смысл — его выводы не давали ключа к обширному классу явлений и оставались действительными только, в частности, для угольной кислоты.

В 1879 году, устав от «проклятого CO_2 », принесше-

го ему столько радостей и разочарований, Сеченов на время оставил свое катание и занялся вопросом, интересовавшим тогда довольно широкие круги не только ученых, но и вообще общества.

Три французских воздухоплавателя — Гастон Тиссандье, Кроче-Спинелли и Сивель — на аэростате «Зенит» поднялись на высоту в восемь тысяч шестьсот метров. Полет окончился трагически: аэростат оказался в условиях резко пониженного атмосферного давления, Кроче-Спинелли и Сивель погибли, Тиссандье был обнаружен в кабине в глубоком обмороке. И Сеченов занялся расчетом, отчего могли задохнуться воздухоплаватели на высоте одной трети атмосферы.

Кровь черпает кислород из воздуха легочных пузырьков; кислород, идущий на питание тканей организма, пополняется не чистым кислородом, а воздухом, в котором содержится много других газов; кроме того, далеко не весь вдыхаемый воздух попадает в легочные пузырьки. Человек дышит с механической точностью; тело потребляет сравнительно постоянное количество кислорода (если, конечно, в это время повышенная мышечная работа не требует и повышенного его количества); с подъемом на высоту притекающего в легкие воздуха становится все меньше и меньше, потому что воздух там разрежен; все меньше и меньше в легочных пузырьках становится постоянного кислорода. И, наконец, наступает момент, когда парциальное давление того незначительного количества кислорода, которое находится в легочных пузырьках, становится либо равным, либо ниже парциального давления в артериях. Тогда наступает кислородное голодание, человек задыхается, теряет сознание, гибнет.

Сеченов напечатал статью об этом в Пфлюгеровском архиве и выступил с докладом на VI съезде естествоиспытателей и врачей в Петербурге. Доклад назывался: «Данные касательно решения вопроса о поступлении азота и кислорода в кровь при нормальных условиях дыхания и при колебаниях воздушного давления книзу».

Доклад этот во всех отношениях замечателен: чисто научные выводы легко были приложимы к практике воздухоплавания, а затем, уже в наше время, стали применяться к практике авиации, подводных плаваний и теории межпланетных полетов. Чтобы рассчитать оптимальное давление в герметической кабине межпланетного корабля, нужно в точности знать содержание кислорода и углекислого газа в крови при различных парциальных давлениях этих газов. Когда на втором советском спутнике ученые послали в путешествие вокруг Земли собаку Лайку, именно этот вопрос был одним из важнейших: создать такую кабину, в которой было бы наилучшее парциальное давление газов для дыхания, а стало быть, и питания тканей животного.

Из выводов, сделанных Сеченовым в докладе, следовало, что в аэростатах необходимо создать такие условия, при которых атмосферное давление было бы постоянным, так как понижение давления воздуха, а с ним и понижение парциального давления кислорода выключают физиологические механизмы легочной вентиляции.

Это была первая работа об особенностях физиологических процессов в организме человека в условиях пониженного давления воздуха на определенных высотах.

«Как его друг Менделеев, анализируя причины гибели воздухоплателей «Зенита» в своем докладе в Русском физико-химическом обществе в октябре 1875 года, впервые сформулировал идею герметической гондолы стратостата, так и Сеченов, применив свои многолетние исследования газового обмена организмов для анализа того же события, обосновал новую область физиологии — авиационную физиологию, получившую особое развитие в наше время» (Коштоянц).

Так что, собственно, перерыв в качании был сделан для работы, имеющей прямое отношение к предыдущим исследованиям по газам крови.

Другой, более длительный перерыв наступил несколько позже, когда Сеченов вернулся к своей из-

любленной старой теме — физиологии центральной нервной системы. Этот перерыв привел его к новому открытию — электрических явлений в спинном и продолговатом мозгу лягушки.

2 февраля 1880 года он пишет Мечникову: «...Дыхание я куда совсем оставил и сижу теперь за электрическими свойствами нервных центральных масс. Наклевывается, кажется, очень крупная штука».

А через два года, 14 апреля 1882 года, он писал: «Ваше милое письмо, моя родная, дорогая мамаша, застало меня накануне конца писания работы об гальванических явлениях в продолговатом мозгу... Вообразите себе, милая мамаша, вот только теперь, через 20 лет, мне удалось доказать с достоверностью, что так называемое задержание рефлексов есть истинный... результат угнетения возбудимости в нервных центрах. Не далее как послезавтра буду читать публичную лекцию на эту тему».

С помощью гальванометра он измерял электрические явления в спинном и продолговатом мозгу лягушки и впервые в истории физиологии открыл, что электрический потенциал периодически в определенном ритме колеблется в зависимости от тех импульсов, которые идут из внешней среды в центральную нервную систему. Значит, вся «автоматическая», «самопроизвольная» деятельность нервной системы вовсе не самопроизвольна и не происходит от какой-то неведомой внутренней силы — вся деятельность нервных центров целиком зависит от взаимоотношений организма со средой. В нормальных условиях существования организма ритмические электрические колебания нервных центров стимулируются внешними раздражениями, идущими по центроостремительным нервным волокнам; если же в эксперименте эти центры изолировать, то колебания возникают от раздражений, вызванных в очагах повреждения самой операцией изоляции.

Изучение биотоков организма, начатое Сеченовым, совсем недавно привело к очень интересным и весьма перспективным результатам.

Коллектив Центрального научно-исследовательско-

го института протезирования и протезостроения (в Москве) во главе с доктором технических наук А. Е. Кобринским создал необыкновенный протез — «биоточную руку». Авторы изобретения «уловили» своим прибором биотоки мышечных тканей, идущие из головного мозга, и заставили протезную руку «работать», как живую.

На руку человека, лишённого кисти, надевают манжетку, электроды которой снимают биотоки со сгибаемых и разгибаемых мышц. Человек мысленно «отдает приказ» своей отсутствующей кисти сжаться в кулак, и от этого «приказа» с помощью манжетки и биоточного усилителя сделанная из металла и пластмассы протезная кисть сжимается и разжимается, причем сила сжатия полностью зависит от желания больного.

Это только начало новой эры в протезировании. Биоточная рука открывает гораздо более широкие горизонты: можно будет по такому же принципу, используя биотоки мышц, создавать множество манипуляторов, которые позволят проводить на дальнем расстоянии вредные для организма работы, создавать управляемые ортопедические аппараты, ликвидирующие последствия полиомиелита и инвалидность вследствие этого заболевания.

Сеченов как ученый был необыкновенно удачлив. Каждая работа одаривала его открытием, всегда важным и значительным, и он щедрой рукой сыпал эти дары в кладовую мировой науки.

«Рефлексы головного мозга», которые Павлов назвал «гениальным взмахом сеченовской мысли»; открытие центрального торможения — краеугольный камень физиологии нервной системы; открытие явлений суммации и следа — неоценимый вклад науки в клинику нервных болезней; работа по электрофизиологии — этот фундамент для построения новой отрасли медицинской и биологической науки; разработка медицинской психологии — за что его навеки «заклеймили» именем негибнущего материалиста;

многолетние труды по химизму дыхания, обогатившие химию новым законом и создавшие новую отрасль физиологии: авиационную и глубинную; и, наконец, физиологическое обоснование длины рабочего дня, активный «сеченовский» отдых — первая научная разработка физиологии труда.

У этого необыкновенного ученого было все: подлинная гениальность, всесторонняя одаренность, искрометный ум, огромная эрудиция и общая культура. И еще был у него «талан» — то, чем в народе обозначают счастье, везенье, удачу.

Званием неблагонадежного он мог только гордиться; «клеймо» материалиста нес с честью всю свою долгую научную жизнь. Вся же прочая грязь просто не прилипала к нему. Он отряхивал с себя эту грязь и шел по-прежнему чистый и незапятнанный, честный и несгибаемый, по прямому неуклонному пути материалистической науки.

3 сентября 1885 года ректор С.-Петербургского университета написал попечителю Петербургского учебного округа:

«...На основании ст. 106 университетского устава 1884 года профессор, прослуживший двадцать пять лет в должности преподавателя в университете, удостоивается звания заслуженного профессора.

Принимая в соображение, что служба профессоров в Медико-хирургической академии сравнена в правах со службой профессоров в медицинских факультетах Российских университетов, я имею честь представить о вышеизложенном вашему превосходительству, с приложением формулярного списка о службе действительного статского советника И. М. Сеченова и покорнейше просить об утверждении его в звании заслуженного ординарного профессора с 1-го мая сего 1885 года».

Министр народного просвещения в представлении отказал. 4 ноября Совет университета возобновил ходатайство. Более чем через два года молчания Делянов снова ответил отказом. И снова 5 ноября 1887 года ректор университета взывает к справедливости и представляет Сеченова к званию заслуженно-

го. И в третий раз Делянов отказывает, ссылаясь на то, что настойчивые ходатайства университета могут быть удовлетворены только по высочайшему указанию да еще с согласия министра финансов.

Совет университета не сдавался: Бекетов написал министру просьбу отменить вынесенное решение. Но на этот раз Иван Михайлович категорически запротестовал; он не хочет никаких уступок, никаких милостей ни от министра, ни от кого бы то ни было другого и просит не давать ходу заявлению Бекетова.

Таково было отношение царских министров к великому русскому ученому Сеченову. Для них он был бельмом на глазу, от которого они охотно избавились бы.

Тихо и мирно текла жизнь Сеченова в первые годы возвращения в Петербург. Дома он отдыхал от науки, и университета, и от тягостных общественных событий. Чистенькая уютная квартирка, домашний очаг, карточные и музыкальные вечера. Небольшой круг друзей и знакомых, традиционные субботы у Боткина.

Не те это были субботы, что прежде, стали они солидней и скучнее. Лежал в параличе веселый Пеликан, не было Якубовича и Ловцова, постарели давнишние друзья. И только Боткин оставался таким же добрым и радушным хозяином, хотя и у него на душе при кажущемся внешнем благополучии было беспокойно, — здоровье его подорвалось с тех самых пор, как враги устроили на него травлю воспользовавшись знаменитой в то время историей Наума Прокофьева.

А врагов у Сергея Петровича было немало. Так называемая «немецкая» партия в академии не гнушалась никакими средствами, чтобы подорвать завидную популярность великого клинициста. Когда в 1864 году он заболел тяжелой формой сыпного тифа, заразившись от своего пациента, они заявили, что «Боткин сошел с ума, наступил конец его карьеры». Когда он впервые ввел название новой, открытой им формы тифа, они издевались, называли это «сочинением доктора Боткина», а потом, когда термин

«возвратный тиф» завоевал себе во всем медицинском мире Европы права гражданства, сами направо и налево ставили этот «выдуманый диагноз». Они специально съезжались в академию, чтобы поймать Боткина на какой-нибудь ошибке и ославить его затем на весь мир. Так они ехидствовали, когда Сергей Петрович поставил редчайший прижизненный диагноз — закупорку воротной вены, и злобно шипели, когда диагноз этот подтвердился.

Но главный удар они нанесли в 1879 году.

Незадолго до этого в Астраханской губернии, в станции Ветлянка, появилась чума. Боткин сделал сообщение на заседании Общества русских врачей, председателем которого был избран в 1878 году. Он предложил членам общества принять участие в борьбе против распространения этой губительной болезни. Призыв был принят, внимание врачей к сомнительным случаям заболеваний — обострено. И вот в клинику Боткина пришел больной, дворник Наум Прокофьев, с выраженными признаками бубонной чумы. Боткин продемонстрировал больного студентам, назвал свой предположительный диагноз и решил подвергнуть Прокофьева всестороннему исследованию и строгой изоляции.

Слух о чуме в Боткинской клинике моментально разошелся по городу. В столице началась паника. Правительство, вместо того чтобы усилить охрану народного здоровья, поблагодарить Боткина за предупреждение, встретило его сообщение в штыки. Назначили «высочайшую» комиссию, которая наполовину состояла из той же враждебной Боткину партии, и комиссия признала его диагноз ошибочным.

Была ли это действительно врачебная ошибка? Заболел ли Наум Прокофьев, а за ним и несколько других петербуржцев в разных концах столицы, «ветлянской чумой»?

Вероятней всего, это была неизвестная в то время болезнь: туляремия, возбудитель которой открыли только в 1912 году и которая по своим симптомам сходна с бубонной чумой. Но не в этом суть.

Выступая на заседании Общества русских врачей,

Сергей Петрович сказал: можно назвать подобное заболевание легкой чумой или бубонным тифом, но как бы ни называть, оно — острое инфекционное заболевание, требующее к себе самого пристального внимания.

И в этом он был безоговорочно прав.

Наум Прокофьев выздоровел, и тревога скоро улеглась. Но травля Боткина продолжалась еще несколько недель. Катков в «Московских ведомостях» договорился до того, что Боткин... биржевой игрок и сознательно посеял панику, чтобы сыграть на понижении курса рубля!..

Все время, что его травили и дергали, Сергей Петрович держался внешне спокойно. Но история с чумой подкосила его: именно с этого времени, по утверждению врачей, началось сердечное расстройство, а вскоре и первый приступ грудной жабы. Случись это с кем-нибудь из его пациентов, он бы сразу всполошился, но для себя Боткин оставил угрожающие симптомы без внимания — признать их подлинную сущность значило признать невозможность работать. Как раз то, без чего Сергей Петрович не мог жить.

Когда через несколько лет после этой истории доктор Белоголовый обследовал уже тяжелобольного Боткина и предложил ему оставить на год клинику и уехать лечиться на юг, Сергей Петрович, побледнев от волнения, закричал:

— Ну, как ты можешь подать такой совет? Да разве ты не понимаешь, что клиника — все для меня и без нее я жить не могу?! Я тогда совсем пропащий человек...

Вот почему этот лучший диагност своего времени не распознал у себя сердечную болезнь: он не хотел ее распознавать.

Он продолжал работать, как будто ничего чрезвычайного не случилось. Став гласным городской думы, он в течение восьми лет разрабатывал множество вопросов по больничной и врачебной практике, настоял на улучшении больничных условий и на постройке больниц по новому типу. Много занимался организацией женского образования, и первая

женщина, получившая докторское право в России — Кошеварова-Руднева, — тотчас же по окончании Медико-хирургической академии была принята Боткиным в качестве ассистентки. Он писал статьи для медицинской печати и издал три выпуска «Курса клиники внутренних болезней», а в основанной им «Еженедельной клинической газете» широко печатал статьи своих учеников.

Он продолжал чтение лекций, работу в клинике, научные опыты — словом, жил так, как только и мог жить Боткин. Клинику свою он поставил на такой уровень, какого не знали еще ни Россия, ни Запад. Он открыл в самом начале своей деятельности первую в истории здравоохранения бесплатную амбулаторию и продолжал вести в ней прием больных. Он организовал первую клиническую лабораторию и, с наслаждением работая в ней, приобщал к экспериментальной медицине своих учеников. Десять лет в этой лаборатории работал Иван Петрович Павлов. «Я был окружен клиническими идеями профессора Боткина... — вспоминал он. — Глубокий ум его, не обольщаясь ближайшим успехом, искал ключа к великой загадке: что такое больной человек и как помочь ему — в лаборатории, в жизни, в эксперименте... На моих глазах десятки лет его ученики направлялись им в лабораторию, и эта высокая оценка эксперимента клиницистом составляет, по моему убеждению, не меньшую славу Сергея Петровича, чем его клиническая, известная всей России деятельность».

Уже по всей России трудилась плеяда его учеников, профессоров, завоевавших себе широкую известность в научном мире и в народе. Это были представители боткинской школы — яростные противники формализма, шаблона, косности и метафизики.

Как и в прежние годы, Боткин был загружен до предела: несколько часов работы в клинике, амбулатория и лаборатория, короткий обеденный перерыв в кругу многодетной семьи да игра на любимой виолончели — «моя освежающая ванна». Потом до зари он писал статьи, читал медицинскую литературу, готовился к очередной лекции. От огромной частной

практики, к которой он не стремился, он не мог отказаться, так много съезжалось к нему больных, жаждущих его помощи.

Все было по-прежнему. Только теперь он часто ездил на воды, и все чаще и чаще посещало его тяжелое удушье... Жизнь Боткина была уже на исходе.

А ведь во время русско-турецкой войны в 1877 году он еще выезжал на театр военных действий, посещал военные госпитали и лазареты, помогал советами, ободрял больных и раненых и снова переживал чувство собственного бессилия облегчить участь раненых, страдающих от неурядицы военного времени и от неудовлетворительной организации военно-санитарной службы — все то же, что еще юношей испытал он в Крымскую войну в Севастополе.

Как раз во время русско-турецкой войны был «прощен» Владимир Александрович Обручев.

Вернувшись через четырнадцать лет, в 1875 году, на родину, в имение матери Клипенино, изнывавший там от тоски и безделья, от сознания собственной ненужности, Обручев подал прошение о назначении его рядовым-добровольцем в действующую армию. Обручеву был возвращен чин поручика и разрешена государственная служба. В 1879 году он приехал в Петербург и начал сотрудничать в «Отечественных записках» до самого их запрещения (в 1885 году), после чего поступил на службу по морскому ведомству.

С Сеченовым он первое время общался мало — все не мог привыкнуть, что тот занял место Петра Ивановича, и очень редко бывал теперь у сестры.

На Васильевском острове Сеченовы жили рядом с четой Ковалевских — Владимиром Онуфриевичем и Софьей Васильевной.

У Ковалевских жизнь была поставлена на широкую ногу, Софья Васильевна принимала гостей и много выезжала сама. Наука на время была забыта обоими: Ковалевский увлекся домостроительством, все более и более погружался в коммерческие дела, и все глубже запутывали его маститые петербургские жулики. Софья же Васильевна — женщина, со-

четавшая в себе необыкновенный талант математика, гибкий и большой ум с милым женским легкомыслием, — наслаждалась обеспеченной жизнью, которой была лишена в прежние годы.

5 октября 1878 года у Софьи Васильевны родилась дочь, названная тоже Софьей; в отличие от матери ее называли Фуфой. Сеченов вместе с подругой Софьи Васильевны Юлией Лермонтовой был воспитателем девочки, и это послужило еще одним поводом к грусти из-за того, что у него нет своих детей.

Страдала без детей и Мария Александровна. Не раз, еще в грачевский период, Сеченов писал ей, что надо бы удочерить какую-нибудь девочку; не раз подумывали они об этом и в Петербурге, да все как-то не решались брать ребенка в семью, не имеющую прав семьи. О своих детях нечего было и думать: незаконнорожденный ребенок, обреченный на жизнь с таким клеймом, — нет уж, избави бог!

Но не нашедшее себе выхода материнское чувство рвалось наружу, и в доме у Сеченовых постоянно, и в Петербурге и потом в Москве и в Клипенино жили какие-то племянницы и их подруги, и знакомые их родственников, и просто чужие девушки. Особенно с тех пор, как Мария Александровна стала владелицей Клипенинского имения, доставшегося ей по наследству от матери.

Она с горячностью взялась за его переустройство, охотно возилась с хозяйством и охотно лечила больных крестьян из округи — это был единственный вид медицинской практики, к которому она питала пристрастие.

В Петербурге же ей лечить не приходилось, разве только знакомых, у которых начинали болеть глаза.

Так попала к ней в пациентки Верочка Пыпина. Мария Александровна иногда заходила к Пыпину поговорить о своих переводах, которые не оставляла и которые печатались в «Вестнике Европы». Однажды она заметила, что у Веры подозрительно красны веки.

— Присылайте ко мне Веру каждый день после гимназии, — сказала она Юлии Петровне, — буду лечить ей глаза. Обещаю, что вылечу.

Она и в самом деле вылечила конъюнктивит, захватив его в самом начале. И лечила с удовольствием, хотя ни в какие разговоры с девушкой не вступала.

«Не без робости входили мы с сестрой, — вспоминает Вера Александровна Пыпина, — возвращаясь из гимназии, в просторную, очень скромно убранную гостиную Сеченовых. Ничего в этой комнате лишнего, показного не было, единственным украшением была большая роскошная пальма. В раскрытую дверь виднелся кабинет, рабочий стол Ивана Михайловича — это была простая, хорошо выструганная большая доска, укрепленная на двух козлах. Но все это мы видели мельком, идя в столовую, где нас ждала Мария Александровна. Иван Михайлович, сидя за самоваром, разливал чай — он всегда сам занимался этим делом.

Мария Александровна, среднего роста, приятная лицом, уже с проседью в волосах, приветливо встречала нас, но никогда не целовала, не расспрашивала о гимназии или о подругах, только осведомлялась, здоровы ли все у нас дома, и тотчас, усадив меня перед окном, принималась за лечение — промывала и прижигала мне веки. Делала она это удивительно искусно, словно даже не прикасалась к глазам.

Серьезность Марии Александровны не поражала меня, такую и должна была быть, по моему представлению, настоящая женщина с высшими интересами, для которой обыденность является «вздором». Таким был мой отец, и таковы, думала я, все люди его уровня.

Иван Михайлович предлагал нам чай с вареньем, но мы благодарили и отказывались, сознавая, что приходили лишь по делу и отрывать время у занятых людей не следует. Пока меня лечила Мария Александровна, сестра моя скромно сидела на качалке, которая ей очень нравилась, но раскачиваться не решалась. Потом мы торопились уйти.

Сеченовы говорили друг другу «вы», «Мария Александровна» и «Иван Михайлович». В их взаимных отношениях чувствовалась какая-то особенная глубина, я сказала бы, словно патриархальная важность. Позднее, размышляя об этом своем отроческом впечатлении (мне было тогда 13 лет), я предположила, что в те времена, когда женщине приходилось впервые идейно отстаивать свои права — учиться и быть независимой личностью, Мария Александровна и Иван Михайлович своим союзом исповедали перед лицом общества свое credo, и поэтому, должно быть, на их отношениях лежал внешне некоторый отпечаток священнодействия...»

Исповедали свое кредо? Марии Александровне и еще меньше Ивану Михайловичу такое выспренное определение их отношений и в голову не приходило. Все это было проще и вместе сложнее — и «серьезность» Боковой, все еще носившей прежнюю фамилию, и священнодействие в отношении Сеченова к ней, и патриархальность в их семье.

Все еще носила фамилию Боковой, хотя уже более пятнадцати лет была женой Сеченова... Мария Александровна, раз и навсегда решившись, наконец, пренебречь «фальшивостью» своего положения, все еще вживалась в него, и давалось ей это вживание нелегко и невесело. Оттого была она так замкнута при чужих, оттого почти никуда не ходила и почти не принимала гостей; оттого производила впечатление сурового и чрезмерно сдержанного человека. Только наедине с Иваном Михайловичем становилась она сама собой — любящей женщиной, судьба которой сложилась столь необыкновенно. И оттого Иван Михайлович, как никто другой знавший все малейшие изломы ее души, так чутко относился к ней, так оберегал Марию Александровну от излишних волнений и так старался скрасить ей жизнь.

Без детей, без возможности применить свои знания, без права чувствовать себя в обществе, «как все», Мария Александровна решила вовсе отгородиться от этого общества; как бы ни была она вознесена выше той лживой морали, как бы ни пре-

небрегала ею, она все же чувствовала себя в какой-то степени отщепенцем. И, быть может, отчасти поэтому не шла служить по медицинскому ведомству, не занималась врачебной практикой: кто знает, какие новые унижения пришлось бы ей встретить на своем пути.

Это наложило свой отпечаток на весь стиль их отношений, на глубину этих отношений, на поглощенность друг другом. И, конечно, Сеченов понимал, что ей много тяжелее, чем ему, и не только потому, что она женщина, но и потому, что самолюбие у нее легкоранимое, и потому еще, что «высокие» цели, которые она перед собой ставила, так и остались недостигнутыми.

Круг знакомых, которые бывали у них и у которых бывали они, был очень ограничен: Сулова, которая разошлась в 1879 году с Эрисманном и после многолетних колебаний решила соединить свою жизнь с Голубевым; семья Пыпиных, с которыми их связывала память о великом узнике Чернышевском и забота о его сыновьях; А. Н. Бекетов и Д. И. Менделеев, связанные с Сеченовым многолетней дружбой; все те же старые, милые Груберы; Надежда Васильевна Стасова и большая компания родных Ивана Михайловича, жившая в те годы в Петербурге.

Центром этой большой компании, куда входили и внуки старого Филатова, соседи по Теплому Стану, был дом старшей сестры Сеченова, любимицы Марии Александровны — Анны Михайловны Михайловской. Тут встречались за карточным столом: партия-другая винта всегда, как и в молодости, бездежная.

Бывали здесь брат Рафаил Сеченов с женой и дочкой Наташей; племянники жены брата — студенты Ляпуновы: один из них стал академиком-математиком, другой профессором-славистом; семья Крыловых — Николай Александрович, который одновременно с Сеченовым в сороковых годах уехал из Теплового Стана в Петербург, его жена и сын Алексей — будущий известный академик-кораблестроитель — и маленький воспитанник Виктор Арни — будущий физиолог.

В этой среде близких и приятных людей, где Мария Александровна чувствовала себя как дома, Семенов преображался.

Карточные вечера чередовались с «певческими». Но и тут, развлекаясь, Иван Михайлович не забывал о деле; ни одного случая не упускал он, чтобы расширить свое образование: он соблазнился возможностью заняться математикой с Александром Ляпуновым, который кончал курс на математическом факультете, и начал брать у него уроки; в год одолел высший математический анализ, но дальше не пошел: опять засосала физиология да и возраст начинал сказываться.

С огорчением писал он Мечникову в декабре 1882 года:

«...А я вот, милая мамаша, сильно постарел. На днях пришел в лабораторию некто Милеев, один из моих первых учеников в Петербургском университете, не выдавший меня 5 лет; так у того даже слезы навернулись на глазах, и первым его словом было: «Как вы постарели!» Да я и сам знаю: без очков не могу ступить ни шагу, в поясище старческие боли, брюзгливость и стремление уйти в раковину. Впрочем, эта приятная картина не составляет еще постоянного фона в моей жизни, и я еще не превратился в машину, заведенную на ежедневное хождение в лабораторию, хотя и бываю в ней действительно ежедневно. Я еще вполне понимаю всю сладость замыслов и всю горечь ошибок. В позапрошлом году я был полон сладостных волнений, в прошлом сильно радовался работе своего ученика Вериги; да и в нынешнем накапает, кажется, хорошее дело. Помимо учености, меня занимают в настоящее время судьбы нового устава по отношению кафедры физиологии. Если она будет упразднена и я останусь не у дел, куда нести остатки сохранившихся сил? Признаюсь откровенно, вопрос этот для меня животрепещущий и, к сожалению, очень трудный для разрешения».

«Остатка сохранившихся сил» было еще очень много, так много, что Иван Михайлович умудрялся

не только совмещать огромный научный труд, преподавание в университете, работу с учениками, занятия высшей математикой — он умел и развлекаться, как юноша.

Не только вечера у Анны Михайловны — Сеченовы охотно посещали молодежные вечеринки у Пыпиных.

«...Когда в одну из зим второй половины 80-х гг. собиралась у нас молодая компания, — вспоминает Вера Александровна Пыпина, — и мы устраивали театральные представления, то Иван Михайлович и Мария Александровна всегда принимали наше приглашение и так же по-детски смеялись и радовались с нами, как и наш отец, которому никогда не мешали ни детский шум, ни затей молодежи.

Все жизненное, новое захватывало Ивана Михайловича. Когда только что появилась «Власть тьмы» Толстого и еще ходила по рукам в рукописи, он прочел ее в очень небольшом кругу своих знакомых, позвал и меня. Читал он просто, без какой-либо претензии на художественность, но чтение это было чтение большого человека и глубоко, навсегда волновало душу...»

Удивительно, как много было отпущено ему природой! Не стань он физиологом, он мог бы с успехом быть превосходным певцом или драматическим актером, мог быть академиком-математиком, химиком, инженером. Все, за что он ни брался, получалось у него не просто хорошо — отлично, и во все, за что он брался, он вкладывал кусок своей души, широкой и нежной души великого человека.

Нет, подкрадывавшаяся старость не могла сломить этой души. Энергии и горения у Ивана Михайловича хватало на двух молодых. Смотрите, как по целым дням скачет он верхом на лошади по полям и лесам Ржевского уезда в любую погоду!

Эти прогулки на лошадях вдвоем с женой в ее родном именье Клипенино заменяли им поездки в Крым, о которых они постоянно мечтали, любя море, и которые почти никогда не были для них доступны из-за отсутствия денег. По вечерам в клипе-

нинском доме, в деревенской тиши, из окон слышалось выразительное чтение Ивана Михайловича и время от времени голос Марии Александровны. Она сидела близко возле него, шила или штопала — она не умела сидеть без дела — и наслаждалась этой близостью, любимым, знакомым голосом, который можно слушать бесконечно, только бы никто не помешал. Так они прочитали всю «Войну и мир» Толстого, которого очень любили оба.

В Клипенино появились на их горизонте сестры Домрачевы — Елизавета и Наталья Николаевны, одна обещавшая в будущем стать незаурядной музыканткой, другая — художником и скульптором. Эти особенно прижились в семье Сеченовых. Елизавета Николаевна долгие годы жила с ними на правах дочери и здесь, в Клипенино, и в Москве, где она поступила в консерваторию на фортепьянное отделение.

В этой идиллической картине — Сеченов у стола за книгой, Мария Александровна у рабочего столика, одна-две юные девушки, теплый тихий вечер за окном, шелест деревьев, ударяющих ветвями по ставням, — в этой картине был еще один неперемный участник: собака. Собаки разводились в Клипенино чаще всего крупной породы — овчарки или сенбернары; щенков выращивали любовно и заботливо, пристраивали в хорошие руки и двух-трех оставляли себе, чтобы не скучать, когда родительница их помрет.

Звали собак по-разному: Норками, Зорьками, Тучками, но все больше Бурками. Эта кличка давалась по наследству самому лучшему из щенков. И один из этих Бурок сыграл роковую роль в жизни Ивана Михайловича.

Мария Александровна «начинает пристращаться к хозяйству и засиживается в деревне доле обыкновенного», — пишет Сеченов Мечникову, констатируя факт; в этой констатации чувствуется скрытая жалоба: снова он один остается в своей квартире на Васильевском острове, как некогда в Эртелевом переулке, а затем на Херсонской улице в Одессе. И квартира уже не кажется такой милой и уютной, потому что

нет в ней хозяйки. И Сеченов в тоске бегаёт по десять раз в день к почтовому ящику в ожидании её скупых писем.

Сам он пишет много и часто и очень подробно обо всем: о вечере у «милой Аннушки», о лекции Пржевальского, о «субботе» у Боткина, о свадьбе Верочки Пыпиной, о том, что Владимир Александрович Обручев намерен жениться и что теперь, когда они с ним часто беседуют о перестройке дома в Клипенино, он впервые услышал в голосе брата теплые нотки.

Смирился, наконец, привык «полковник», как величает его Сеченов, к новому мужу сестры, смирился даже с тем, что муж этот не признается в обществе мужем. Смирился и полюбил Ивана Михайловича, потому что непредвзятому человеку невозможно было его не полюбить.

Служба «полковника» идет спокойно, без передряг и неприятностей. Он продвигается в чинах, женится на хорошей девушке, вполне доволен своим положением. Скоро он получит генеральский чин, и красивый, блестящий, еще не старый, как далек он будет от того Владимира Обручева, который искал жизненной цели у Чернышевского и пожертвовал своей свободой ради народного дела. Тайный «великорусец», он уже давно вспоминает об этом периоде своей юности со снисходительной улыбкой и вообще предпочитает не вспоминать — так будет спокойней и для него и для окружающих.

Иногда они с Сеченовым обедают вместе. Иногда ходят в оперу или в концерт. Иногда просто болтают по вечерам о разных разностях, все больше о клипенинском доме, о цвете новой крыши, о том, как пересаживать деревья в небольшом саду.

Для Марии Александровны это был свой уголок, свое собственное гнездо, которого добрую половину жизни она была лишена. Здесь проявились ее организаторские таланты, ее умение обращаться с простым народом; подрядчик и рабочие так хорошо сошлись с ней, что не только не обманывали, не обсчитывали, не норовили сорвать побольше, но сами же

придумывали разные рационализации, чтобы побыстрее отстроить для «милой докторши» ее домик. . .

Она в самом деле была здесь докторшей: многие приходили к ней издалека, потому что ничто так быстро не распространяется среди соседних деревень, как весть о докторше, которая хорошо и бесплатно лечит.

Она все чаще и дольше засиживалась в деревне, а Иван Михайлович чувствовал себя опустошенным, когда ее не было возле.

В письмах он называет ее самыми нежными именами, как и двадцать лет назад, — «доченька», «родное дитяtko», «моя родная»...

«Поверишь ли, мое родное, дорогое дитяtko, писать тебе письма стало для меня родом потребности — словно дела не сделал, если пройдет вечера два без такого занятия... Да и пишутся они легче, чем когда-либо прежде, благодаря связывающему нас теперь животрепещущему интересу. Как я был рад, читая твое последнее письмо, и за тебя, и за постройку, и за милых рабочих—ведь вот нашлась же кучка россиянцев, исполняющих дело честно и добросовестно! Рад душевно и с своей стороны могу лишь поощрить тебя в твоём добром намерении, вознаградить их пощедрее...»; «В пятницу распостился с барышнями. Завтра начну опыт с обыкновенной селитрой, не получится ли то же, что с нашатырем, в виду того, что и при растворении селитры получается много тепла...»; «Купил для милых барышень прелестный маленький спектроскоп за 45 руб...»; «Сегодня я кончил лекции нервной физиологии 4-му курсу с очень радостным чувством, моя родимая, родная, милая, дорогая доченька, во-первых, потому, что в течение года все без исключения опыты удавались блистательно, во-вторых, потому, что конец лекций — ведь это вернейший признак весны...»

И вдруг все та же страшная тень, витающая над ними: быть может, в глазах тамошней публики ему, как человеку постороннему, не следует ехать в Клипенино в разгар постройки, когда хозяйке не до гостей? Одно дело, он приезжал при жизни матери —

мало ли кто ездил тогда в Клипенино. А теперь, когда молодая хозяйка живет одна, да еще занимается перестройкой—не вызовет ли его приезд кривотолков, к которым так чувствительна ее наболевшая душа? Ему-то, Сеченову, все равно, что бы там и кто бы ни говорил. Но она женщина, как птица, свивающая свое долгожданное гнездо, как бы не подрезали этой птице крыльев.

Но она считает, что ехать можно, и он снова весел и бодр. Он даже через Надежду Васильевну Стасову достает у одной барышни щенка сенбернара, чтобы улучшить породу клипенинского «собачьего стада».

Он едет в Клипенино, а в сентябре возвращается один: Мария Александровна осталась «на хозяйстве». И снова живет от письма к письму, от опыта к опыту, живет и ждет ее приезда в свою опостылевшую квартиру.

Все скучнее становится в Петербурге, до ужаса сжимается круг друзей.

Постарел Боткин. Постарел и все чаще теперь живет за границей, на водах, все удушливей становятся приступы сердечных болей, а он упорно твердит свое: желчная колика — и никаких больше диагнозов.

Надежда Васильевна Стасова плачет — курсы под угрозой закрытия, профессора начинают разбегаться. Он-то не уйдет до конца, не изменит и денег за лекции не намерен больше брать — денег в кассе бестужевок вовсе нет теперь.

Умер милый добрый Пеликан. Уехали Сулова и Голубев — поселились сперва в Алуште, а потом в своем имении «Кастель-Приморском», совсем почти не бывают в Петербурге.

Страшно постарел и ослабел физически дорогой профессор Грубер, без которого просто невозможно представить себе Петербурга, Грубер, которому он обязан самым своим дорогим и главным — знакомством с Марией Александровной.

Уехали разорившиеся Ковалевские — сначала в Москву, потом Софья Васильевна забрала Фуфу

и уехала с ней в Стокгольм. Разбилась эта трагическая семья, а Владимир Онуфриевич не выдержал и покончил все счеты с жизнью в апреле 1883 года.

Трудная и нескладная была эта жизнь! Сеченов за двадцать лет знакомства хорошо изучил Ковалевского — умного, живого, даровитого, подвижного и разностороннего; правоведа, переводчика, крупного издателя, бескорыстного освободителя Софьи Круковской, геолога, ставшего в конце концов знаменитым палеонтологом с мировым именем и ушедшего из жизни таким молодым — всего сорока лет от роду.

«Живой, как ртуть, с головой, полной широких замыслов, — пишет о нем Сеченов, — он не мог жить, не пускаясь в какие-нибудь предприятия, и делал это не с корыстными целями, а по неугомонности природы, неудержимо толкавшей его в сторону господствовавших в обществе течений. В те времена была мода на естественные науки, и спрос на книги этого рода был очень живой. Как любитель естествознания, Ковалевский делается переводчиком и втягивается мало-помалу в издательскую деятельность. Начинает он с грошами в кармане и увлекается первыми успехами; но замыслы растут много быстрее доходов; и Ковалевский начинает кипеть: бьется как рыба об лед, добывая средства, работает день и ночь и живет годы чуть не впроголодь, но не унывая. Бросает он издательскую деятельность не потому, что продолжать ее было невозможно, а потому, что едет с женой за границу учиться. Дела свои он передает другой издательской фирме в очень запутанном виде, потому что вел их на широкую ногу, в одиночку, без помощников и пренебрегал бухгалтерской стороной предприятия. Когда дела были распутаны, оказалось, что издано было им более чем на 100 000 рублей и он мог бы получать большой доход, если бы вел дела правильно. Кто же не знает из биографических данных Софьи Васильевны, какую бескорыстную роль играл Ковалевский в ее замужестве? Это было с той и другой стороны увлечение тогдашними течениями в общест-

ве. За границей жена училась математике, а муж — естественным наукам. Прожили они там, я думаю, лет пять, и ему следовало бы отдохнуть от угара издательской деятельности. Но он, к сожалению, вынес из нее не совсем верную мысль, что можно делать большие дела с небольшими средствами. Плодом этой мысли был период домостроительства в Петербурге, кончившийся крахом. Что он, бедный мечтатель-практик, выстрадал за это время, и сказать нельзя. Очутился, наконец, у тихой пристани профессорства, но уже поздно — слишком сильно кипел в жизни». Он «кончил слишком рано потому, что жил слишком быстро».

Смерть Ковалевского произвела тяжелое впечатление на Сеченовых. Они прочли о ней в «Московских ведомостях»: «16 апреля в меблированных комнатах «Noblesse» в своем номере был найден без признаков жизни приват-доцент Московского университета титулярный советник В. О. Ковалевский. Смерть последовала от отравления хлороформом».

— Будь с ним Софья Васильевна, — с горечью заметил Иван Михайлович, — быть может, и не случилась бы эта противоестественная смерть.

Мария Александровна молча посмотрела на него. Что говорил ее взгляд, выразить словами он не мог. Что-то, во всяком случае, имеющее отношение к тому, что она никогда не оставит его одного, если будет в его жизни тяжелая минута, что они оба так тесно спаяны всем ходом их нелепо сложившейся жизни, что оба не могут не служить друг другу опорой. Что обществу, которое погубило Ковалевского, не удастся доконать их двоих. Не удастся, чего бы это им ни стоило...

Вот с того самого дня, когда они узнали о смерти Ковалевского, с той самой минуты, когда он увидел ее странный взгляд, все чаще и настойчивей стала посещать его прежде запретная мысль.

Если он завтра умрет, с какими средствами останется на свете его «беллина» — все еще «беллина», навеки для него молодая, единственная любовь?! Даже жалкой профессорской пенсии она не полу-

чит, даже деньги за издание его статей и книг не попадут к ней. И будет она в одинокой старости заниматься переводами до черных кругов в глазах, и не узнать ей никогда отдыха от нужды и работы. И будет она по-прежнему чувствовать себя чужой среди людей, никому не нужной, безмерно одинокой. Потому что кто же, кроме брата, останется у нее в мире, а она и к брату не пойдет со своим горем — не такая натура.

«Не удастся этому проклятому обществу погубить нас с тобой», — сказал ее взгляд в тот вечер. Но уже одно то, что она об этом подумала...

Нет, конечно, он знает — не приходят ей в голову этакие страшные мысли, свойственные только людям с неуравновешенным характером и психикой. Но что же все-таки означал ее взгляд?

И снова эта, прежде запретная, мысль берedit его, не дает покоя ни днем ни ночью. Почему бы и нет? Матери нет в живых, «скандал» никогда уже не потрясет ее; Петр Иванович в Москве, с верной, говорят, очень преданной подругой...

Мысль становится все четче и законченней, все меньше находит он препятствий к ее воплощению. И, наконец, решается выговорить: развод...

Развод. Он боялся заговорить об этом, боялся вспышки с ее стороны, боялся нанести обиду. Но неожиданно она встретила это спокойно, похоже было, что и она уже не раз подумывала о том же, но так же, как и он, не решалась высказать. Уговаривать ее, во всяком случае, не пришлось. Был только один короткий разговор:

— Быть может, найдутся другие пути, чтобы не трогать при этом Петра Ивановича? — спросил он.

— Никаких других путей нет. И не может быть. И я знаю — Петр Иванович согласится.

— Я все-таки осведомлюсь у адвоката.

На этом разговор и кончился. Мария Александровна уехала в Клипенино. Иван Михайлович сходил к хорошему адвокату и после долгого разговора вышел из его квартиры мрачным и вконец расстроенным: никаких других путей действительно не было —

только обвинение Бокова в измене, со всеми вытекающими отсюда выводами.

Иван Михайлович написал в Клипенино. Спрашивал: как же она решит и кому — ей или ему — надлежит написать Петру Ивановичу?

Мария Александровна печально улыбнулась, прочитав взволнованное письмо. Кому надлежит писать? Ей или ему?..

Из старой девичьей шкатулки, принадлежавшей когда-то матери, шкатулки, где она прятала самое ценное — письма Ивана Михайловича, тетрадки дневника, исписанные трудноразборчивым почерком Эмилии Францевны, и несколько писем от Бокова, она извлекла коротенькое письмецо:

«Москва, 1 января 1872 г.

Милая Маша! Ты, пожалуй, подумаешь опять, что я неисправим относительно переписки. Причиной моего молчания, между тем, было продолжение, хотя и в слабой степени, того же мрачного душевного состояния, хотя твое письмо меня сильно успокоило. Мне именно показалось, что тебя очень тяготит наша переписка, и, кроме того, мне показалось, что не удастся удержать наших приятельских отношений! Последнее решительно убило меня! Милая Маша! Ты для меня роднее всего на свете, ближе, чем сестра. Мне всегда казалось, что мы со временем, когда будем стары, соединимся все вместе... Будем коротать дни и служить поддержкой друг другу при всех обстоятельствах... Такие мысли всегда утешали меня при всех горестных обстоятельствах. Маша, не обманываюсь я, это возможно?! Вечно твой Петька...»¹.

Кому надлежит писать — ей или Ивану Михайловичу?..

Она написала обстоятельное и на этот раз совершенно серьезное письмо, без обычного своего иронического тона, который Боков слышал в каждой строчке ее прежних писем.

¹ Письма П. И. Бокова к Марии Александровне публикуются впервые. Подлинники хранятся в Московском отделении архива Академии наук СССР.

Ответа она ждала со странным чувством. Не было сомнений, что он согласится, на все решительно согласится ради ее счастья. Счастье? Немного поздно, пожалуй, говорить о счастье. Главного у них уже не будет — детишек. И оба они состарятся в полном одиночестве — она и ее великий друг. Уже не друг — муж. Муж? А что, собственно, изменится?

Теперь, когда развод стал казаться ей совершенно реальным, она уже почти перестала ощущать его как самое необходимое для спокойной жизни. И все-таки...

Она отправила письмо и ждала ответа и, дожидаясь, копалась в своей душе: вот так, спокойно, почти без тревоги она перешагнет через жизнь Петра Ивановича, примет его жертву. Слишком хорошо знала она Бокова с его на редкость добрым и верным сердцем, сердцем нестареющего романтика, который ни за что в жизни не скажет вслух, что он приносит жертву, но сознание этого доставит ему необыкновенное счастье.

Она ждала в Клипенино ответа из Москвы, но прежде пришло письмо от ее «зелья» из Петербурга: неделя тянется бесконечно, кажется, что прошли годы, а ответа все нет. Он и не думал, что с таким нетерпением будет ждать того дня, когда делу будет дан ход.

Ага, он, значит, тоже не сомневается в ответе. Ясно, не хуже ее знает он милого доктора, всеобщего любимца, святого человека. Этим разводом Боков, пожалуй, заработает себе право на святость, даже она это признает. А она — что заработает она? Будет терзаться всю остальную жизнь?

Любопытно, как отнесется к этому Татьяна Петровна? И вдруг она почувствовала укол в сердце, нечто вроде зависти к ней, к той женщине, которая пренебрегла всем, живет себе с Петром Ивановичем в Москве припеваючи, не страдает от фальшивого положения, отрешилась от всего на свете и, кажется, как следует держит Бокова в руках.

«Хороший он человек, — подумала она, — только не для меня...»

Письмо от Бокова пришло чуть ли не восторжен-

ное. Все что ей угодно и как для нее лучше — вот и все, что нужно ему в жизни.

Все было обговорено довольно быстро: развод в Тверской духовной консистории, полная тайна от всех, тем более от всех москвичей и петербуржцев, затем Синод. И потом они с Иваном Михайловичем переедут в Москву, прочь от мест, которые будут им напоминать все пережитое, в новую обстановку, к новым людям, на новую жизнь.

С 30 октября по 12 ноября 1887 года тянулось в Тверской духовной консистории дело о разводе. Грязная, отвратительная процедура, как будто тебя раздевают догола в присутствии целой толпы чужих людей, тебя, а заодно и твоих близких. Бледная, с черными кругами под глазами, разом похудевшая прошла она через эту Голгофу и уже сожалела, что согласилась на развод, и уже понимала, что счастья от него не прибавится, что эта жуткая картина «дела» никогда не уйдет из ее памяти.

Адвокат оказался пройдохой: надавил какие-то кнопочки, нажал на каких-то нужных людей, и уже 8 января 1888 года дело о разводе слушалось в С.-Петербурге, в Синоде.

«По указу его Императорского Величества, Святейший правительствующий Синод слушали:

— представленное Преосвященником Тверским, от 1 декабря 1887 г. за № 4589, дело и решение Епархиального Начальства по прошению жены доктора Марии Александровы Боковой, урожденной Обручевой, о расторжении брака ее с Петром Ивановым Боковым, по его прелюбодеянию.

Обстоятельства настоящего дела изложены в прилагаемом при сем экстракте, составленном в Тверской Духовной Консистории.

Приказали:

По прошению жены доктора Марии Александровы Боковой о расторжении брака ее с Петром Ивановым Боковым по его прелюбодеянию Тверское Епархиальное Начальство 3/12 ноября 1887 года, между прочим, постановило: брак этот расторгнуть, с дозволением истице вступить в новое супружество и с осуждением

ответчика на всегдашнее безбрачие и преданием его семилетней церковной епитимии.

Находя такое решение правильным, Святейший Синод определяет: решение это утвердить...

Исполнено 29 января 1888 г»¹.

Она тут же написала Петру Ивановичу — своему бывшему мужу. Она писала теплые слова благодарности, утешала его чем могла, а в душе... бог знает, что творилось у нее на душе.

Потом пришел ответ.

«Москва, 7 февраля 1888 г.

Дорогой мой друг, Мария Александровна! Твое радостное письмо от 4-го было светлым лучом в нашей омраченной душе. С разрывом наших формальных отношений, пишешь ты, наша дружба станет еще живей и искренней... Эти строки вызвали у меня слезы радости. Целую твои руки, написавшие эти строки! Т. П., прочитав твое письмо, поцеловалась со мной, сказав, что рада твоему счастью. Ждем с нетерпением обещанного письма «по завершению всех событий»... О последствиях для меня развода, пожалуйста, не заботься. Я желал бы, чтобы надпись на документах состоялась не в Москве, но как я и писал тебе... если бы это желание не исполнилось, то лично для меня оно не составляет никакого неудобства, не омрачай своей души заботами о ничтожной формальности... Теперь, дорогая, умоляю принять одно предложение, заехать к нам на несколько дней по дороге в Клиппино. Едва ли в жизни представится другой такой случай... осчастливь людей, несущих в душе своей тяжелое горе...»

«По завершении всех событий» — 8 февраля в Благовещенской церкви на 8-й линии Васильевского острова состоялось скромное венчание. Все было чин по чину: Сеченов стоял перед аналоем в черном фраке с белым цветком в петлице, Мария Александровна — в шуршащем шелковом платье; свидетели были со стороны жениха: Б. Ф. Вериго и Н. А. Крылов,

¹ Подлинник хранится в Ленинградском отделении Центрального исторического архива. Публикуется впервые.

со стороны невесты: ученик Ивана Михайловича доцент В. П. Михайлов и подполковник Владимир Александрович Обручев. Священник читал что положено, задавал вопросы, которые положено задавать, новобрачные отвечали на них тихим, но твердым «да»; были и обручальные кольца и нарядные свечи в руках.

Все было чин по чину. Только свадьбы не было.

Пустая формальность, дань закону и обществу. И горечь сознания — чем могла бы стать для них эта свадьба, случись она четверть века назад.

Свадьба держалась в тайне, знали о ней только очень немногие в Петербурге.

Вера Александровна Пыпина с удивлением вспоминает: «...он (Сеченов) вдруг отвел маму в сторонку и сказал: «Вам, Юлия Петровна, я хотел сказать: мы с Марией Александровной женились!» Почему они женились на закате дней и почему Ивану Михайловичу это было дорого, — а это было дорого ему несомненно, иначе зачем бы он об этом сказал маме, — осталось для меня неразгаданным...»

Никто не понимал, почему вдруг профессор Сеченов 1 декабря 1888 года подал в физико-математический факультет университета прошение об отставке, все считали эту отставку «достаточно неожиданной». И ни для кого не было тайной, что не старость тому виной и что слова — «силы мои уже не могут настолько восстановиться, чтобы исполнять как следует обязанности», всего лишь приличный предлог; потому что опять-таки ни для кого не оставалось тайной, что Сеченов намерен преподавать в Москве, куда переезжает в ближайшее время.

В самом деле, выглядело это довольно неожиданно: работа в лаборатории протекала успешно, студенты боготворили Сеченова, профессура относилась к нему вполне лояльно — и вдруг променять профессорство в Петербурге на приват-доцентское место в Москве без определенных перспектив на самостоятельную лабораторию!

Никто не мог понять этого, многие пожимали плечами; другие говорили: ну, этот — известный чудак и материалист; третьи искренне сожалели об уходе

блестящего профессора — красоты и гордости Петербургского университета.

А причина была проста: Иван Михайлович начал жизнь заново, в шестьдесят лет он впервые вкусил официальный брак, семью, которую не надо прятать ни от чьих глаз, жену, которая с некоторых пор стала улыбаться, как никогда раньше не улыбалась.

Что касается профессуры — жаль, конечно, университета, но и тут он мог привести довольно вескую причину своего ухода: работать дальше над законом отношения газов к соляным растворам не представлялось тут возможным, а он еще надеялся довести этот закон до конца. Он был от природы великим оптимистом: в Москве, на новом месте, в кругу новых людей, он найдет и себя, и место для своей работы, и учеников, таких же преданных и талантливых, каким баловал его Петербургский университет. Зато у него будет свой семейный дом, зато его жена — с каким наслаждением он впервые в письме от 15 февраля назвал ее женой! — его жена обретет, наконец, покой. И то, что он ради нее меняет хорошо насиженное место в хорошей лаборатории хорошего университета на совершенно неизвестные условия в Москве, — как это ничтожно по сравнению с тем, что он мог, хотел, должен был для нее сделать.

Деньги? Э, проживут на профессорскую пенсию да на статьи и лекции, которые он будет писать и читать, если дело с университетом не выгорит или затянется. Да и когда, собственно, были у него деньги? Он что-то не помнит, чтобы их когда-нибудь было вдоволь.

А пока он уезжает в Клипенино, где проводит свой «медовый» год и откуда начинает хлопоты о переезде в Москву.

В сущности, это не так уж плохо — вернуться в свою альма матер на старости лет. Как добрый пес возвращается к дому хозяина умирать. Впрочем, он вовсе не собирается умирать, у него еще множество научных замыслов, он еще мечтает создать в Москве свою школу, он еще кое-что напишет в завершение своей «медицинской психологии», и вообще у него об-

ширные планы, будто впереди еще уйма времени. И будто не болит по-стариковски поясница, не западают пожелтевшие щеки, не краснеют от усталости веки глаз...

И, полный счастливых надежд, он впервые за двадцать пять лет наслаждается неомраченным семейным счастьем.

6

...А во всем остальном год был страдный.

Мечтал Иван Михайлович открыть в деревне собственную лабораторию — оказалось, средств не хватает не только на лабораторию — на жизнь: пришлось делать заем у Голубева. Мечтал устроиться в Московском университете, написал старинной своей приятельнице Наденьке Шнейдер, вдове профессора Бредихина — оказалось, москвичи вовсе не мечтают пускать его в свою профессорскую среду. Написал новое смиренное письмо: мол, никому поперек дороги не стану, ни на что значительное не претендую, мне бы только хоть маленькое помещенье и приват-доцентский курс лекций, даже если «гонорара будет шиш...»

Наконец приятельница написала, что теперь никто уже не протестует, милостиво согласились, чтобы приехал.

Съездил в Москву подать прошение — не застал ни ректора, ни декана; пошел к попечителю учебного округа и узнал: вовсе незачем было ему выходить в отставку, а просто надо было добиваться перевода из Петербурга в Москву. А он и не ведал!

Положим, перевода этого ему бы ни за что не добиться, и хорошо, что подал в отставку. Но откуда было ему знать, что думают о нем в полицейских и министерских кругах?

А думали вот что. В особом отделе департамента полиции хранились секретные сведения: слишком популярны и слишком крамольны были лекции Сеченова в Медико-хирургической академии, а потому созда-

ли ему такую обстановку, чтобы удалился из академии; слишком смело выражал он свои мнения в Новороссийском университете, когда там возникли «несогласия» между профессорами, осмелился идти против «лучших» тамошних профессоров и отстаивать вопреки их желанию избрание Вериги; в Петербурге позволил себе вступить за арестованного студента, подозреваемого в антиправительственной пропаганде; вообще известен как человек без религии, с сомнительной нравственностью, политически неблагонадежный. Ну и зачем переводить такого в Москву? Чтобы и тут «разлагал» молодежь?

Конечно, перевода ему бы не дожидаться, так что очень умно сделал он, что вышел в отставку и решил не добиваться штатной должности, а довольствоваться приват-доцентством. Хотя жалованья это и не сулило, хотя накоплений не было никаких, а долгов — уйма, зато можно было надеяться на спокойную научную работу и тихую жизнь с женой. А чего еще ему было нужно?

26 августа 1889 года Сеченов приехал в Москву. Остановился в Большой Московской гостинице, в Охотном ряду. Как сорок лет назад, когда впервые прибыл сюда с Феофаном Васильевичем.

Охотный ряд изменился с тех пор — стало почище, и нет этой страшной вони от несвежих, гниющих продуктов. Гостиница и лавки Охотного ряда обращены задами друг к другу, а между ними — широкий мощный двор. Окна номера, где остановился Сеченов, выходят в этот двор, и перед глазами мелькают тучи живых утят и цыплят, и визг их сплошной звуковой завесой висит в воздухе. За лавками — церковь Параскевы Пятницы и крыши, крыши — без конца, без края.

Иван Михайлович не задержался в гостинице — пошел в университет, к Эрисманну, но не застал его и отправился к Бокову.

В Успенском переулке, в собственном особняке, благополучествовал Петр Иванович, известный московский врач с богатой и обширной практикой. Богатая обстановка, великолепные комнаты, дорогие яст-

ва — словно в праздник; милая и сердечная Татьяна Петровна.

Петр Иванович, белый как лунь, но все еще с юношескими глазами и розовыми щеками, встретил тепло и радостно.

У Боковых потом бывал часто, чуть ли не каждый вечер — играли в карты, болтали о пустяках, спорили, особенно по воскресеньям, особенно с другом Петра Ивановича, громкоголосым адвокатом Доброхотовым, с которым и сам хозяин частенько всерьез ссорился за его крайние взгляды.

Боковских воскресений Иван Михайлович не любил за их пестрое многолюдье. Куда как приятней было там в будни в компании двух-трех человек просидеть вечер за винтом и поспорить в свое удовольствие. В доме царил культ Чернышевского. Его портреты, бюсты, книги и статьи попадались на каждом шагу. Постоянные воспоминания о Чернышевском, заботы о его семье, письма, которые Боков получал от Николая Гавриловича и которые иногда читал вслух жене и Сеченову.

Считалось, что Боков живет замкнуто, прячется в узком кружке от сплетен и недружелюбия некоторых слоев московской публики. Но на самом деле на боковских воскресеньях бывала чуть ли не вся интеллигентная Москва. Десятки лет были популярны эти воскресенья, где собирались в 5 часов дня, где каждый мог делать, что ему нравится: кто играть в карты, кто петь, кто спорить на политические темы, а кто и просто услаждать себя великолепными угощениями, которые радушно и приветливо предлагала красивая хозяйка.

Москву Сеченов полюбил главным образом за ее оригинальность и за то, что жизнь была тут быстрая, бурная, не в пример вялости петербургского бытия.

Квартиру Сеченов снял возле университета, в доме вдовы директора Петербургской консерватории Азанчевского, в Кисловском переулке. Квартира сдавалась с мебелью, хозяйка была интеллигентна и не навязчива, до университета — рукой подать, и Сеченов остался доволен.

В первые же дни он познакомился с ботаником Тимирязевым — этого он знал по замечательным его произведениям.

Тимирязев встретил Сеченова с нескрываемой радостью, но Иван Михайлович почему-то был настроен и почти угрюм. Он так и написал Марии Александровне: «Был у Тимирязева, этот понравился мне гораздо меньше, чем его книга «Жизнь растений» и критика антидарвиниста Данилевского».

Это был один из немногих случаев, когда Сеченов быстро изменил свое первоначальное мнение: он сошелся с Тимирязевым коротко и сердечно и во все последние годы жизни оставался дружен с ним.

В то время жила в Москве семья Николая Федоровича Филатова, известного профессора детских болезней, одного из многочисленных внуков теплотанского Филатова. Сеченов побывал и тут и позже зачастил в эту веселую гостеприимную и интеллигентную семью, где всегда собиралось много молодежи. Молодежь так и льнула к нему. Вдохновенно слушали все, что он говорил, наслаждаясь замечательной его речью, пестревшей народными оборотами.

В университете он уже договорился о лекциях, и первая должна была состояться 6 сентября.

После стольких лет профессорства, после стольких прочитанных лекций Иван Михайлович перед этим своим первым выступлением в Московском университете волновался, как никогда. Он набросал на бумажке текст, много раз перечитывал и поправлял его, даже пытался репетировать в запертой комнате и убедился, что звучит складно; но волнение не унималось, и за день до 6-го он пошел побродить по Москве, рассеяться и успокоить нервы.

Время было дневное, на улице стояла летняя жара, и Ивана Михайловича потянуло к зелени, к деревьям, к самому возвышенному месту города. Пешком дошел он до Новодевичьего монастыря, оттуда решил переправиться через Москву-реку. Но у самого берега грязь стояла такая непролазная, что он насилу вытаскивал ноги, раза четыре терял калоши и возвращался за ними. А по ту сторону реки грязи ста-

ло еще больше, и была она еще коварней: взобраться на гору оказалось страшным мучением, хуже, чем на Везувий... Но он все-таки вскарабкался и уже без всякого удовольствия поглядел оттуда на Москву, спустился вниз, скользя и падая, и решил возвращаться по железной дороге.

Поезда долго не было, и он, усталый и злой, побрел пешком по тропинке. Разумеется, — не везет так уж не везет! — возле самой Москвы поезд обогнал его. И как он узнал чуть позже, поезд этот, на котором он должен был ехать, сошел с рельсов...

«Вот судьба! Ну и бережет она меня», — думал Иван Михайлович. И тут же сделал фаталистический вывод: стало быть, лекция сойдет хорошо.

В сущности, волноваться ему было решительно не отчего: читать он должен был о центральной нервной системе — тема, которую он мог читать, даже если бы его разбудили среди ночи. Он потому и выбрал ее — этот отдел физиологии не требовал сложных инструментальных пособий, которых у Сеченова в то время не было. Все, что находилось в его распоряжении, — это абсорбциометр, нож и индукционный аппарат. Бедность для профессора физиологии предельная; но если принять во внимание, что не было у него даже помещения, что приютил его в своей лаборатории профессор сравнительной анатомии М. А. Мензбир, что он не хотел стеснять своего хозяина, — отсутствие оборудования станет понятным. Как всегда, даже из неудобств Сеченов извлекал научную пользу: вынужденный обстоятельствами читать тему, не требующую сложного демонстрационного оборудования, прочитав затем за первый год целый курс таких лекций, он в результате сумел написать по этому курсу свою замечательную книгу «Физиология нервных центров».

Аудитория была заполнена до отказа. Здесь были и студенты-медики со всех пяти курсов, и несколько профессоров, среди них Эрисманн и Склифосовский, и студенты других факультетов. Только начальство не удостоило Сеченова своим посещением, что он, охватив быстрым взглядом аудиторию, сразу же и отметил.

Нельзя сказать, чтобы это обстоятельство огорчило его: волновался он менее всего оттого, что сюда могли прийти начальники; его интересовало, как отнесутся студенты к лекции и — такие грешные мысли уже не раз посещали его — не стал ли он с годами от старости читать хуже, чем прежде.

Встретили его громкими аплодисментами, которые он смущенно остановил движением руки.

Он начал по бумажке и первые несколько минут сильно волновался. Но благожелательность аудитории и тот контакт, который сразу установился между ним и слушателями, успокоили его. Он отложил бумажку в сторону, почувствовал себя в привычной обстановке и начал говорить спокойно, без запинок, со свойственной ему предельной простотой.

— По новому университетскому уставу, — говорил Сеченов, — профессор, выслуживший свой срок, сохраняет за собою право преподавателя в университетах в качестве приват-доцента. Этим драгоценным правом я воспользовался, начальство соблаговолило допустить меня к чтению лекций, и я, как бывший воспитанник Московского университета, чувствую себя в самом деле очень счастливым, что имею, наконец, возможность послужить родному университету. Деятельность моя как приват-доцента должна заключаться в том, чтобы содействовать успехам преподавания физиологии, и этой цели я думаю достичь на первых порах чтением специальных курсов...

Затем он изложил программу курса «Физиологии чувствования» и приступил к самой лекции.

Слушали молча и напряженно. Слова Сеченова текли спокойно, как будто говорил он о вещах вполне обыденных, вполне понятных, вполне доступных каждому.

— Известно, что наша наука изучает собственно связь актов чувствования с их материальным субстратом, то есть с деятельностями органов чувствования, включая, однако, в круг исследования явления и в других органах, которые или сопровождают акты чувствования, или последуют за ними. Там, где чувствование не может быть приведено в связь с мате-

риальными основами, физиологическое исследование по необходимости обрывается...

Через месяц, когда эта первая лекция была подготовлена Сеченовым к печати, он понес читать ее... Тимирязеву. Ибо, как писал он Марии Александровне, «сошелся я прежде всего с Тимирязевым...». Первое впечатление было забыто, два великих человека сердечно сблизились, и знаменитый, старый ученый Сеченов с таким уважением и почтением относился к своему молодому коллеге Тимирязеву, что не хотел публиковать свои лекции, не услышав от него положительного отзыва.

Разумеется, кроме лекций, которые он писал по вечерам, и кроме чтения их студентам, Сеченов немедленно занялся подготовкой своих научных опытов. Каких? Ну, конечно же, он снова занялся газами! То, что так и не было достигнуто в Петербурге—общий закон отношения газов и соляных растворов,—он во что бы то ни стало решил довести до конца здесь, в Москве. А дело было нелегкое: во-первых, маленькая комната, в которой он был всего лишь гостем, во-вторых, недостаток средств и, наконец, недостаток оборудования. Его аппарат для качания газов за полтора года бездействия до того засорился и заплесневел, что привести его в порядок стоило величайшего труда. Сеченов измучился, никуда не ходил, никого не видел и, только когда абсорбциометр был налажен, вспомнил, что в Москве живет еще много людей, которых он должен и хочет повидать. И прежде всего отправился к Леониде Яковлевне Владыкиной (урожденной Визар) — милой приятельнице студенческих лет. Затем побывал у Шумахеров и у Петра Петровича Боткина, от них узнал, что здоровье старого друга в таком состоянии, что он решил выходить в отставку. Ого, если уж Боткин уходит из академии, значит плохи его дела!

Иван Михайлович спешит написать ему ободряющее письмо, а у самого на душе нет никакой бодрости, и мысли о смерти впервые лезут в голову. Философствуя, он начинает рассуждать, что всему должен быть конец, что он достаточно пожил, и кое-что

после себя оставит, и что такова судьба каждого человека: рождаться, создавать материальные или духовные ценности и уходить из жизни, оставляя после себя, ну, хотя бы потомство.

Да, а потомства он после себя как раз и не оставляет. И снова возвращается к мысли, что надо бы удочерить какую-нибудь сиротку, тогда и Мария Александровна подольше будет жить в Москве.

«Не знаю... насколько твоя душа удовлетворяется хозяйскими делами, а меня лабораторные дела не удовлетворяют. Скучать мне некогда, — пишет он Марии Александровне, — но я постоянно чувствую какой-то пробел во внутренней жизни...»

И он рассказывает ей о бедной девочке, с которой случайно познакомился в одном пансионе и которую хорошо бы взять к себе.

«Когда приедешь, съездим посмотреть — бедняжка всегда там, ей некуда ходить...»

Он начинает посещать девочку в «качестве приятеля ее прадедушки» и довольно скоро при всей своей любви и доверчивости ко всему молодому убеждается, что девочка вовсе не так мила и наивна, как это ему показалось сначала, что она отлично понимает свои выгоды и что в ее ласковости есть что-то фальшивое, лицемерное. Вдобавок ко всему обнаруживается масса родственников, а это Сеченова совсем уже не устраивает. И с огорчением он снова констатирует в письме к Марии Александровне, что и эту девочку «заполучить» не удастся. «Приедешь в Москву — я буду совсем счастлив, а ты станешь скучать», — с горечью пишет он и думает, что хорошо бы привезти из Клипенино собаку, что ли, чтобы какое-нибудь живое существо было рядом в те восемь месяцев в году, когда он обречен на полное одиночество.

От этого одиночества он бежит по всякому, старается быть на людях, общается даже с теми, кто не так уж приятен ему. Раньше это не было ему свойственно, а теперь — теперь сказывается старость, и он ходит на званые обеды, вечера и даже похороны,

лишь бы не сидеть одному-одинешеньку в своих «меб-лирашках».

Он даже стал позировать зятю Петра Петровича Боткина — художнику, вознамерившемуся писать с него портрет. Тут он однажды услышал, что Боткин хоть и действительно страдает тяжелой одышкой, но выходить из академии, оказывается, не намерен. И сразу у него легче стало на сердце.

И вдруг две смерти одна за другой потрясли его до глубины души: в ночь на 17 октября в Саратове скончался Чернышевский, а 12 декабря в Ментоне умер Боткин.

Такой давнишний, такой большой друг, такой добрый и жизнерадостный! Почти невозможно смириться с этой мыслью, но никуда от нее не денешься...

В тот день, когда пришло это страшное известие, он должен был читать публичную лекцию в собрании медиков. Первое, что он сделал в этот вечер, — предложил почтить вставанием память выдающегося русского врача и замечательного человека, Сергея Петровича Боткина. Слезы помешали говорить, и он вынужден был на несколько минут удалиться из зала, чтобы дать себе время успокоиться.

«Все это время, — в тоске писал он жене, — я почему-то представляю себе Боткина непременно холодным и в гробу, а потом представляю себе его наивный заразительный смех...»

Если в Москве смерть Боткина переживали только близкие ему люди, врачи и естествоиспытатели, то смерть Чернышевского была трауром для всех передовых москвичей, как и для всех передовых людей России.

В тот день, когда газеты в незаметном сообщении известили о смерти великого демократа, Тимирязев сидел у Сеченова: Иван Михайлович читал ему свою лекцию. Засиделись допоздна, говорили непривычно много — ни тот, ни другой никогда не отличались особенной разговорчивостью. Образованность Тимирязева поражала Ивана Михайловича, и симпатии его к этому длинному, немного нескладному, но такому умному и талантливому человеку росли с каждым

днем. А на другой день спозаранку Тимирязев известил Сеченова о событиях в университете: студенты решили отметить траурный день Чернышевского — не являться на лекции и устроить демонстрацию. Климент Аркадьевич, разумеется, тоже не явился в университет. У Сеченова в этот день лекций не было, и он очень сожалел об этом: хотелось выразить чем-нибудь свою солидарность со студенчеством и со своей стороны почтить память Николая Гавриловича чем-нибудь более существенным, чем вставание.

В лаборатории дела шли не блестяще, стесняло то, что не чувствовал себя хозяином, не мог как следует развернуться. Если бы даже и приобрел инструменты и аппараты за свой счет, где прикажете их разместить? И скучно было без учеников, без привычных горячих молодых помощников. Словом, он чувствовал себя тут не дома, а в гостях и, решив, что под лежащий камень вода не течет, рискнул отправиться на прием к попечителю учебного округа П. А. Капнисту.

Попечитель принял до чрезвычайности любезно, рассыпался в комплиментах; на благодарность Сеченова за то, что допустили читать лекции в Московском университете, ответил: «Помилуйте, мог ли я поступить иначе, вы делаете университету честь». Обещал всегда стоять на страже интересов старых, заслуженных профессоров. И, к великой радости Сеченова, обещал дать в будущем году самостоятельное помещение для лаборатории, со всеми необходимыми приспособлениями.

Окрыленный уходил Иван Михайлович от Капниста и тут же в письме сообщил Марии Александровне, что очень утешен этим визитом, вниманием главного начальствующего лица, так как доселе встречал у других начальников полнейшее равнодушие.

Но Сеченов не учел одного обстоятельства: граф Капнист был светским человеком, а потому человеком воспитанным; а светское воспитание отличалось тем, что нужно было говорить все приятное человеку известному, а к тому же старшему по возрасту. Осыпав Сеченова комплиментами, Капнист дал ему пу-

стое, ни к чему не обязывающее обещание, принятое доверчивым Иваном Михайловичем всерьез, и в ту же минуту забыл о нем.

Между тем Иван Михайлович решил съездить за границу, купить там все необходимое для оборудования обещанной ему лаборатории. 8 марта он подал декану медицинского факультета прошение:

«Желая ради успешного преподавания, ознакомиться на деле с настоящим состоянием преподавания физиологических лабораторий в Европе и в то же время приобрести за свой счет за границей ряд необходимых для моего преподавания и работ инструментов, честь имею покорнейше просить ваше превосходительство исходатайствовать мне командировку за границу (в Германию, Францию и Италию) с сентября 1890-го без всякого денежного пособия от казны».

Так было проще и верней — на командировку за казенный счет он не мог рассчитывать в своем положении, а поскольку деньги у него были, он и счел, как всегда, что лучшее для них применение — поездка в европейские лаборатории и приобретение всего необходимого для дальнейшей своей научной работы.

Деньги появились неожиданно: московские врачи пригласили Сеченова читать лекции у них в клубе на Б. Дмитровке, и лекции оказались такими увлекательными, а народу на них шла такая масса, что медики решили не ограничиться несколькими встречами с выдающимся ученым, а попросить его прочесть целый цикл лекций. Гонорар за них он получил немалый, и этот-то гонорар дал ему возможность осуществить свое намерение.

Первым этапом в пути был Париж. Сюда Сеченов заехал, чтобы, как пишет он, «через посредство Дюкло, вызвать у французов интерес к моей работе с CO_2 ...». В Париже, в Институте Пастера, работал Мечников, и перспектива повидаться с дорогим другом, со своей «мамашей», тоже немало прельщала Сеченова.

Состояние его духа было смятенное — он и верил и не верил в обещание попечителя, и мысль о том, что нет у него на родине своего угла, что не может

он заниматься наукой, он, которого в шестьдесят один год все еще распирало от научных идей, — все это удручало его. И если дома, в России, перед глазами посторонних да и перед новыми своими друзьями — профессором-дарвинистом Михаилом Александровичем Мензбиром, так гостеприимно принявшем его, замечательным ученым Тимирязевым, физиком Столетовым — он всячески скрывал свое угнетенное состояние, то здесь, в Париже, перед милой заботливой «мамашей» он не счел нужным скрываться, не натягивал улыбки на лицо, не притворялся веселым.

Иван Михайлович, разумеется, не упустил возможности позаняться в Пастеровском институте микробиологией — наукой, с которой он до сего времени почти не был знаком. С Мечниковым они встречались ежедневно — и в институте и дома, у Ильи Ильича, и подолгу беседовали, как и следовало очень близким друзьям.

«Он оставался таким же добрым и преданным другом, — вспоминает Мечников, — подчас веселым собеседником, но временами у него проскальзывали грустные ноты, и он без видимой причины обнаруживал мнительность. «Я вам не хочу мешать», «быть может, я вам надоел» и т. п. звучали странно в его речи. Ему было тогда всего 62 года, но, несмотря на его сохранившуюся живость, старость уже давала себя чувствовать. Это замечалось в характере его разговора и во многих мелочах жизни. Он сохранил прежнее хлебосолье и с особенной любовью разыскивал разные редкости, чтобы угощать друзей.

Как и прежде, мы сохранили полнейшее сходство во взглядах на окружающее. Раз как-то он спросил меня, думаю ли я окончательно поселиться во Франции, и на мой утвердительный ответ заметил, что я делаю очень хорошо и что он советует мне не возвращаться в Россию, где жить особенно тяжело».

Мысль о том, что и ему, видно, придется покинуть родину, уже бродила в его мозгу. Решиться было нелегко: это значило снова, и на этот раз на неопределенный срок, расстаться с женой, с родными местами, с любимой Москвой и со всем, что так дорого

было ему в России. Но это значило получить возможность работать в полную силу и в те немногие годы, которые ему еще осталось прожить на свете, дать науке все, что может еще дать его талант, его живой ум ученого. А в конечном счете, где бы он ни работал, где бы ни создавал свои научные ценности, он останется русским ученым, и труд его пойдет во славу русской науки.

С этими мыслями приехал он в Лейпциг, к дорогому учителю Людвигу. Удивительно, до какой степени были они духовно близки, как чутко понимали настроения друг друга, как не нуждались даже в словах, чтобы объяснить, что происходит!

Людвиг только спросил, как идут успехи на новом месте, только услышал скупой ответ о положении в университете и, не дожидаясь ни просьбы, ни даже намека со стороны любимого ученика, сам сказал:

— Имейте в виду, дорогой Сеченов, пока я жив, в моей лаборатории всегда найдется комната для вас. Так что, если надумаете...

Сеченов с благодарностью глянул на него, но ничего не ответил: слишком больно сжимало горло, слишком трогательна была эта забота и понимание старого профессора здесь, в Германии, когда он так жаждал этого на родине.

Людвиг не ограничился предложением работать в будущем. Он познакомил Сеченова со своей лабораторией, выслушал его рассказ о работе с углекислым газом, почти все в этой работе признал важным и значительным, сделал единственное замечание и в заключение предложил Ивану Михайловичу поместить его статью о CO_2 в своем журнале.

Сеченов был счастлив. Дело в том, что в Париже, где он также оставил эту статью, ему показалось, что она не понравилась. И уезжал он оттуда с тяжелым сердцем. То, что сказал Людвиг, преисполнило его давно не испытываемой радостью, и он не находил слов, чтобы выразить учителю свою благодарность. Впрочем, Людвигу она и не требовалась: глубокая любовь к своему гениальному ученику никогда

не ослабевала в его добром сердце, и он сам был счастлив, что может скрасить тяжелое для Сеченова время.

С этой лейпцигской встречи словно бы все повернулось в его делах. В Берлине его встретил радушно даже такой, когда-то неприступный и холодный человек, как Дюбуа-Раймон. И тут достойно оценили его капитальный труд об углекислоте и всерьез заинтересовались им.

После всех этих встреч он приехал домой успокоенный и веселый. Лето прожил в Клипенино, решив уже для себя, что уедет работать к Людвигу, а в Москву будет только наезжать, чтобы читать в университете лекции.

Разумеется, никакого обещанного попечителем помещения для лаборатории и в помине не было, и это обстоятельство только прибавило решимости ехать за границу.

И вдруг в самом конце лета все изменяется. Приходит телеграмма из Москвы: умер профессор физиологии Шереметьевский, и Сеченову предлагают занять его место в университете.

Кафедра физиологии в Московском университете! Ради этого стоит простить все свои обиды и лишиться свободы, к мысли о которой он уже начал привыкать.

Он пишет Мечникову: «Принять — значило получить рабочий угол и не жить круглый год врозь с женой; поэтому я колебался всего сутки и продал свободу за оба эти удобства. Дней пять тому назад начальство утвердило меня на этом месте, и сегодня утром я читал уже первую казенную лекцию...»

Один из ближайших учеников Сеченова московского периода, будущий профессор М. Шатерников, вспоминает об этой первой лекции: «С понятным нетерпением ожидали студенты-медики 2-го курса, в числе коих находился и пишуший эти строки, первой лекции Сеченова и вместе со студентами-естественниками собрались на нее в громадном количестве. Все места в аудитории были заняты, заняты были и все проходы, до прохода к кафедре включи-

тельно. По мере приближения времени выхода в аудиторию профессора волнение слушателей росло, и, наконец, когда в дверях аудитории показался И. М., разразился гром аплодисментов, не смолкавший все время, пока И. М. своей особенной, какой-то скромной и благородной походкой, наклонив голову, пробирался сквозь толпу слушателей к кафедре. Волнение слушателей, видимо, передалось и профессору. Не поднимая головы, дрогнувшим голосом он начал: «Приняв с благодарностью высокую честь, которую мне оказал Московский университет, моя альма-матер, приглашением занять место моего покойного уважаемого товарища Ф. П. Шереметьевского, я...» и т. д. — затем началась характеристика физиологии как науки и классификация материала, подлежащего изучению. Голос профессора окреп, приняв свой обычный металлический, звенящий характер, полились чеканные фразы его речи, и он с увлечением, блестя своими замечательными глазами, столь хорошо отражавшими его высокую и чистую душу, повел за собой еще одно молодое поколение».

Он был великий мастер читать лекции. Никакого книжного красноречия, не лекция — беседа со студентами как с равными, задушевная и необыкновенно захватывающая. Медицинскими терминами он не злоупотреблял, говорил простым языком, иногда повторяя сложные места, чтобы слушатели могли разобраться в них. Если, по его мнению, какое-либо положение требовало доказательства или наглядной демонстрации, он тут же прибегал к ним, используя для этого самые простые предметы окружающей обстановки. Однажды, объясняя деятельность клапанов сердца и сосудов, он схватился за карманы пиджака, на которых были нашиты клапаны, и, несколько раз подняв их и затем опустив, сравнил с объясняемым предметом. Тут уж нельзя было не понять сущности соответствующих механизмов и не усвоить их действия.

В другой раз, когда речь шла о деятельности сердца и для чего-то понадобилось дуть в стеклянную трубку, Иван Михайлович предложил сделать эту

операцию одному из студентов. Тот начал дуть, но в аппарате не получилось нужного действия.

— Изю всей поры-мочи дуйте! — воскликнул Иван Михайлович, энергично размахивая руками.

У него студенты узнавали все богатство русского языка — только после этой непривычной «поры-мочи» кто-то из них заглянул в словарь Даля и выяснил, что «пора» — это не только время, срок, но и сила.

На лекции о парциальном давлении газов Сеченов, всегда откровенно признававший свои ошибки и считавший, что каждый честный человек должен поступать так же, производил на доске вычисления, вдруг он поспешно стер их и с неподражаемой простотой произнес:

— А ведь я тут все наврал! Хорошо еще, что сам спохватился.

Неудивительно, что сеченовские лекции чуть ли не с первого раза стали самыми популярными на факультете и что слушателей на них всегда бывало гораздо больше, чем мест в аудитории.

Никакими ораторскими приемами он не блистал, но рассказывал так захватывающе интересно, что слушателям ни записывать его лекции, ни задавать вопросы не хотелось, — боялись пропустить хоть одно слово; что же касается непонятных или сложных мест, то Сеченов сам замечал их и тут же прибегал к новому объяснению. Бывало и так: речь его льется плавно и спокойно, и вдруг он сам себя перебивает:

— Нет, я вам это неинтересно рассказал, расскажу сначала, по-другому.

Лаборатория физиологии помещалась в бывшей квартире ректора. На том месте где сейчас вдоль улицы Герцена стоит большой корпус зоологического музея и ботанического института, тянулась длинная красная постройка, очень дряхлая и сырая. В ней находились лаборатории Мензбира и Тимирязева. Студенты собирались здесь в низких аудиториях, сидели на древних партах, истертых и изрезанных многими поколениями. В глубине двора на Моховой строился новый корпус: для двух институтов — физиологического и гистологического. Так что в бли-

жайшем будущем Сеченов мог рассчитывать на новое отличное помещение, но пока ему приходилось довольствоваться малоприспособленной и неудобной квартирой ректора.

«Дорогой Сеченов, прочитав месяц тому назад в Венской прессе сообщение о смерти Шереметьевского, я был весьма озабочен вашим будущим. Я опасался, что над вами поставят кого-нибудь другого, более неудобного. Ваше письмо освободило меня от этой заботы...

Мне нет надобности писать вам, что я рад вашему вступлению на путь, достойный ваших сил; а степень моей радости выразить пером невозможно. Довольно того, что вы снова там, где нам хочется вас видеть.

Живя и преподавая в Москве среди любимого вами народа и имея прекрасных коллег, вы вступаете в новую эру — более богатую и более счастливую, чем все предшествующие.

Ваше новое открытие, когда я получу статью о нем, поможет мне во многом, до сих пор мы очень мало знали о том, что такое раствор...

Ваш К. Людвиг, Лейпциг, 6 ноября 1891 г.»

Кончились, наконец, его мучения с углекислым газом! Обдумывая, как продолжать свою многолетнюю работу с газами, он постепенно пришел к мысли: не следовать совету химиков брать другие газы и другие поглощающие жидкости, потому что ясно было, что на все такие вариации надо потратить еще по крайней мере пятьдесят лет жизни, а вместо этого поступить наоборот: оставить в покое газы, взять твердые тела и наблюдать растворение их в соляных растворах.

И Сеченов решил сравнить между собой известные уже законы количественного растворения газа с законами растворения соли и в соляном растворе. Все это он надумал еще в Клипенино, когда судьба его была смутной и неопределенной. Приехав в Москву, тотчас же бросился рассматривать довольно обширную литературу о совместном растворении двух солей в воде и нашел, к величайшему своему удовольствию, в одной из книг описание опытов, вполне подходя-

щее к его затее. Разумеется, в книге этой не было и намек на параллель между растворением соли и растворением газа.

Сеченов занялся в своей неудобной и непригодной лаборатории числами, прочитанными в описании опытов. Пересчитал их на свой лад и — эврика! — нашел то, что искал. Сравнив эти числа со своими, полученными в результате долгих и многократных опытов с углекислотой, он пришел к выводу: растворение соли в соляных растворах средней и слабой концентрации следует тому же количественному закону, что и растворение CO_2 в жидкостях.

Это была удача, это было счастье! Уж если твердое тело сходно в деле растворения с углекислым газом, то тем более должны быть сходны с ним и другие газы!

«На днях кончу писать маленькое сообщение по этому предмету, — спешит Сеченов поделиться своей радостью с Ильей Ильичом, — и отошлю его в журнал Освальда; следовательно, секрета из сказанного мною вам не делаю. Если найдете уместным, сообщить о моей радости... Дюкло и Ру, то сделайте это: вам при вашей дорогой для меня дружбе ко мне да и мне самому приятно пользоваться каждым случаем сглаживать шероховатости впечатлений, которые я должен был оставить по себе в Париже».

Московская жизнь начинала нравиться, особенно после того, как она принесла такую удачу с законом о газах. Здоровье тоже не мешало работе, и Иван Михайлович чувствовал себя «превосходно, почти так же, как в Одессе». С осени 1893 года должен был вступить в строй новый физиологический институт, там можно будет начинать и подготовку учеников, без чего Сеченов не мыслил себе профессорской деятельности.

«С будущей осени стану сверх всего готовить себе будущих учеников, — писал он Илье Ильичу, — стану заниматься практически человеками с 5—6, но не с докторами, а со студентами. Здесь доктора норовят состряпать диссертацию, не умея вымыть

чашки, а состряпав такую, исчезают, дабы добывать деньги. Все здешние медицинские светила понастроили себе дома в сотни тысяч и страшно деморализуют учащуюся молодежь. Хотелось бы спасти от такой деморализации хоть несколько единиц — авось на старости лет удастся организовать хоть маленькое здоровое ядро...»

Но создать здоровое ядро было не просто: во-первых, студенты третьего курса, те самые, которые были в прошлом году его слушателями, занимались в здании на Девичьем поле — за тридевять земель от Моховой; приходиться они могли только по воскресеньям и праздникам, да и то в ущерб тем лекциям, которые в эти же дни читались приват-доцентами на Девичьем поле; во-вторых, практические занятия по физиологии не являлись обязательными, так что привлечь могли только истинных энтузиастов, а таковых было немного; в-третьих, Иван Михайлович не собирался пускать к себе докторантов, с тем чтобы они «стряпали» у него будущие диссертации, ему этот способ завоевания учеников претил, потому что подготовка студентов была настолько ничтожна, что, по мнению Сеченова, о диссертациях им еще и думать нечего было.

Он решил: лучше иметь одного-двух учеников, но таких, которые не думают ни об ученой карьере, ни о постройке дворца, ни о богатой врачебной практике; таких, которые любят науку и ей намерены посвятить жизнь.

На первых порах нашелся только один такой идеальный ученик, но вскоре их стало действительно несколько, и среди них два талантливейших будущих известных физиолога — А. Ф. Самойлов и М. Н. Шатерников.

Наконец осенью 1893 года открылся новый корпус. Большой, казавшийся по тому времени роскошным, он был превосходно оборудован. Операционная комната, химическая, весовая, виварий на двадцать пять собак, помещение для демонстрации опытов, вместительная аудитория.

В этой аудитории Сеченов читал свою первую в новом помещении лекцию. Как всегда, народу со-

бралось уйма, среди студенческих сюртуков мелькали костюмы преподавателей университета и других гостей. Иван Михайлович взошел на кафедру и в обычной своей спокойной манере сразу же приступил к лекции.

Неподалеку от кафедры стоял Лев Захарович Мороховец и с улыбкой смотрел на Сеченова. До начала лекции у них произошла короткая беседа:

— Иван Михайлович, следовало бы, пожалуй, сказать что-нибудь поторжественней об открытии физиологического института, — неуверенно предложил Мороховец, знавший нелюбовь Сеченова ко всякого рода торжественным речам и праздничным открытиям.

— Никаких речей, — отрезал Иван Михайлович, — нормальная лекция — и все. Нечего зря тратить дорогое время, надо заниматься делом, а не речами. Что касается нового помещения, то оно само за себя скажет...

— Старик остался верен себе, — шепнул Мороховец стоявшему рядом студенту Житкову (сыну того самого М. Житкова, который был земляком Сеченова по Теплому Стану и товарищем по инженерному училищу), — приступил прямо к делу...

А новое помещение и в самом деле само за себя говорило. Просторное и благоустроенное, оно располагало к работе, и сразу же это сказалось на количестве студентов, начавших посещать практические занятия в лаборатории; в скором времени их стало сто пятьдесят.

Практические занятия со студентами медицинского и естественного факультетов теперь были уже в числе рекомендуемых, то есть почти обязательных. На этом настоял Сеченов, доказав университетскому начальству абсолютную необходимость организации практических курсов и упражнений по физиологии.

Он добивается дополнительных ассигнований на приобретение нового инструментария и оборудования, расширения штата сотрудников института. Он хлопочет о присвоении звания экстраординарного профессора своему прозектору Льву Захаровичу Моро-

ховцу и делит с ним всю работу по физиологической кафедре. Новый профессор обладает большими организаторскими талантами, и Сеченов поручает ему заведование институтом. Кроме того, Лев Захарович два раза в неделю читает студентам лекции. Сеченов берет на свою долю основную часть курса, практические занятия с участниками физиологического кружка.

В полное свое распоряжение Сеченов получил две комнаты в нижнем этаже (в одной из них теперь помещается музей его имени) и зажил в свое удовольствие с любимым учеником и сотрудником Шатерниковым. Отрешившись от всех административных и хозяйственных вопросов, он целиком отдается научной работе и занятиям со своими слушателями.

Он продолжает изучение газов и дыхательной функции крови, начинает изучение газообмена у животных и человека, зачинает новую отрасль физиологии — физиологию труда.

Михаил Николаевич Шатерников — сущий клад для Сеченова. Молодой и энергичный, со светлой головой и умелыми руками, он становится первым помощником профессора, а затем и его другом, сохранив эту близость и дружбу до конца дней Ивана Михайловича и став затем талантливым продолжателем его учения.

Первой совместной работой учителя и ученика было устройство придатка к манометру сеченовского абсорбиометра для быстрого, точного и многократного анализа атмосферного воздуха. Это было начало почти десятилетней совместной работы по газообмену у животных и человека. Вместе с Шатерниковым Сеченов затем сконструировал специальный дыхательный аппарат, позволяющий определять на людях газообмен в состоянии покоя и при мышечной нагрузке. А еще позже по идее Сеченова Шатерников построил более современный аппарат, на котором можно было ставить опыт любой продолжительности с предельной точностью.

Научные внуки Сеченова — ученики Шатерникова продолжили эти исследования по изучению затрат

энергии человеком при различных видах физического и умственного труда. Так было положено начало еще одной отрасли отечественной физиологии — физиологии питания. На основании начатых Сеченовым и Шатерниковым исследований их ученики и последователи разработали научно обоснованные пищевые рационы для различных профессиональных групп населения и для различных возрастных групп.

Началом было изучение Сеченовым газов крови, продолжением — изучение газообмена в живом организме, завершением — диетология и оценка уровня окислительных процессов у здоровых и больных людей.

Как всегда, Сеченов не замыкался в своей лаборатории и в своем университете. Он с охотой принял приглашение читать лекции на женских курсах при обществе воспитательниц и учительниц. С удовольствием вспоминал он эти лекции:

«...И здесь, как в дружной семье бестужевок времен Надежды Васильевны Стасовой, чувствовалась та свобода и непринужденность, в связи с порядочностью, которые даются в семье только образованностью ее членов, порядочностью преследуемых семьей целей и любовным отношением старших к младшим. Отраднo вспоминалось в этой среде бывшее: на лекциях перед моими глазами опять сидели бескорыстно стремившиеся к знанию бестужевки с столь знакомым мне напряженным вниманием на лицах... Учреждение это имело благую цель — дать возможность пополнить образование учительствующим и готовящимся к учительству женщинам; оно не стоило правительству ни копейки, не требовало для слушательниц никаких прав и жило себе годы спокойно, но не пользовалось организованным правительственным надзором... и поэтому было закрыто, как только возникли высшие курсы Герье. Самоуправление у нас вообще не в моде...»

В 1894 году Сеченов открывал 9-й съезд естествоиспытателей и врачей в Колонном зале Дворянского собрания. Огромный зал был полон съехавшимися со всей России врачами. Иван Михайлович стоял на

кафедре и с присущей ему простотой и доступностью рассказывал слушателям о «Предметном мышлении с физиологической точки зрения».

— На мою долю выпала высокая честь обратиться к вам первому с речью научного содержания, и так как мы собрались здесь на праздник научной мысли, то я нашел уместным избрать предметом нашей беседы вопрос о мышлении... Итак, речь у нас будет о мышлении предметами внешнего мира, воспринимаемыми органами чувств, о том, из каких физиологических элементов складывается предметная мысль, прежде чем она облекается в слово, какие органы участвуют в ее образовании...

«Мышление предметами внешнего мира, воспринимаемыми органами чувств» — во всех своих работах о мышлении, начиная от «Рефлексов головного мозга» и кончая «Физиологическими очерками», Сеченов неуклонно проводит материалистическую идею в определении процесса познания. Его теория познания, несмотря даже на термин «условные знаки», который он однажды неосторожно применил и который повлек за собой ошибочную трактовку в работе Плеханова, была материалистической теорией.

В чем же значение этих воззрений Сеченова?

Теория познания, или гносеология, — это философское учение о способности человека познать действительность, об источниках познания, о формах, в которых процесс познания совершается. Два непримиримых философских течения — материализм и идеализм — диаметрально противоположно трактуют этот важнейший вопрос. Философия субъективного идеализма, к которой склонялись в те годы даже многие естествоиспытатели, отрицает объективное существование внешнего мира. Она утверждает, что внешний мир, окружающий человека, представляет собой лишь некий комплекс ощущений, чувственных восприятий. Отсюда следует, что объективного познания мира тоже не существует, поскольку не существует и самого объективного мира. Процесс познания внешнего мира, выходит, совпадает с процессом его создания сознанием человека.

Материалистическая же философия исходит из признания объективного существования внешнего мира, существующего независимо ни от сознания людей, ни от какого-либо верховного существа или высшей идеи, считает познание отражением этого объективного мира, еще не до конца познанного, но познаваемого. Процесс познания — сложный, многоступенчатый процесс — замечательно определен Лениным: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»¹.

«Первая посылка теории познания, — писал В. И. Ленин, — несомненно, состоит в том, что единственный источник наших знаний — ощущения... Исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму («тела суть комплексы или комбинации ощущений»), и можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения суть образы тел, внешнего мира)»².

Все труды Сеченова по вопросам теории познания именно так ставят и разрешают вопрос.

«Каковы бы ни были внешние предметы сами по себе, независимо от нашего сознания, — пишет Сеченов, — пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками, — во всяком случае чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительные. Другими словами: сходства и различия, находимые человеком между чувствуемыми им предметами, суть сходства и различия действительные».

И, несмотря на то, что Сеченов в своих психологических работах не раз говорил, что через посредство органов чувств человек получает ряд условных знаков от предметов внешнего мира, он разрешал эту философскую проблему не с идеалистических позиций, преодолев все ошибки, которые могли бы из такой формулировки пристечь.

¹ В. И. Ленин. Философские тетради, 1947, стр. 146—147.

² В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 113—114.

Плеханов, строя свою «теорию иероглифов», заключающуюся в том, что ощущения, которые доводят до нашего сознания то, что происходит в мире, по сути своей только «иероглифы», не похожие на те события, которые они передают, ссылается, что выражение «иероглифы» взято им у Сеченова. Но у Сеченова «условные знаки» был только неудачный термин, у Плеханова же — ошибочная теория, построенная на нем.

«Бесспорно, что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, — пишет В. И. Ленин, — но одно дело изображение, другое дело символ, *условный знак*. Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, что «отображается». «Условный знак», символ, иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма»¹.

А Сеченов? Отрицает ли он познаваемость мира, его объективность, отражение его в нашем сознании? Вовсе нет, напротив, в каждой из своих работ он всякий раз подчеркивает и объективное существование внешнего мира, и невозможность сознания вне этого мира, с которым человек связан через органы чувств, и познаваемость этого мира, и соответствие отображенных в сознании человека явлений природы реально существующим в природе явлениям.

Сам Сеченов совершенно ясно показывает, что его термин «условные знаки», который он вовсе не сам придумал, не что иное, как условный термин. Он, не называя имени, полемизирует с автором термина «символы» — Гельмгольцем, говоря, что тот «обозначил ощущения как символы внешних явлений» и «отверг всякую аналогию с вещами, которые они представляют».

«Как же, однако, примирить факт такой, по-видимому, условной познаваемости внешнего мира, — спрашивает Сеченов, — с теми громадными успехами естествознания, благодаря которым человек покоряет все больше и больше своей власти силы природы?»

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 223.

Выходит так, что эта наука работает над условными чувственными знаками из недоступной действительности, а в итоге получается все более и более стройная система знаний, и знаний действительных, потому что они беспрерывно оправдываются блистательными приложениями на практике, т. е. успехами техники».

Доказав, что восприятие мира через органы чувств соответствует реально существующему миру, Сеченов в более поздней своей работе уже категорически утверждает: «Предметный мир существовал и будет существовать, по отношению к каждому человеку, раньше его мысли; следовательно, первичным фактором в развитии последней всегда был и будет для нас внешний мир с его предметными связями и отношениями».

Разработка психологических проблем была одним из важнейших направлений в научной деятельности Сеченова. И в течение всей этой деятельности Сеченов оставался, как говорит Тимирязев, едва ли не самым глубоким исследователем в области научной психологии, не останавливавшимся перед самыми сложными ее вопросами и приступившим к их разрешению с осторожностью ученого и проницательностью мыслителя.

В тот же 1894 год, когда Сеченов, открывая 9-й съезд врачей и естествоиспытателей, излагал с его трибуны свои материалистические взгляды на вопросы научной психологии, случились события, навеки закрепившие его славу в глазах самодержавия как политически неблагонадежного.

В Московском университете, в котором за долгие годы скапливалось недовольство среди передовой части студенчества, в январе вспыхнули волнения. Это был год, когда в Москве организовался «Рабочий союз» вслед за «Петербуржским союзом борьбы за освобождение рабочего класса», когда рабочие кружки по всей стране объединились в марксистские организации, когда усиливалось рабочее движение и когда все настроенней и свирепей следило правительство за нарастанием этого могучего движения.

Беспорядки в университете, которые, быть может, в другое время остались без жестоких последствий, теперь вызывают крайние меры: студентов-зачинщиков арестовывают и высылают из Москвы.

Профессора, возмущенные этими мерами, и на сей раз не намерены молчать: они составляют петицию, где требуют смягчения участи «бунтовщиков», и передают ее московскому генерал-губернатору. Петицию подписывают Тимирязев, Мензбир, Стороженко, Столетов и, конечно, Сеченов.

На участи студентов петиция не отразилась; единственным результатом этого акта было расширение и без того уже обширного списка неблагонадежных профессоров Московского университета.

В деле Сеченова, хранящемся в Центральном государственном архиве революции, есть документ: «В марте 1895 г. и. д. московского обер-полицмейстера доставил в д-т полиции список членов Московского комитета грамотности, известных своей политической неблагонадежностью; в числе таковых членов значится и Сеченов как подписавший первым поданную в декабре 1894 г. его императорскому высочеству московскому генерал-губернатору петицию о смягчении участи удаленных из Москвы студентов».

Эту подпись ему еще припомнят. Через десять лет будет, в память этой подписи, совершен возмутительный акт по отношению к величайшему русскому ученому.

Между тем студенты не сложили оружия. Через пять лет по университетским городам России снова прокатилась волна студенческого движения. За ней последовали новые, совершенно неслыханные меры: были изданы правительством «временные правила», угрожающие «бунтовщикам» отдачей в солдаты. А еще через два года мера эта впервые была применена в Киеве к ста восьмидесяти трем студентам. Московские студенты собрались на грандиозную сходку протеста, и более пятисот человек было арестовано и заключено в Бутырскую тюрьму. В том же месяце, в феврале, Ленин в «Искре» призывал рабочих поддержать студенческое движение: «...студент

шел на помощь рабочему, — рабочий должен прийти на помощь студенту»¹.

Не сразу и только с очень немногими людьми сошелся Сеченов в Москве, и жизнь его протекала однообразно в те часы, когда он выходил из стен физиологического института. Поэтому он несказанно обрадовался приезду из Одессы семьи Умова, который в 1893 году перебрался в Москву профессором университета по кафедре физики.

Он спешит поделиться своей радостью с Мечниковым: «...Обрадовался я им донельзя, потому что в Москве ни с кем не сблизился и жил по сие время совершенно одиноким (Мария Александровна живет в Москве не более 4 месяцев)».

Мария Александровна все более увлекалась клиппинским хозяйством, все меньше времени проводила в Москве, и снова Сеченов, как почти всю жизнь, жил на положении холостяка. Неудивительно, что приезд старых друзей так обрадовал его! Он снова обрел семейный уголок, в котором так нуждался; возобновились милые вечера за стаканом чаю и тихой беседой с Николаем Алексеевичем или музыкальные вечера с дочерью Умова — Олечкой. Сеченов слушал ее игру, пел с ней дуэтом, иногда пел и один.

Здесь познакомился он и с Митрофаном Ефимовичем Пятницким, будущим создателем «Ансамбля старинной песни», нынешнего хора имени Пятницкого. Пятницкий, признанный авторитет в области русской народной песни, приобрел редкий в те годы фонограф, чтобы с его помощью записывать народные песни. Однажды, когда, засидевшись довольно поздно у Умовых за музицированием, Сеченов собрался домой, а хозяева уговаривали его остаться, Пятницкий, неприметно установив фонограф за портьерами, записал на валик его голос.

— Нет уж, отпустите меня, — смеялся Иван Михайлович, — меня жена домой не впустит, меня дети дома ждут... — И захохотал своим заразительным звонким хохотом.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 72.

Валик этот хранится в музее Сеченова в том здании, где он столько лет заведовал физиологическим институтом.

В 1895 году исполнилось тридцать пять лет научной деятельности Ивана Михайловича. Множество адресов и поздравлений обрушилось на его голову, и на все надо было отвечать. А он терпеть не мог никаких торжеств и юбилеев, сразу же замыкался в свою скорлупу, когда чувствовал, что надвигается что-либо подобное. Всякое чествование было для него пыткой, и он становился угрюмым и злым и всячески старался уединиться в своей лаборатории, чтобы избежать встреч с коллегами и друзьями, которые непременно же — он предчувствовал это — захотят устроить какое-нибудь столпотворение!

Они, конечно, захотели и достигли его в его же лаборатории — в крепости, куда он так тщательно прятался от них.

Дверь лаборатории открылась, и в комнату вошли улыбающиеся Тимирязев, Столетов и Марковников. Иван Михайлович встал им навстречу и настроенно ждал. Выражение его лица при этом приблизительно говорило: «А ну-ка, посмотрим, кто кого одолеет!»

Первым заговорил Тимирязев:

— Мы, Иван Михайлович, так сказать, депутация от всех профессоров. Коллеги выразили желание отметить ваш юбилей, и мы все просим вас дать свое согласие и назначить день.

— Благодарю вас, Климент Аркадьевич, и вас, мои дорогие коллеги, и всех профессоров, которые выразили желание, но никак не могу согласиться! Отмечать тут решительно нечего, и никакого дня я не назначу.

На подмогу Тимирязеву выступил физик Столетов:

— Нам хорошо известна ваша скромность, дорогой Иван Михайлович, но и она не должна быть беспредельной. Событие это и для вас, и для нас, и для всей русской науки огромное, и не отметить его никак невозможно.

— Для русской науки важны результаты моей

деятельности, а не подсчет годов, в течение которых она протекала. Для вас, дорогие друзья, важен не мой, как это называют, юбилей, — мне даже слово это претит! — а мое самочувствие. А оно у меня будет отвратительным, если только вы хоть что-нибудь затеете.

И как ни уговаривали, как ни доказывали ему — он не сдался. Никаких юбилеев, никаких торжеств! Под конец он уже совсем невежливо заявил:

— Честное слово, уеду на этот день из Москвы, если вы все-таки затеете что-нибудь!..

Он мрачно смотрел им вслед, когда они, смущенные и обескураженные, ушли из лаборатории. Потом лицо его просветлело, и он лукаво улыбнулся своему ученику Житкову, нечаянно оказавшемуся свидетелем этой необычной сцены.

— Депутация, конечно, мною любима и уважаема, но... юбилей — это безудержные преувеличения и прикрасы, и начинаешь чувствовать себя покойником, у которого после смерти всегда оказывается множество совершенно неизвестных ему при жизни заслуг. Да еще найдется любитель, такого наговорит, что готов будешь сквозь землю провалиться! Нет уж, слуга покорный, нет у меня охоты стоять с красными ушами! Вышел из этого возраста!..

Быть может, в эти дни он и ждал одного события, которое могло бы принести ему истинную радость; но оно не случилось: русская Академия наук по-прежнему не считала нужным раскрывать свои двери для прогрессивных представителей отечественной науки.

В конце концов его избрали почетным академиком... 4 декабря 1904 года. И тогда это уже было не радостно, а горько. И с горечью принимая это избрание как некролог семидесятипятилетнему человеку, стоящему на краю могилы, он написал благодарственное письмо, сухое и немногословное: «Приношу глубокую благодарность за оказанную мне высокую честь. Москва, 7 января 1895 года. И. Сеченов».

1895 года? Описка ли это? 1895 год — это год его юбилея, год, когда признание его заслуг Российской

академией могло еще иметь какой-то смысл. Не об этом ли говорит дата, поставленная им на ответном письме?

«Поздно, слишком поздно, дорогие коллеги, я дождался высокой чести», — вот что невольно читаешь в скупых строках и в многозначительной дате коротенького письма.

Впрочем, чему удивляться? В той неурядице, которая царила на Руси, в той обстановке, когда старательно вытравлялось все неуютное жандармам от науки и мракобесам от правительства, можно ли было ожидать другого отношения к самому неблагонадежному из неблагонадежных ученых?

Если разобраться, быть может, эта мысль приносит ему больше радости, чем само избрание в академию. Что ж, он должен быть благодарен царскому правительству, что ему все-таки не сумели помешать в научной деятельности, хотя всю жизнь только и старались мешать. Спасибо, что его не заставили покинуть Россию, как заставили сделать это Мечникова; что его не изгнали из нее, как изгнали Эрисманна...

Они были знакомы двадцать пять лет, Сеченов и Эрисманн, этот швейцарец, ставший русским ученым и отдавший на служение новой родине все лучшие годы своей жизни.

«Человек этот имел очень большие заслуги перед нашим бедным отечеством. До него гигиена существовала в России лишь номинально, а в его руках она стала деятельным началом против многих общественных недочетов и язв, — вспоминает Сеченов. — Он основал действительно рабочий гигиенический институт, служивший не только науке, но и обществу. Для земской медицины он сделал столько, что в среде земских медиков имя его ставится по заслугам рядом с именем С. П. Боткина и ставится справедливо. Работая не покладая рук, он был прекрасным профессором и нашел время написать обширный и очень ценный специалистами учебник... Причина, из-за которой его удалили, осталась неизвестной, но, конечно, в силу господствующей у нас по сие время теории

неблагонадежности, которая (т. е. неблагонадежность), по словам графа Делянова жене Эрисманна, ...чувствуется начальством носом...»

Начальство давно уже почуяло «неблагонадежность» Эрисманна — человека, который через своих учеников был связан с русскими социал-демократами и который у себя на родине сам участвовал в социал-демократическом движении. И вот 1 июля 1896 года в благодарность за все, что сделал Эрисманн для русской науки, министр просвещения Делянов в секретном распоряжении увольняет Эрисманна от должности профессора Московского университета. Эрисманн в то время отдыхал в Швейцарии, туда ему и послали уведомление, что он может подать прошение об отставке. Эрисманн отказался — уж если гонят, пусть сами несут позор этого изгнания.

Больше он в Россию не вернулся. Причина, вызвавшая его увольнение, так и осталась неизвестной ни самому Эрисманну, ни его друзьям, ни профессуре Московского университета.

Сеченов был дружен с Эрисманном, и связывали их не только давнее знакомство и личные симпатии — связывала наука. Как раз незадолго до изгнания из России Эрисманна Иван Михайлович задумался над вопросами гигиены труда, области совершенно еще не разработанной.

Занимаясь вместе с Шатерниковым вопросами газообмена у человека, Сеченов вплотную подошел к соотношению физиологического состояния организма в период отдыха и работы. К тому времени из-за границы стали приходить известия о сокращении длины рабочего дня до восьми часов без урона для производства. И это заставило его задуматься: в чем секрет физического утомления человека, когда мышцы его нагружены работой или даже просто ходьбой? И как бы подвести физиологические основы под длину рабочего дня? Быть может, ему удастся доказать на основании опытов и научных заключений, что рабочий день не должен превышать восьми часов, и тем самым облегчить судьбу русского рабочего человека...

Вряд ли он обольщался насчет немедленных результатов, к которым могут привести его труды. Но кто знает — быть может, наниматели пораскинут мозгами и поймут, что им просто невыгодно излишне нагружать рабочего, что от этого производительность труда только страдает?!

Он намечает грандиозную серию исследований по физиологии труда — его последнюю, лебединую песнь.

Ряд лекций и статей — «Физиологический критерий для установки длины рабочего дня», «Участие нервной системы в рабочих движениях человека», «Физиологические основы продолжительности рабочего дня» и, наконец, книга «Очерк рабочих движений человека» — это первые в истории науки работы по физиологии труда.

В предисловии к книге «Очерк рабочих движений человека» Сеченов пишет: «Предмет предлагаемого очерка составляют вопросы о сложных мышечных движениях, при посредстве которых человек производит так называемые внешние работы, т. е. действует силами своих мышц на предметы внешнего мира».

Вот к чему пришел он к концу своей деятельности, посвященной вопросам материалистической психологии: человек воздействует на предметы внешнего мира в процессе труда, и через эти трудовые процессы формируется само мышление.

Такова была его программа-максимум в этой последней задуманной им серии работ. Он не успел ее выполнить, более того — он только начал ее. Но даже этим началом он сумел сделать колоссально много, положив основу совершенно новой отрасли науки — познанию закономерности физиологических сторон трудовой деятельности человека.

Он уже устранился от чтения обязательного курса в университете и с начала сентября 1899 года только раз в неделю читает необязательные лекции. Желающих слушать их, как всегда, много: привлекает не только популярность Сеченова как лектора и ученого, но и совершенно необычайная программа самих лекций. Курс лекций посвящен одному вопросу: физиология рабочих движений человека.

Лекции подготовлены заранее. Сеченов уже полностью проанализировал для себя задачу: почему сердце и дыхательные мышцы без усталости работают в течение всей жизни, а мышцы ног, привычные к ходьбе, устают за каких-нибудь десять часов хождения даже по совершенно ровной дороге и без всякого отягчения тела?

Никто до него не только не пытался решать подобную задачу — никому она и в голову не приходила. А между тем вопрос этот важен для трудовой жизни человека и, как оказалось, весьма просто разрешается.

У сердца и у мышц дыхания значительно более продолжительны периоды отдыха по сравнению с периодами деятельности. Сердце у взрослого человека сокращается в среднем семьдесят пять раз в минуту, стало быть, период его сокращений равен восьми секундам. Каждые восемь секунд происходит одно полное сокращение сердца — сжатие и разжатие. Но сжатие длится всего три секунды, а расслабление, отдых — пять секунд. При ходьбе же в каждой ноге в отдельности время движения и отдыха приблизительно равно, поскольку равны по продолжительности непрерывно перемежающиеся сокращения сгибательных и разгибательных мышц ног.

Вот и получается, что при десятичасовой непрерывной ходьбе период деятельности сердца равен трем и трем четвертям часа, а период отдыха — шести и одной четверти часа; для ног же обе эти величины равны — по пять часов. Значит, при ходьбе в течение десяти часов следует добавить три с четвертью часа дополнительного отдыха, и тогда ходьба эта не будет утомительна.

«...Человек даже совершенно праздный утомляется рядом бесполезных работ, неизбежно связанных с бодрствованием, именно держанием тела в вертикальном и всяком ином положении, кроме лежачего на спине, и суммой чувственных впечатлений, особенно если они связаны с известной напряженностью внимания. Сон есть время отдыха от суммы таких влияний...»
Стало быть, «...человеку, помимо всякой работы, даже

праздному, нужен средним числом восьмичасовой сон, следовательно, время работы и отдыха от нее может составлять не более 16 часов в сутки». Из этих шестнадцати часов время деятельности сердца равно шести часам, а отдыха — десяти, стало быть, и чередование работы и отдыха рабочего человека должно соответствовать таким же величинам.

Значит, с физиологической точки зрения рабочий день должен продолжаться шесть часов. И уж никак не более восьми.

Лекции о рабочих движениях человека пользовались огромным успехом у слушателей. Пропаганда восьмичасового рабочего дня в разгар реакции конца прошлого столетия была не просто смелым шагом — это был вызов великого ученого эксплуататорам всех мастей. И когда Сеченов в 1901 году подал прошение о полной отставке, начальство откровенно обрадовалось возможности вполне пристойно избавиться, наконец, от неугодного правительству профессора.

«...Узнал, к немалому моему удивлению, — вспоминает Сеченов, — что дело мое может быть покончено в несколько дней: по звону колокольчика явился чиновник из канцелярии, ректор поручил ему написать мой формуляр, и дело кончилось без дальнейших разговоров».

Никто даже не счел на этот раз нужным, хотя бы из традиционной вежливости, попросить великого ученого не покидать стен университета! Какие уж тут могут быть церемонии с человеком, у которого не хватает желания быть «вежливым» с властью имущими?!

Этот циничный прием его отставки доставил ему немало горьких минут. «Никому не нужен, никто не заинтересован в моей работе, никто даже не пытается сделать вид, что я могу еще принести пользу!..»

Он недолго предавался подобным мыслям: «Никому не нужен, не могу быть полезен — ну, это мы еще посмотрим!»

Профессор Л. З. Мороховец, сменивший его на кафедре физиологии, честью своей считает предоставить Ивану Михайловичу в полное распоряжение две

комнаты в первом этаже физиологического института. И Сеченов снова принимается за исследования.

Проблема утомляемости мышц настолько его заинтересовала, что он решил заняться теперь мышцами рук. Он конструирует специальный прибор — эргограф — и ставит опыты на себе.

Через блок на веревке подвешен груз, рука Сеченова поднимает его, двигаясь «с машинальной правильностью... без участия воли, так как двигаются по привычке при ходьбе ноги». В комнате монотонно отмеряет время метроном. Двуручный эргограф регистрирует величину мышечной работы руки и степень ее утомляемости.

Экспериментатор ищет наиболее выгодный для рабочей руки темп движений и наибольший груз, при котором высота его поднятия остается в течение нескольких часов постоянной. Когда эти оптимальные величины найдены, он, семидесятидвухлетний человек, непрерывно, четыре часа подряд работает с грузом и поднимает его четыре тысячи восемьсот раз! Потом он идет дальше и увеличивает груз, чтобы рука почувствовала утомление. Через некоторое время замечает, что высота поднятия становится все меньше и меньше, а потом рука совсем отказывается работать.

Тогда он начинает искать наиболее выгодного отдыха от усталости. Ищет долго и упорно, испробовав «различные виды отдыха от утомления», и совершенно неожиданно делает открытие: работающая рука по-настоящему отдыхает и набирается сил не тогда, когда он сидит в полном покое, а тогда, когда во время передышки данной руки он начинает работать другой рукой. С изумлением он повторяет снова и снова этот замечательный эксперимент: дает отдых работавшей руке и сидит в полном покое; потом дает отдых правой руке, работая в то же время левой. И времени на отдых нужно куда меньше, чем в первом случае. Потом он заменяет деятельность второй руки раздражением ее слабым электрическим током, пока работавшая рука остается в покое. Результат тот же: рука за это время как бы набирается сил,

мышцы отдыхают, и работа начинается с новой силой.

Не доверяя самому себе, Сеченов добавляет нагрузку: теперь уже груз так тяжел, что рука утомляется сразу и так сильно, что ею почти невозможно двигать. Он дает ей краткий отдых, а тем временем начинает двигать другой рукой. И этого короткого отдыха при такой огромной нагрузке достаточно: рука полностью восстановила утраченные силы.

В результате этих оригинальных экспериментов явился вывод: наилучшая форма отдыха—это отдых утомленных мышц при одновременной работе других, не участвовавших в работе.

Становятся ясными многочисленные явления, анализом которых никто раньше не занимался — солдатская песня на марше, помогающая преодолеть страшную усталость долгого пути; знаменитое «эй, ухнем» волжских бурлаков, помогающее им тянуть непомерно тяжелый груз; хождение по комнате после того, как просидишь несколько часов за писанием какой-либо статьи.

Что же тут происходит с физиологической точки зрения?

Когда Сеченов раздражал электрическим током неработавшую руку или когда давал ей мышечную нагрузку, результат для другой, утомленной руки был один и тот же. Из этого он сделал вывод, что чувственные импульсы, возникающие в тех мышцах, которые в данный момент нагружены, являются причиной быстрого снятия усталости с других, ранее работавших мышц. Если этот факт обобщить, получится следующее: импульсы, возникающие в результате раздражения чувствующих элементов одних мышц, направляясь в нервную систему, способствуют путем сложных нервных реакций снижению утомления уставших мышц.

Так последняя экспериментальная работа великого физиолога родила общеизвестный теперь термин «активный отдых». Последняя работа, потому что опыты с эргографом были последними лабораторными опытами Ивана Михайловича Сеченова.

В эти же последние годы он издал переведенную им с собственными добавлениями книгу Ф. Ноордена, посвященную изучению обмена веществ у больного человека, и подготовил к печати свой сборник «Физиология нервных центров», где было собрано самое важное из всего сделанного им в этой области.

Он распрощался с Московским университетом, куда более полувека назад пришел студентом и откуда ушел учителем, профессором, известным миру ученым. Пора было на покой...

На покой? Ничего подобного — у него еще достаточно сил, чтобы заниматься общественно полезной деятельностью, и он вовсе не намерен уступать ни годам, ни усталости. Он еще поработает.

И в 1903 году он принимает приглашение читать курс физиологии и анатомии в Пречистенских рабочих классах.

Каких только слушателей не перевидал он на своем долгом веку! Он читал лекции по-военному дисциплинированным воспитанникам Медико-хирургической академии, темпераментным студентам-южанам Новороссийского университета, своенравной и непокорной молодежи в Петербурге и свободолюбивым москвичам, бескорыстным и самоотверженным «барышням» — бестужевкам и таким же бескорыстным и серьезным московским учительницам. Он выступал с публичными лекциями перед самыми разными слоями русской интеллигенции. Но с рабочей аудиторией он столкнулся впервые.

И она произвела на него неизгладимое впечатление. Он был счастлив, что получил это приглашение, что на старости лет так близко сошелся, наконец, с русским народом.

Классы были созданы при Московском техническом обществе для рабочих фабрик и заводов. Иван Михайлович решил прежде всего посетить какую-нибудь из читаемых там лекций, чтобы иметь представление и о методике чтения и о самих слушателях.

«В жизнь мою я не слышал такого умелого приспособления серьезного чтения к умственным средствам аудитории. Курс, очевидно, был задуман и

приводился в исполнение так, что всякий шаг вперед имел основание в одном из предшествующих ближайших. Делая такой шаг, лектор обращался к аудитории с вопросом, что послужило для этого шага основанием, и из аудитории каждый раз раздавался верный ответ...

Сильное впечатление получилось и от аудитории, слушавшей с какой-то жадностью простую и ясную речь своего профессора, подкреплявшуюся на каждом шагу опытом. Еще большим уважением проникся я к этой аудитории, когда узнал, что некоторые рабочие бегут на эти лекции, по окончании вечерних работ на фабрике, из-за Бутырской заставы; многие учатся иностранным языкам, некоторые даже английскому. Дай бог сохраниться и расширяться этому симпатичному учреждению — прообразу народного университета».

С наслаждением Сеченов готовится к лекциям в классах. Шатерников — неизменный друг и помощник — соглашается ассистировать ему при демонстрациях на этих лекциях. Аудитория с первых же минут поразила его своим вниманием и явным пониманием слышанного; он тотчас установил с ней контакт и понял, что читать ему здесь будет легко и интересно. С октября по февраль он успел прочесть значительную часть намеченного курса. Впереди оставались наиболее интересные разделы: работа мышц и общий обзор нервных явлений с более подробным описанием зрения и слуха.

Но прочесть эти отделы — любимые и самые значительные, которым Сеченов в жизни посвятил наибольшую долю своего труда, — не пришлось.

Полиция неусыпно следила за Сеченовым. В семьдесят пять лет он был не менее революционен в своей науке, чем в тридцать четыре, когда написал «Рефлексы головного мозга». Допустить его к обучению рабочих — это ли не опасно? И 9 февраля 1904 года Сеченову было запрещено чтение лекций в рабочих Пречистенских классах.

Это был страшный удар. Ивана Михайловича он потряс до глубины души, отчаяние охватило его. Вот

теперь уж действительно никому не нужен, вот теперь уже действительно отнято последнее и такое радостное поле деятельности!..

Он долго смотрел на казенную бумагу, которую ему только что вручили, и несколько раз уже прочитанные строчки подозрительно расплывались перед его глазами.

«Господину Инспектору Пречистенских Классов, — стояло в бумаге, — отношением г. Директора Народных училищ от 5 февраля 1904 г. за № 814 профессор Иван Михайлович Сеченов не утвержден в должности преподавателя Пречистенских классов, а посему об освобождении его от занятий благоволите меня уведомить».

Вот и все. Вот и конец преподавательской деятельности. Вот и последняя награда за долгую трудовую жизнь, за все, что было сделано для прославления русской науки, за все открытия и труды, за срок четыре года профессорства.

Разом постаревший, кое-как нахлобучив шляпу, стараясь не глядеть на высыпавших в коридор слушателей, уходил он из последнего пристанища.

И уныло побрел по Пречистенке в свой дом в Полуэктовом переулке.

7

Мария Александровна встретила его молча, только тревожно поглядела в лицо. Он, тоже молча, протянул ей бумагу и, не раздеваясь, прошел в свой кабинет. Сел понуро у письменного стола и машинально стал перебирать бумаги.

Внезапно из-под стола вылез огромный сенбернар и, тихонько скуля, лизнул ему руку.

— Так-то, Бурочка, — прошептал он, — вот мы и не у дел.

Бурка смотрел на него умными, преданными, обожающими глазами. Иван Михайлович потрепал его по теплой шее, и Бурка, откликаясь на ласку, поднялся на задние лапы во весь свой огромный рост и положил красивую голову на плечо хозяину.

Внезапно Бурка завилял хвостом — у хозяина изменилось настроение; собака увидела, как легкая ироническая улыбка пробежала по сомкнутым губам Ивана Михайловича, и по-собачьи поспешила выразить свою радость: большой, упитанный, солидный пес вдруг завертелся волчком вокруг собственного хвоста.

Иван Михайлович рассмеялся громко и весело.

— Чудно, Бурочка, вертись вокруг своего хвоста, авось когда-нибудь и поймаешь!

На душе у него стало легко. Он пододвинул к себе стопку чистой бумаги, аккуратно сложил ее, снял, наконец, пальто и шляпу, взял в руки перо.

Отлично! У него отнимают будущее, но прошлое они отнять не могут. И, право же, это прошлое может оказаться небезынтересным для молодежи...

В этот вечер он начал писать свои «Автобиографические записки». Он писал их легко и вдохновенно, убегая от унылого, стариковского настоящего в свое необыкновенное сверкающее минувшее.

Все последние годы в Москве он жил по-настоящему счастливой жизнью. С Марией Александровной они больше не расставались — Клипенино было продано, и дачу теперь снимали на Оке, куда каждое лето уезжали вместе. Жили, как всегда, замкнуто, понемногу болели, помногу ходили в театры и концерты, иногда ездили отдыхать за границу. Общались с небольшим кругом симпатичных им людей — Тимирязевым, Столетовым, Чаплыгиным, Чупровым, Умовыми, неизменным другом Шатерниковым и его семьей, частенько бывали у Боковых. Иногда к ним на дачу приезжал погостить Владимир Александрович Обручев со своей красавицей дочкой Верочкой, иногда гостили две племянницы Марии Александровны Таня и Маня, почти постоянно жила их воспитанница Елизавета Николаевна Домрачева, заезжала и ее сестра Наталья.

И еще появился у них новый друг, которого они оба искренне полюбили и перед талантом которого столь же искренне преклонялись.

Однажды, когда они были в студенческом концер-

те в консерватории, где по классу фортепьяно училась Елизавета Николаевна, их поразило пение незнакомой певицы. Она спела арию Людмилы и потом на бис — Антонида из «Жизни за царя». Сеченовы поразились диапазоном, полнотой звучания и необыкновенным, неслышанным тембром и силой этого голоса. Иван Михайлович умиленно смахивал навернувшиеся слезы, Мария Александровна прятала глаза.

В антракте они спросили Елизавету Николаевну, кто эта замечательная певица.

— Хотите, познакомлю? — предложила она и тотчас же убежала.

Через несколько минут она вернулась с немолодой уже для студентки (на вид ей было лет двадцать семь — двадцать восемь) женщиной, внешне ничем не примечательной, некрасивой и очень смущенной. Она молча протянула руку Марии Александровне, потом Сеченову и стояла, не подымая глаз. Иван Михайлович, на которого ее смущение произвело очень симпатичное впечатление, разрядил атмосферу:

— Что же вы прячете от нас свое сокровище, скажите хоть слово, чтобы мы услышали ваш голос!

Она улыбнулась, откликнувшись на шутку, и назвала себя:

— Нежданова, Антонина.

Мария Александровна, так трудно сходявшаяся с людьми, — что за чудо! — сразу же назвала ее «Антошей» и пригласила бывать у себя.

Дома, после концерта, они долго еще обсуждали это новое знакомство в радостном предвкушении тех будущих музыкальных вечеров, которые они начнут устраивать у себя в неделю раз с таким необыкновенным украшением, как Нежданова.

«Они оба, Иван Михайлович и Мария Александровна, сделались для меня на всю жизнь самыми дорогими людьми», — писала впоследствии, вспоминая Сеченовых, Антонина Васильевна Нежданова.

Она не только украсила их музыкальные вечера, она стала для них близким другом, частенько оставалась у них на день-другой в Полуэктовом переулке, наезжала на дачу, переписывалась во время своих

поездок по Италии. И они не пропускали ни одного ее выступления в концерте, а позднее в Большом театре, куда она, окончив консерваторию с золотой медалью, после долгих мытарств была, наконец, принята весной 1902 года.

И когда она впервые спела Джилду и зал устроил ей овации, они вместе со всеми до сипоты кричали «браво», а после спектакля организовали у себя бал, чтобы отметить успех «Антоши».

В 1903 году, когда отдельной книгой вышли в свет «Элементы мысли», Сеченов подарил экземпляр Неждановой с надписью: «Антонине Васильевне Неждановой от старого приятеля И. Сеченова. Москва, 20 апреля 1903 г.». А через год, когда она вместе с Собиновым пела в «Лоэнгрине», Сеченов заказал роскошную папку, в которую была переплетена партитура оперы. На подарке сделал надпись: «На память о годах, когда, слушая вас, забывались печали. Любящий вас И. Сеченов».

Это было в 1904 году. Он и в самом деле забывал свои печали, когда слушал волшебное пение великой певицы. А печалей было много, и его крах с Пречистенскими классами стал казаться незначительным по сравнению с теми событиями, которые переживала в это время Россия.

Шла русско-японская война, русские войска терпели одно за другим тяжелые поражения. Героизм солдат ничего не мог тут поделать — они гибли тысячами, руководимые бездарными генералами и продажными штабистами. Вместо снарядов, когда их не хватало — а не хватало их всегда, — на театр войны посылались из столицы вагоны... с иконами. Когда раненых становилось столько, что их негде было уже размещать, санитарные поезда увозили немного раненых и множество награбленного царскими генералами имущества. Порт-Артур был сдан, царская армия разгромлена под Мукденом. Сто двадцать тысяч человек погибло, было пленено и осталось увечными из трехсоттысячной армии, посланной на Дальний Восток. И весь этот кошмар закончился цусимской катастрофой, когда в сражении при Цусиме погиб по-

чти весь флот, посланный из Балтийского моря на помощь портартурцам.

Война была проиграна, проиграна позорно, кроваво, преступно.

В эти дни Сеченов писал в своих воспоминаниях: «...Беда быть уже ни на что не годным стариком в такое тяжкое время — мучаешься тревожными ожиданиями, и опускаются бесполезные руки...»

Впрочем, руки эти не были бесполезными. Быстро оправившись от удара, нанесенного ему царскими чиновниками, Иван Михайлович снова принимается за работу: он подготавливает к печати свои труды, сводит воедино все статьи о поглощении угольной кислоты солевыми растворами, добавляет новые выводы и передает эту свою последнюю работу профессору Мензбиру для напечатания в «Бюллетенях Московского общества испытателей природы». Потом он задумывается о новых исследованиях по физиологии труда и ни на один день не прерывает работы в лаборатории.

Был октябрь 1905 года. Осень стояла ранняя, дождливая, хмурая. После событий 9 января в Петербурге, после кровавого поражения в войне по стране катилась, не останавливаясь, волна стачек, забастовок и демонстраций, а местами — вооруженного сопротивления царским войскам. Двести тысяч рабочих участвовало в майских стачках по России. Страна бурлила, кипела, борьба рабочего класса приняла острый политический характер. Начались крестьянские волнения, разгромы помещичьих имений, пожары, столкновения с царскими войсками, посланными в деревню на усмирение бунтов. Летом на Черноморском флоте вспыхнуло знаменитое восстание на броненосце «Потемкин».

В Москве в сентябре началась забастовка печатников. Затем печатников поддержали рабочие других отраслей производств, и началась всеобщая политическая стачка. А в октябре политическая забастовка стала всероссийской.

17 октября Николай Второй вынужден был подписать манифест о гражданских свободах: неприкосновенности личности, свободе совести, собраний, слова

и союзов, о созыве законодательной думы, в которой будут участвовать все слои населения.

На некоторые круги передовой московской интеллигенции манифест поначалу произвел огромное впечатление. Незнакомые люди останавливались на улице и поздравляли друг друга.

К Сеченову на другой же день пришел Тимирязев. Пришел рано утром, так не терпелось ему поздравить Ивана Михайловича.

Сеченов встретил его в коридоре, молча обнялись, Иван Михайлович прослезился даже. Потом прошли в кабинет, где на коврике у письменного стола разлегся неизменный Бурка — единственное «постороннее лицо», которое допускалось в рабочую комнату Сеченова даже в часы его работы.

— Два памятных дня пережило наше с вами поколение, дорогой Иван Михайлович! — воскликнул Тимирязев. — 19 февраля 1861 года и 17 октября 1905 года!

— Да, но этот день будет поважнее! — уверенно ответил Сеченов.

Откуда ему было предвидеть, что все эти обещанные «свободы» останутся только бумажными, что страдавший народ ровно ничего от манифеста не получит, что все это не более как уловка перепуганного правителя, гнусная ложь, которую народ не замедлит разоблачить?!

Ничего этого они не могли предвидеть и искренне, от души радовались.

И вдруг Сеченов, казалось бы совсем непоследовательно, добавил:

— А теперь, Климент Аркадьевич, надо работать, работать, работать...

Это были последние слова, которые Тимирязеву довелось слышать от своего старшего друга: случилось так, что больше они не увиделись. Но слова эти навсегда врезались в память Тимирязева, и о них он писал позднее: «... то был завет могучего поколения, сходящего со сцены, грядущим».

В последующие затем дни в Москве разыгрались события, после которых ни у кого уже не оставалось

сомнения в истинной ценности манифеста. По городу гуляла «черная сотня» вместе с полицией; черносотенцы среди бела дня нападали на рабочих, участвовавших в забастовках, избивали и убивали их, расстреливали революционеров из интеллигенции, студентов, разгоняли митинги, стреляли в небооруженных людей; обещанная амнистия политическим заключенным не только не была выполнена — тюрьмы заполнились сотнями новых арестантов-революционеров.

Революционная Москва не покорилась, не испугалась ни зверских расправ, ни наглых нападений; революцию уже нельзя было задуть: Москва готовилась к вооруженному восстанию. Органом восстания стал Московский Совет рабочих депутатов.

В эти дни, в конце октября, Иван Михайлович особенно остро переживал свою старость, свою полную беспомощность и пассивность перед надвигающимися событиями. Сидя по вечерам вдвоем с женой за чайным столом, он испытывал мучительное волнение за результат всего происходящего. Разумеется, он не знал ни о подготовке вооруженного восстания, ни об агитации большевиков, ни о большей части происходящих событий. Но он знал о бесчинствах черной сотни, об еврейских погромах, об арестах и расстрелах, о забастовках рабочих. Он тревожился за их судьбу. Они были близки ему, и потому что представляли собой русский народ, и потому что он полюбил их и глубоко начал уважать, когда за короткий, но такой для него значительный период познакомился с ними в Пречистенских классах.

— Как-то там мои слушатели... — тихо сказал он, не глядя на Марию Александровну.

Они молча сидели, чай уже давно был выпит, но не хотелось ничего делать.

Сенбернар Бурка, долго и нетерпеливо дожидаясь обычной прогулки, рискнул, наконец, нарушить это гнетущее молчание и напомнить о себе — он заскулил громко и требовательно.

Иван Михайлович вздрогнул, поднялся из-за стола.

— Только недолго, — сказала жена, — вечер очень холодный.

Он вышел вместе с собакой и сразу окунулся в непроглядную тьму неосвещенного переулка. Шел проливной дождь, и ветер загонял капли под воротник и шляпу, задувал в рукава; слезились глаза, и трудно было разглядывать дорогу. Бурка куда-то исчез, но Иван Михайлович не взволновался: обожающий хозяина пес еще больше, однако, обожал свою призрачную свободу. Он частенько убегал от Сеченова, прятался в подворотнях, забегал в соседние переулки, но в конце концов Иван Михайлович находил его.

Сеченов шел, глубоко засунув руки в карманы пальто, и думал.

Откуда-то издали раздались несколько выстрелов, и трудно было понять, где стреляют, — ветер относил звуки в сторону. Нет, неприятно гулять в такой вечер, надо позвать собаку и вернуться. Иван Михайлович кликнул Бурку, но пес не приходил. Он позвал еще раз, гораздо громче, потом еще громче. Никакого результата. Встревоженный Сеченов ускори́л шаг, быстро дошел до Пречистенки, заглянул в одну подворотню, в другую — никого. Тогда он побежал и, стараясь перекричать шум дождя и ветра, звал собаку.

Он искал Бурку почти целый час. И когда пес, подбежав наконец, виновато лег у его ног прямо в огромную лужу, у Ивана Михайловича не было даже сил отругать его.

Дома встревоженная Мария Александровна, помогая ему раздеться, дотронулась ладонью до лба. Лоб горел. Мария Александровна тотчас же уложила мужа в постель и измерила температуру. Термометр показал 39,9.

Страшная для стариков болезнь — крупозное воспаление легких — так нелепо обрушилась на него, неумолимая и грозная.

Когда на седьмой день миновал кризис, не принесший, впрочем, никакого облегчения, он задумался над своей жизнью. Измученный болезнью, слабый и совсем беспомощный, он думал о том, что лежало за

его плечами и о том, что ждет его в ближайшем будущем. Он не обольщался — знал, что не переживет этой болезни. И ничего не ждал для себя от смерти; переход одного состояния материи в другой — вот все, что будет с его телом. А душа? Душа! Сорок два года назад, ровно сорок два года, он сам разрушил этот миф и доказал, что никакой души не существует...

Оглядываясь на свое прошлое, он мысленно снова прошел весь жизненный путь. И ни о чем не пожалел; разве только о том, что так поздно наступил его союз с женой и так долго он жил с ней в разлуке. В остальном... Да, он может честно себе признаться: он сделал все, что мог; вот только не успел завершить последний большой труд. А ведь он мог бы оказаться полезным не только для науки...

Ему совсем не хотелось умирать — голова была ясная, и он знал, что не утратил своих способностей к творчеству. Но к смерти он был готов. Еще в прошлом году он написал свое завещание, и как во всем, что выходило из-под его пера, можно было увидеть его помыслы, его душевные качества, так и в этом завещании он был виден весь как на ладонке.

Душеприказчиком он назначил Михаила Николаевича Шатерникова и из своего капитала в десять тысяч рублей завещал ему две с половиной тысячи на устройство задуманного Шатерниковым большого дыхательного аппарата для человека и абсорбциометра, о котором Сеченов дал ему все нужные указания. Большую часть капитала — шесть тысяч — он завещал в собственность и вечное владение крестьянскому обществу Теплового Стана, а именно той части его, которая при крепостном праве принадлежала Сеченовым. Затем «...на возможно более скромные похороны на каком-либо дешевом кладбище завещаю пятьсот рублей...». Все остальное он завещал своей жене, но в случае если она умрет раньше его, то все свои издания и доходы с них он передавал в полную собственность Пречистенских классов для рабочих, а все книги — в собственность Женского медицинского института в Петербурге.

Предчувствия не обманули его: воспаление осложнилось отеком легких. Утром 2 ноября он потерял сознание.

Без четверти двенадцать ночи Сеченова не стало.

Простой деревянный гроб поставили в университетской церкви. Постепенно церковь наполнялась людьми, и скоро стало так тесно, что негде было слезе упасть.

У самого гроба стояли две женщины. Одна — жена — недвижимая, окаменевшая, все время держала свою руку на руке покойника, словно скованы они были короткой цепью, разорвать которую немислимо. Другая, слегка приподняв голову, высоким чистым голосом подпевала скорбные слова молитвы: это Нежданова в последний раз пела дорогому другу, навеки позабывшему все свои печали.

По другую сторону, горестно склонившись над гробом, длинный и нескладный, стоял Тимирязев. Неотрывно смотрел он в мертвое лицо, и в памяти его звучали другие слова:

«Работать, работать, работать...»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. М. СЕЧЕНОВА

- 1829, 1 августа* — в селе Теплый Стан (ныне село Сеченово) Курмышского уезда Симбирской губернии родился Иван Михайлович Сеченов.
- 1843, 15 августа* — Сеченов поступает в Главное инженерное училище в С.-Петербурге.
- 1847, 14 августа* — произведен в полевые инженерные прапорщики.
- 1848, 21 июня* — по окончании нижнего отделения Главного инженерного училища переведен во 2-й резервный саперный батальон в Киеве.
- 1850, 23 января* — подал в отставку с военной службы.
- Октябрь* — записывается вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета.
- 1851, 19 сентября* — после сдачи экзаменов зачисляется в число вольнослушателей первого курса медицинского факультета Московского университета.
- 1855* — впервые публикует научную статью о саркоматозной опухоли лба в «Московском врачебном журнале».
- 1856, 21 июня* — оканчивает Московский университет со степенью лекаря с отличием и с правом по защите диссертации получить степень доктора медицины. Осенью выезжает за границу для работы в лабораториях европейских ученых.
- 1856—1857* — работа у Гоппе-Зейлера в патологоанатомическом институте Р. Вирхова в Берлине. Посещение лекций И. Мюллера, Дюбуа-Раймона и других профессоров. Работа в лаборатории Функе в Лейпциге. Подготовка диссертации на степень доктора медицины.
- 1858* — работа в лаборатории у К. Людвига в Вене. Знакомство с Роллетом. Конструирование первого абсорбциометра. Завершение в основном диссертации.
- 1859* — поездка в Гейдельберг. Работа в лаборатории Бунзена и Гельмгольца. Открытие флюоресценции хрусталика. Опубликование нескольких научных статей в русской и заграничной печати. Написал тезы к диссертации.
- 1860, 1 февраля.* Возвращение в Россию, в Петербург.

- Февраль* — «Военно-медицинский журнал» помещает диссертацию Сеченова «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения».
- 5 марта* — защищает диссертацию и получает звание доктора медицины.
- 16 апреля* — зачисление адъюнкт-профессором в Медико-хирургическую академию. Сеченов впервые в России читает лекции о животном электричестве. Осенью начинает читать в Медико-химической академии систематический курс физиологии.
- 1861, 11 марта* — Сеченова единогласно избирают экстраординарным профессором Медико-хирургической академии.
- Сентябрь* — знакомство с М. А. Боковой и Н. П. Сусловой. В «Медицинском вестнике» печатаются публичные лекции «О растительных актах в животной жизни», где им впервые сформулировано понятие об организме в связи со средой его обитания.
- 1862, весна* — Сеченов получает годовой отпуск за границу. Он уезжает в Париж, где до весны следующего года работает в лаборатории Клода Бернара. Открытие центров, задерживающих движение, так называемого «центрального торможения».
- 1863, май* — после годового отсутствия Сеченов возвращается в Петербург.
- 12 июня* — получает Демидовскую премию Академии наук за лекции «О животном электричестве». В «Медицинском вестнике» № 47 и 48 публикуются «Рефлексы головного мозга».
- 1864, 3 апреля* — Сеченов утвержден в звании ординарного профессора Медико-хирургической академии.
- 1865, лето* — первая совместная поездка с М. А. Боковой за границу. Знакомство с И. И. Мечниковым и А. О. Ковалевским.
- 1866—1867* — запрещение издания «Рефлексов головного мозга» отдельной книгой, наложение ареста на тираж, дело о привлечении к суду автора Сеченова и издателя Головачева. Выход в свет «Физиологии нервной системы». Снятие ареста с книги «Рефлексы головного мозга» и выпуск ее в обращение.
- 1867—1868* — работа в Граце, в лаборатории Роллета. Еще одно доказательство центрального торможения. Открытие явления суммации и следа в нервных центрах. Опубликование работы «Об электрическом и химическом раздражении спинномозговых нервов лягушки». Выход в свет перевода книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» под редакцией Сеченова.
- 1869* — избрание членом-корреспондентом Академии наук.
- 1870, 20 декабря* — Сеченов выходит в отставку из Медико-хирургической академии в связи с забаллотировкой И. И. Мечникова в профессора академии. Начало работы в лаборатории Д. И. Менделеева.

- 1871 — выходят в свет публичные лекции, читанные в Петербургском клубе художников, — «Физиология растительных процессов». Второе издание «Рефлексов головного мозга». Перевод книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и подбор по отношению к полу» под редакцией Сеченова.
- 22 марта — переход профессором в Новороссийский университет. Систематическое изучение газов крови, работы над CO_2 в крови.
- 1872—1873 — опубликование в «Вестнике Европы» «Замечаний на книгу г. Кавелина «Задачи психологии» и статьи «Кому и как разрабатывать психологию». Выпуск сборника «Психологические этюды».
- 1876, февраль — избрание профессором С.-Петербургского университета.
- 10 апреля — перевод из Новороссийского в С.-Петербургский университет.
- 1877, февраль — Сеченов начинает читать курс публичных лекций «Об элементах зрительного мышления».
- 1878, март — апрель — в «Вестнике Европы» появляется статья «Элементы мысли».
- 1879 — выход в свет статьи «О поглощении угольной кислоты соляными растворами и кровью». Доклад на 6-м съезде русских естествоиспытателей и врачей «Данные касательного решения вопроса о поступлении N и O в кровь при нормальных условиях дыхания и при колебаниях воздушного давления книзу».
- 1881 — в «Вестнике Европы» печатается статья «Учение о несвободе воли с практической стороны».
- 1868—1888 — участие в организации Высших женских курсов (Бестужевских) и чтение на них лекций по физиологии.
- 1888, 8 февраля — венчание с М. А. Боковой в Благовещенской церкви, на 8-й линии Васильевского острова.
- 1889, 17 февраля — согласно собственному прошению Сеченов уволен из С.-Петербургского университета; приват-доцентство в Московском университете.
- 6 сентября — первая лекция в Московском университете.
- 30 ноября — первая лекция в Московском клубе врачей «Физиология нервных центров».
- 1890 — публичная лекция «Впечатления и действительность».
- 1891 — Сеченов избран профессором физиологии Московского университета и назначен заведующим физиологическим институтом.
- 1894, 4 января — открывает 9-й съезд русских врачей и естествоиспытателей и читает доклад «О предметном мышлении с физиологической точки зрения»; выход в свет статьи «Физиологический критерий для установления длины рабочего дня».
- 1896, 22 марта — Сеченов утвержден в звании заслуженного профессора Московского университета.

- 1901 — опубликован «Очерк рабочих движений человека»; Сеченов выходит в отставку из Московского университета.
- 1903 — Сеченов читает лекции по физиологии в Пречистенских классах для рабочих.
- 1904, 9 февраля — запрещение попечителем Московского учебного округа преподавать в Пречистенских классах.
- 29 декабря — избрание почетным членом Академии наук.
- 1905, 2(15) ноября — кончина Сеченова от воспаления легких. Похороны на Ваганьковском кладбище. (Много лет спустя прах его был перенесен на Новодевичье кладбище.)

ОБ АВТОРЕ

Миньона Исламовна Яновская родилась в 1914 году в Киеве.

Ее статьи, очерки и рассказы, начиная с 1942 года, публиковались в различных газетах и журналах.

М. И. Яновская написала (в соавторстве) книгу сказок «Волшебная коробочка» и биографические повести «Жизненный путь Марины» и «Светлый путь».

В 1957 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла ее книга «Вильям Гарвей».

М. И. Яновская — член Союза советских писателей.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пути, которые мы избираем 5

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Что делать? 131

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Великий физиолог 196

Основные даты жизни и деятельности И. М. Сеченова 372

Краткая библиография 376

Об авторе 379